



НА ЕВРЕЙСКОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ



НА ЕВРЕЙСКОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ

НА ЕВРЕЙСКОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ

Составители сборника:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ.

Компьютерная вёрстка:
Игорь Ильин

Книга иллюстрирована
работами художника
Эфраима Мозеса Лилиена
(см. статью на стр. 192)

ISBN 978-3-947094-22-6

*Рукописи не возвращаются
и не рецензируются,
права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка
на сборник обязательна.*

Книга создана
Берлинским Клубом Литературы и Искусства.
Адрес сайта Клуба в Интернете под названием
«Клуб Литературы и Искусства. Альманах До и После»:
<http://www.litklubberlin-doiposle.de>

© Клуб Литературы и Искусства, Берлин, 2018

© Klub der Literatur und Kunst, Berlin, 2018

Сборник издан при поддержке
Союза писателей
международного соглашения ФРГ

Herausgegeben mit der Unterstützung
der Schriftsteller-Vereinigung
Bundesrepublik Deutschland
für Völkerverständigung e.V.

БЕРЛИН 2018

Я рад, что мне предоставлена возможность написать несколько слов о сборнике «На еврейской стороне улицы». В нём собраны произведения – в оригинале и в переводах на русский язык – авторов, преимущественно еврейского происхождения, из разных стран Европы.

Благодаря самоотверженной и вдохновенной работе тех, кто участвовал в создании сборника – авторов и составителей-редакторов, несмотря на неожиданные препятствия на пути его создания, сборник всё-таки вышел в свет.

В нём – глубина восприятия жизни, юмор, свойственный еврейскому народу, абсолютный слух к истине, память, отбирающая главное, очищенное от шелухи второстепенного.

Этот сборник – уникальный, талантливый и многогранный литературный памятник – создаёт неповторимый портрет народа с загадочной «еврейской стороны улицы», куда авторы пригласили читателя заглянуть, чтобы он смог лично и близко познакомиться с малознакомым ему миром, приоткрыв тайну другого бытия.

Владимир Сергиенко

*Президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ,
писатель, политолог, общественный деятель.*

»Auf jüdischer Straßenseite.« Welches verstörende Bild impliziert dieser Titel? Welche Trennungen, Ab- und Ausgrenzungen, welche Schicksalswege mit wechselhaften Gefühlszuständen von Furcht und Hoffnung, Leben in den Randzonen menschlicher Existenz und der Auflehnung gegen die von oben verordneten Bedingtheiten. Vor unseren Augen zieht Geschichte vorüber in literarischen Werken, in denen die Vorfahren geistig anwesend sind. Was erfahren die von der anderen Straßenseite, auf der deutschen, auf der russischen, davon? Überhaupt, warum auf der anderen Straßenseite? Gab es nicht schon eine Assimilierung, selbstverständlich und ausdrucksstark, in deutsch- und russisch- jüdischer Literatur?

In Deutschland der zwanziger Jahre lebten und wirkten unter anderem allein in Berlin fast 200000 russisch-jüdische Immigranten, und es existierten über 40 Verlage und über 20 Zeitungen in russischer Sprache! Wissen wir in dieser schnelllebigen Zeit des Vergessens noch um die Brüche, ja Doppelbrüche, die das 20. Jahrhundert besonders Russland, Deutschland, Osteuropa umwälzten? Wer überlebte, befand sich wieder auf der Straße, und auf dem Weg. Jetzt versuchen die Nachkommen sich hier in Berlin, in Deutschland, in der Welt neu zu verorten. Für die Schriftsteller Vereinigung für Völkerverständigung e. V. ist es eine Ehre und ein nobles Ziel, dieser Generation jüdischer Schriftsteller und Poeten mit ihren vielfältigen literarischen Talenten, Brücken in die russisch-sprachige, wie auch zur deutschen Öffentlichkeit bauen zu helfen.

Heiner Sylvester

*Vizepräsident Schriftsteller-Vereinigung Bundesrepublik Deutschland
für Völkerverständigung e.V. Autor und Filmemacher.*

К ЧИТАТЕЛЯМ

Книга, которую Вы, дорогие читатели, только что открыли, является результатом творчества литераторов «Четвёртой волны» эмиграции, живущих последние 20 – 25 лет в Германии, преимущественно – в Берлине. Именно за эти годы были написаны опубликованные в этой книге произведения.

Каким образом мы, авторы, пришли к осмыслению необходимости такой книги именно здесь – в Германии? Ответ прост и, одновременно, сложен. После самой страшной в истории войны, которую почти все авторы чудом пережили в детские годы, после основной части жизни, прожитой в тоталитарном государстве, где религия была под запретом, вдруг представляют книгу, полную откровений, выплёскивают на бумагу свои потаённые мысли, своё раскованное дыхание, своё новое мироощущение.

То, что мы пережили на нашей прежней Родине, лишь фрагментарно просачивалось в мир зарубежья: притеснения и даже открытое глумление над евреями – пресловутый «пятый пункт», афишированный в паспортах, накаляющий антисемитизм; ничтожная процентная норма, ограничивающая, а порой запрещающая, получение высшего образования и достойных рабочих мест; преследование за религиозные убеждения. Всё это порождало острую потребность вырваться из такого безнадежного существования – решиться в немолодом возрасте на крутое изменение всей своей жизни, приняв на себя тяжкую долю эмигрантов.

Именно здесь, в эмиграции, мы ощутили недозволенное прежде свободное творческое дыхание, давшее нам возможность рассказать Вам, дорогие читатели, о своих чувствах, о своей национальной гордости, в литературной форме обрисовать нелёгкое прошлое.

И ещё. Мы считаем необходимым оставить потомкам свидетельства целой эпохи, в которой нам выпало жить. И не только нам, а также ушедшим поколениям наших еврейских отцов и дедов. Это наш долг и перед их памятью. Один из авторов этой книги писал когда-то:

«Не отрывайтесь от своих корней. Не забывайте о своих истоках. Поверьте: с ними станет жизнь ясней. В их величавой музыке и строках».

Именно здесь, в Германии, особенно остро звучит широко отражённая в наших произведениях трагическая тема «Холокоста».

Всё в этой книге – и заглавие «На еврейской стороне улицы», и содержание – подчинено единой теме – еврейству, его прошлому и настоящему.

Раскрытию темы служат стихи, художественная проза, мемуары, публицистика, эссе, переводы поэзии. Книга оформлена работами почти неизвестного широкому читательскому кругу выдающегося еврейского художника Эфраима Мозеса Лилиена.

Книга – наше дыхание, наша боль, наше вдохновение. Хотелось бы верить, что она найдёт отклик в ваших сердцах, дорогие читатели.

Составители сборника

AN DEN LESER

Das Buch, das Sie, liebe Leser, gerade aufgeschlagen haben, ist das Resultat von kreativer literarischer Tätigkeit von Autoren der sogenannten »Vierten Immigrationswelle«, die seit 20-25 Jahren in Deutschland, mehrheitlich in Berlin leben. In diesen Jahren sind die Werke entstanden, die in diesem Buch veröffentlicht sind.

Wie sind wir, die Autoren, dazu gekommen, hier in Deutschland die Notwendigkeit zu sehen, dieses Buch zu schreiben? Die Antwort ist sowohl einfach als auch kompliziert. Nach dem schrecklichsten Krieg der Geschichte, den fast alle Autoren in kindlichem Alter wie durch ein Wunder überlebt haben, nach dem sie den Hauptteil ihres Lebens in einem totalitären Staat verbracht haben, wo Religion verboten war, stellen sie plötzlich ein Buch voller Offenbarungen zusammen, vertrauen dem Papier ihre verborgene Gedanken an, ihr freies Atmen und ihr neues Empfinden der Welt.

Das, was wir in unserer ehemaligen Heimat überlebt haben, ist im Ausland nur wenig bekannt geworden: Unterdrückung und offene Repressalien gegenüber den Juden, der berüchtigte »Punkt Nr. 5« in den Pässen, der Antisemitismus noch verschlimmert hat; die Quote, die verhindert hat, eine gute akademische Ausbildung oder einen gewünschten Arbeitsplatz zu bekommen; Verfolgung wegen religiöser Überzeugungen. Das alles hat eine Notwendigkeit geschaffen, aus diesem hoffnungslosen Dasein herauszukommen, sich wagen, in schon nicht mehr jungem Alter, eine sehr große Veränderung und ein schweres Schicksal als Emigranten auf sich zu nehmen.

Genau hier in der Emigration können wir als Künstler frei atmen, was uns früher nicht erlaubt wurde, hier haben wir die Möglichkeit, Ihnen, liebe Leser, über unsere Gefühle und unseren nationalen Stolz zu erzählen und in literarischer Form unsere schwere Vergangenheit zu schildern.

Und noch etwas. Wir halten es für nötig, unseren Nachkommen Zeugnis dieser Epoche zu hinterlassen, in der wir gelebt haben, und nicht nur wir, sondern auch die von uns gegangenen jüdischen Väter und Urväter. Das schulden wir ihrem Andenken. Ein Autor dieses Buches hat einmal geschrieben: »Reißen Sie sich nicht von Ihren Wurzeln ab, vergessen Sie nicht ihren Ursprung. Glauben Sie: Mit diesen Werten wird das Leben klarer. Mit ihrer Musik und ihren Strophen.«

Genau hier in Deutschland klingt das tragische Thema des Holocaust besonders scharf, was wir auch in unseren Werken widergespiegelt haben.

Alles in diesem Buch, der Titel »Auf der jüdischen Straßenseite« wie auch der Inhalt, ist dem Thema »Judentum« gewidmet, seiner Vergangenheit und Gegenwart.

Um dieses Thema zu beleuchten, dienen Gedichte, Prosa, Memoiren, Publizistik, Essays und Übersetzungen von Lyrik.

Das Buch ist von dem außerordentlichen jüdischen Maler Ephraim Moses Lilien illustriert, der den meisten Lesern unbekannt sein dürfte.

Das Buch ist unser Atmen, unser Schmerz, unsere Inspiration. Wir möchten glauben, dass das Buch in Ihren Herzen einen Widerhall findet, liebe Leser.



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

К ФИНАЛУ XX ВЕКА

*«Нет памяти о прошлом, да и о том, что будет»
Книга Экклезиаста. Гл.3, стих 11*

Укрепляется в нашем сознании миф,
и реальность событий почти эфемерна...
Где, к примеру, слова, что когда-то Юдифь
обращала, в сердцах, к голове Олоферна?

Так и век наш провалится в небытиё,
позабудется всё, что нам подвигом мнится.
Каркнет хрипло в пространство о нас вороньё,
звук утонет, как в бездне исчезла б крупица.

Для потомства останется призрачный миф
о войне и о бунтах, расстрелах и гетто, –
современной истории скорбный мотив,
но с годами и он затеряется где-то.

НАРОД КНИГИ

Моему Брату – автору монографии «Народ Книги»

Неистребим и вечен мой Народ,
и, несмотря на мудрые скрижали,
над ним глумились и уничтожали
во множестве веков, из года в год.

Терпел Народ насмешки и обман,
хоть беспричинно, – грубо, ошалело,
приказы плёл о пытках и расстрелах
властолюбивый временщик-тиран.

В чём только не винули мой Народ
Восток и Запад, – им всегда был чужд он,
считали: сжить Народ со света нужно, –
погромы развлекали чёрный сброд.

И всякий раз он возрождался вновь,
и при любой жестокой круговерти
жить оставался, ибо он бессмертен, –
Бог влил в него особой группы кровь.

Народом Книги назван мой Народ, –
он даже при немыслимых потерях
не изменял своей, отцовской вере,
и потому он выжил и живёт.

ВОСПОМИНАНИЕ

Ночь на дворе,
да вот не спится.
В глазах стоят родные лица:
в кипе и талесе мой дед
творит субботнюю молитву,
и бабушка, чуть слышно, скрытно,
за дедом повторяет вслед.

Отец в углу газетой занят,
и мама подаёт обед,
и ветер вдалеке буянит.

На подоконнике свеча,
вечерний мрак в окно крадётся,
наливка в стопки робко льётся,
ломает халу дед, шепча.

И всё...
Попала в глаз ресница,
подушка стала горяча.
Пора заснуть,
да вот не спится.

* * *

И мне достался в жизни угол
под надоедливый мотив...
А дед мой был высок и смугл,
житейски-мудр и красив.

Оставил мне в наследство только
еврейских шуточек ушат,
мезузу, махзор и ермолку,
и жажду думать и дышать.

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ

Гортанной россыпью иврита
молитвы повторял мой дед, –
в словах их смысл был иль нет,
тогда, по молодости лет,
я не искал, в чём тайна скрыта.

Я повзрослел.
Душой поэта
стал понимать: библейский стих
дороже помыслов мирских,
богаче копей золотых, –
он соткан Совестью и Светом.

Его теплом земля согрета,
и это утверждает Бог, –
в стихе библейском наш исток,
существования залог,
и время подтвердило это.

Бегут века.
Прочней гранита
молитвами скреплённый дух, –
он не исчез и не потух...
Стихом библейским тешим слух,
гортанной россыпью иврита.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

– Как часто читаешь ты Ветхий Завет? –
спросили с ехидцей меня
– Всегда, – я шепчу, – с незапамятных лет,
он совесть моя и броня.
Я знаю стихи его все, наизусть,

прозрень он сеет и свет,
смягчает волнение, невзгоды и грусть –
советчик мой, Ветхий Завет.
Всем жизненным опытом Ветхий Завет
питает из мудрых щедрот.
Дыханьем его я сполна обогрет,
он свежие силы даёт.
Читаю я заново Ветхий Завет,
мне чтение свыше дано.
Я знаю, что он в беспредельность билет –
бессмертье ему суждено.

БИБЛЕЙСКИЙ СОНЕТ

Когда под звук библейского напева,
что тишины цедит целебный сок,
и обративши взор свой на Восток,
на преступление решилась Ева,

судьбу людей решил разумно Бог:
«Верней для человеческого посева,
Адам и провинившаяся дева
покинут Рай, – тем исцелят порок!»

Виною было яблоко простое,
смешно подумать, – это ведь пустое,
но смысл большой в проступке том лежит.

Прошли века, но был предельно точен
им приговор – логичен и бессрочен –
обжалованью он не подлежит.

МОЁ МЕСТЕЧКО

Я листал свою жизнь за страницей страницу,
вспоминал своих предков прекрасные лица...
К сожаленью, в еврейском местечке я не был,
не вдыхал его запах, не ел его хлеба.

Мыслю: были далёкие предки оттуда,
но никто не наследовал те пересуды.

Мойхер-Сфорим, и Шолом-Алейхем, и Бабель
подарили местечко мне в полном масштабе.

Понял я, где начало берут мои корни,
и дыханье, и взгляд стали много проворней.
Ощутил с ним тогда общность родственных связей,
что по мне расплескались ивритскою вязью,
снарядили в житейскую, ярко, дорогу,
завещав чистоту в уважении к Богу.

Стали ближе мне хупы, бритмилы, бармицвы,
грусть в глазах местечковой еврейской девицы,
блюда кухни особой, беззлобные споры,
местных цадииков точные приговоры.
Правда скромная их, что сердечностью движет,
для меня обозначилась высшим престижем...

И ничто этих чувств заменить мне не сможет –
ни Нью-Йорк, ни Париж с их комфортом и ложью.

ЕВРЕЙСКИЕ ШТЕТЛ

Еврейские штетл. От вас не осталось следа,
вслепую вы бродите где-то в крови у потомков,
но память слабеет, она ведь болезненно-ломка,
и может любого легко подвести иногда.

Негаданный жест или фраза напомнят о вас,
улыбка скользнёт по губам виноватой волною,
но кажется, к нам возвращается время былое,
которое нам, генетически вас воссоздаст.

Еврейские штетл. И только прищуренный взгляд
заметит, что катится робко слеза по жилету,
и памятью предков, дыханьем глубоким согретый
вздохнёшь, и себя возвратишь на столетье назад.

ЧИТАЯ ХАИМА-НАХМАНА БЯЛИКА

Когда, споткнувшись о рассвет,
ночь дню освободит дорогу,
и старики, на склоне лет,
пройдутся с молодёжью в ногу,
от солнца поперхнётся дождь,
мир станет, как пейзаж витражный,
убийца прочь отбросит нож,
и в Лету канет день вчерашний.
И Разум мысли озарит,
военный прекратится грохот,
в еврейский дом войдёт иврит,
приветив новую эпоху.
Тогда, от множества примет:
Спокойствия, Добра, Расцвета, –
воспримутся, как яркий свет,
все откровения Поэта.

ЕРУСАЛИМ

Мой голос внутренний поёт:
Ерусалим!
Давида город, город Соломона,
ты на холмах стоишь и горных склонах,
три религиями ты боготворим.

Ты – символ вечности.
Стекается народ,
чтоб поместить надежды в Стену Плача,
все верят, что Господь прочтёт их и поймёт,
и наградит покоем и удачей

От севера его,
– с Гило, на юг, – в Рамот,
все трудятся и защищают землю,
никто иную жизнь не приемлет,
лишь ту, в которой счастлив весь народ.

Там лето круглый год,
и только шалость зим,
цветы и цитрусовый сад на камнях,
пропитан ты библейскими стихами.
Мой голос внутренний поёт:
Ерусалим!

Я Господа прошу,
ему слагаю гимн,
чтоб город процветал тысячелетья,
и не было на нём войны отметин.
Мой голос внутренний поёт:
Ерусалим!

ВЕРЛИБЫ ПАМЯТИ

«Stolper Steine» –
«Преткновенья камни», –
медные квадраты на брусчатке.

Намертво вписались
в берлинские тропы.
На них имена евреев, –
жертв нацистского «шабаша».

Все ходят по Памяти,
по молчаливым Именам.

Пламя Памяти
при преткновении
вздымается, летит
по стволу тела
к коре головного мозга.

Медные камни не молчат –
они взывают Именами.
Мысли несутся
к Катастрофе,
к Холокосту, к Шоа.

«Stolper Steine» –
«Преткновенья камни», –
сердце в тисках боли,
дыханье клокочет,
слёзы сгустками
приклеены к глазам...

Трагическая
мозаика Берлина.

Вечное Горе!
Вечная Память!

РЕМБРАНДТ

Портреты современников-евреев
Рембрандта кисти...

Многовековой мыслью ярко веет
от взглядов чистых.
В них смешаны страданье и лукавость,
вопрос с ответом.
В них древнего народа величавость
тактично спета.

Рембрандт Ван Рейн, – он светотени Мастер,
плоть вдохновенья.
В нём сочетались творческие страсти
и ясность зренья.
Оставил на века музеям мира,
евреев лики.

Пророков и раввинов, и банкиров, –
их сплав великий.

ТЕРНОВЫЙ КУСТ

Негаснувший терновый куст –
вот символ нашего Народа.
Не опалим он, ярок, густ, –
он вечен, как сама природа.

Его воспламенил нам Бог,
и порученье дал Мойсею –
дабы Народ не изнемог,
чтоб вместе собрались евреи

в пустыне у горы Хорив.
Все в путь отправились желанный.
«Сплотитесь, – прозвучал призыв, –
вперёд, – к Земле Обетованной!».

Промчалось множество веков, –
куст всех одаривает светом.
Праведность библейских строф
напоминает нам об этом.

НАСТЫРНЫЙ

Памяти художника Вячеслава Дозорца – с нежностью и болью

На одной из центральных улиц города стоит небольшой, но уютный особнячок. Принадлежал он прежде Аристарху Петровичу Кривошеину, адвокату с частной практикой, человеку небольшого достатка, но всеми уважаемому, и весьма заметному. Так и стоял бы особнячок, да рядом возвели огромное, неуклюжее здание, облицованное синей глазурованной плиткой. И потерял особнячок свою индивидуальность, своё лицо. Стал он сбоку припёка, как бедный родственник, и лишь к праздникам несколько оживлялся, красили его фасад, оконные и дверные фрамуги. Правда, всякий раз в другой цвет, какой находили на ЖЭКовском складе.

Однако, не в этом суть, а в том, что поместили в нём одно из лучших в республике издательств.

На входную дверь нацепили вывеску, длинную и скучную, как строка гекзаметра. Собственно, здесь был приют лишь одной из редакций. В лучшей из комнат, вероятно, со старых времён, остался большой двухтумбовый

письменный стол. За ним комфортно и важно восседает сам старший художественный редактор, солидный и опытный, глубокоуважаемый Адам Омелянович Чмыхало, или Адом, как окрестили его для удобства сотрудники.

Этот крупный, сорокалетний мужчина с большими, поникшими, ухоженными усами. Говорит он на том украинском диалекте, который народ с нежностью называет «суржик». Напротив него сидит посетитель – высокий, с проседью, короткой вьющейся бородкой, добрыми с грустинкой глазами, человек, Слава Вознюк – книжный оформитель. Заочно они знакомы давно. Но лично встретились только месяц назад, когда Слава получил от Адома большой и интересный заказ. Беда была в том, что Слава – еврей, но фамилия его вводила в заблуждение многих опытных и искушённых. Адом не был исключением, но договор уже подписан и ничего не оставалось, как смириться и продолжить сотрудничество. Адом поднял на Славу утомлённые тяжёлые глаза и лениво произнёс:

– Ну шо. Прийнёс?

– Да, здесь всё, – ответил Слава.

Он извлёк из портфеля папку и книгу и протянул их Атому. Тот внимательно стал рассматривать листы и макет книжного блока, бормоча:

– Усё, як договорились, хоккей.

Затем начался просмотр заставок к главам, фронтисписов, форзацев, полосных иллюстраций, переплёта и других атрибутов книжного оформления.

– Значит так, – вынес свой вердикт Адом, – усё пойдёт, но хворзацы снимем, бо много грошей за всё это, богатеєм станешь.

Он встал, пожал Славе руку и произнёс сакраментальную фразу:

– Молодец, Вознюк, довёл-таки до кондиции, ну и настырный ты. Слава внимательно посмотрел на Адома и несмело предложил:

– Хотелось бы переплёт конгревом тиснуть, в суперобложку книгу одеть, чтоб дольше жила, чтоб фасад её торжественней выглядел. Я б это бесплатно сделал.

– На шо воно нам, хвасад. Дольше жила. Совсем задрали... Умники, вечно лезете, потом говорите, – не люблять вас. Самоубийцы вы, вот хто, – возмутился Адом, тяжело дыша.

... А заочное знакомство их состоялось давно, более двадцати лет назад, когда они, ровесники, незнакомые друг другу, поступали в один и тот же художественный институт. Разница была лишь в том, что Адом был зачислен, а Слава не прошёл по конкурсу. Но Слава был настойчивым и трижды ещё предпринимал попытки поступить, однако все они оказывались тщетными.

Его уже знали преподаватели и за глаза именовали «настырным» Вознюком.

Затем Славу забрали в армию. Служил он в своём городе, ибо при военном округе нужен был бесплатный художник. Прикомандировали его к красному уголку клуба, в распоряжение лейтенанта Федыко. Тот был человеком лояльным, весёлым, любил искусство. Слава целыми днями писал лозунги, рисовал плакаты по наглядной агитации, оформлял дембельские альбомы.

Однажды Федыко спросил его:

– А, припустим, Микиту Сергеевича срисовать можешь?

– Попробую, – ответил Слава.

– Давай, – решил Федыко, – закрою я тебя, Вознюк, на трое суток. Сортир, и еда дозволяются, давай.

– Через три дня пришёл и ахнул, портрет был готов. И тут же привёл завклубом.

– Товарищ капитан, разрешите доложить, дывиться. Наш дорогой Микита Сергеевич, як живой, – отрапортовал он.

– Дурья твоя голова. Он и так живой, – улыбнулся капитан.

– Виноват, – задрожал Федыко.

После этого диалога отношение к Славе изменилось к лучшему. Он стал регулярно писать портреты вождей, а иногда и местного начальства.

Наконец, срок службы закончился. Слава вернулся домой, и первым делом, в институт. Декан факультета бегом к ректору:

– Вознюк опять возник, – скаламбурил он, – что делать будем?

– Тот, настырный, – улыбнулся ректор, – пусть пытается.

И стал Слава пытаться.

...А Адом, к тому времени, уже оканчивал институт. Но дипломная работа никак не давалась.

И декан обратился к группе:

– Хлопцы, помогите своему товарищу и коллеге, – Адаму Чмыхало. Хороший он парень и коммунист достойный, не посрамите чести факультета.

И хлопцы помогли, и не посрамили. Получил Адом диплом. Затем, как парень хороший, и коммунист достойный, получил направление в издательство, художественным редактором.

... А Славу на следующий год, после армии, неожиданно зачислили в институт.

– Ладно, – сказал ректор, – Вознюк, человек настырный, будет из него толк, да и фамилия у него вроде наша, пускай учится.

Учился Слава хорошо, охотно. Рисовать любил, способностями и вкусом Бог не обидел.

– Ну, будя, Вознюк, не сердчай, – примирительно произнёс Адом, – повезло тебе. В пятницу гонорары платить намечаем. Субботу добре справишь. Схо-

ди на Сенной, рыбку купи, хай твоя захварширует, и меня угостишь, – люблю я ваш хвиш. А если под нашу горилку с перцем, пальчики оближешь.

– Ладно, – согласился Слава, – жду в воскресенье, в 12. Здесь мой адрес и телефон, – добавил он, протягивая визитку.

В воскресенье, ровно в 12, появился Адом. Он торжественно вынул из кофра бутылку перцовки и маленькую баночку.

– Что здесь? – кивнув на баночку, любопытствовал Слава.

– Медок, – ответил Адом, – я на своём «жигулёнке» к старикам катаюсь. Батько мой, пасечник, тут недалеко, в Степановке, – может, слышал? Мои старики все життя смолоду пчёлами занимаются, людей мёдом кормлят, в войну это их спасло. Вот и я на натуральном продукте вырос, – самодовольно произнёс Адом, – а твои где?

– Нет их, – грустно произнёс Слава, – отца в 40-м забрали и больше мы его не видели, а мать по дороге в эвакуацию умерла, сердце отказало. Я в Кзыл-Орде в войну, в детском доме был, в 46-м меня тётка оттуда забрала, там я и рисовать начал.

– Батько твой ворог, чи шо? – посуловел Адом.

– Не враг, учёный он, генетикой занимался. В 55-м его реабилитировали посмертно, – объяснил Слава.

Повисла тишина. Адом откупорил бутылку. Выпили. Съели по куску рыбы. Неожиданно Адом спросил:

– А где твоя жинка, детки?

– Все к сестре пошли, чтоб нам не мешать, – ответил Слава.

– Хорошо воспитал её, – похвалил Адом.

Он начал слегка всхрапывать. Потом, как бы спохватившись, спросил:

– Скажи мне, Вознюк, где ты такую хвамилию купил, а?

– В наследство получил. От предков. Жили они в деревне Вознюки, там всех жителей, независимо от национальности, Вознюками называли, – чувствуя, что теряет самообладание, хрипло ответил Слава.

– Везунчик ты, – восхитился Адом, – как вы всегда умеете выкручиваться, молодцы, не обижайся, такой вы народец, – разочарованно сказал он.

– На всех не обидишься, привык я, – философски подвёл черту Слава.

Опять тишина. Пауза затянулась.

– Так и сидеть будем, продукт прокисает, – спохватился Адом, хороший ты парень, редкий среди вашего брата, – произнёс Адом, наполняя рюмки, – есть у меня к тебе дело. Понимаешь, заказ имею. Один из ваших книгу хорошую написал, про то, как Богдан Украинну с Москвой породнил, може чув, Натан Рыбак? Так от, хочу, чтоб мы с тобой вдвоём её оформили и иллюстрации сделали. Кумекаешь? – Адом с надеждой посмотрел на Славу.

– Зачем, я сам могу, мне помощь не нужна, – ответил Слава сквозь зубы.

– Сам, сам, знаю, что сам. Думал, для дружбы, – побагровел Адом, – единственный ты, вот кто, сам не получишь.

Вскоре Адом ушёл.

Назавтра Слава появился в редакции по каким-то делам и встретил в коридоре Адома.

– Ты чего такой надутый? – удивился тот.

– Не надутый я, вот, разрешение получил. За билетами тороплюсь, уезжаю навсегда, – ответил Слава

– И шо? Не дождёшься выхода книги. Погано, – заключил Адом.

– Чмыхал я, – выдал свой каламбур Слава.

– Ну, валяй, – обиженным тоном, сказал Адом, – кланяйся гробу Господнему. Привет всем еврейчикам. Скатертью дорога. У-у, змеюки.

«МОЯ БЕЛЛОЧКА»

– Извиняюсь, здравствуйте, – то ли приветствие, то ли оклик услышал я за спиной, плывя к берегу.

– Я уже давно слежу за вами, как вы красиво плаваете. Меня зовут Миша-киржнер, – продолжал тот же голос.

Не оглядываясь, я назвал себя.

– Не думайте – киржнер, – это не фамилия, это моя специальность, я мастер по картузам, меня так весь Немиров называет, – продолжал мой неожиданный знакомый.

– Специальность, – удивился я, выходя на берег и разглядывая собеседника, полного, лысоватого мужчину средних лет, – что ещё за картузы такие?

– Это, извиняюсь, – кепки-шестиклинки, стянутые пуговичкой сверху, – пояснил он, – вся Винница их носит.

– А, понятно, – ответил я, вспомнив послевоенную моду, предмет моей зависти тех лет.

– Интеллигентного человека сразу видно, – продолжал Миша, – вы приехали, я думаю, из Винницы. Наверное, музыкант или, скажем, доктор?

– Я из Киева, к сожалению, художник, – попытался я несколько раздражённо разочаровать Мишу.

– Художник, – мечтательно повторил он, – тоже неплохо. Каким же ветром занесло вас в наши края?

– Думаю, что это был зюйд-вест, – пошутил я, – он настойчиво подгонял электричку из Киева в Немиров.

– Это судьба, – удовлетворённо сказал он, – а знаете что, как вы посмот-

рите, если я приглашу вас в гости? Это недалеко, на улице Будённого или, как мы её называем по-старому, Антонеску.

Я посмотрел на Мишу. В его глазах были гостеприимство и мольба, я не решился отказаться. Мы отправились на указанную улицу. Собственно, улицы, как таковой, не было, лишь одни усадьбы и тропы, ведущие к ним. Домик Миши был небольшим, но аккуратным. Двор, садик и огород, тщательно ухожены. Миша, поймав мой взгляд, с гордостью произнёс:

– Это всё она, моя Беллочка.

Мы вошли в дом, и он, радостно сверкая глазами, представил меня своей дочери, молодой даме с библейскими чертами лица, крупной и пышной.

– Знакомься Беллочка, это мой старый знакомый, киевлянин, между прочим, тоже художник.

– Очень приятно, – опустив в смущении голову, пролепетала Беллочка, сделав довольно грациозный для её комплекции реверанс.

– Почему, тоже художник, – поинтересовался я, – разве Беллочка...

– Да, да, – перебил меня Миша, – я вам, кое-что покажу, пойдёмте.

– Ах, папа, неудобно, – кокетливо зардевшись, сказала Беллочка.

Но Миша уже тащил меня в другую комнату. Здесь висела огромного размера картина Шишкина «Утро в сосновом бору». Она сверкала и горела необыкновенно-яркими красками и была вышита мельчайшими крестиками. Заметив моё удивление, Миша сказал:

– Ну, как специалист, что вы скажете, а? Это всё она, моя Беллочка, золотые руки. Вообще-то, она врач по детям, весь Немиров её обожает. Она всё умеет.

– Действительно, золотые руки, я ничего подобного никогда не видел.

Мы вернулись в гостиную, глядя друг другу в глаза, не зная, как продолжить прерванную беседу. Наконец, Беллочка нашлась:

– Извините, я не подготовилась к приёму, для меня это так неожиданно, но мы вас ждём вечером.

– Непременно, – поспешил я заверить её.

Миша пошёл меня провожать. Пройдя несколько шагов, он спросил:

– Извиняюсь, как вам понравилась моя Беллочка?

– Это золото редкой пробы, – искренне ответил я.

– Вы представляете, она ещё не замужем, сколько мужчин её хотело, а ей только интеллигента подавай, а где его у нас взять, – сокрушённо развёл руками Миша.

– Да, жаль, но я женат, а то бы, не задумываясь, женился на ней, – виновато произнёс я.

Наступила пауза, лицо Миши стало грустным, он опустил голову и почти шёпотом сказал:

– Извиняюсь, что же вы мне сразу не сказали?

– Вы не спросили меня, простите, – начал оправдываться я...

В это время из калитки появилась Беллочка и, подойдя к нам, сказала:

– Знаете что, вы мне сразу понравились, приходите вечером с женой, хорошо?

Я был ошарашен. Только и мог пролепетать:

– Откуда вы знаете, что я...

– Как врач, я хорошо чувствую больного, мне не надо заглядывать в его историю болезни. Так мы ждём вас, хорошо? – повторила она.

2002

ДАВИД БРАЦЛАВЕР

КОЛОКОЛА

Опять звонят колокола.
Их звон печальный
напоминает звон стекла
в «Ночи хрустальной».

Иное время за окном...
Но крики, свисты,
и строим, как в тридцать восьмом,
идут фашисты.

Не миллионы на пути –
иные карты:
и может жертвам счёт пойти
на миллиарды!

Звонят, поют колокола,
печальным стоном,
напоминая звон стекла
«Хрустальным» звоном.

ПОГРОМ

Слепой, безжалостный погром, –
он чистой кровью залил дом.
Всю жизнь, до смертного конца,
хранился в памяти отца.
И вспоминал злодейства он,
как страшный сон,
как страшный сон.
Затем меня гноил злодей
лишь потому, что я еврей,
и намекал, – таким, как мне,
жить надо в собственной стране.
Я ночью слышал предков стон,
и видел сон,
счастливый сон.

Теперь, доживший до седин,
бежал туда, как блудный сын,
страну былую не кляня,
народ забытый не виня.

Но вспоминал тот Вавилон,
как страшный сон,
как страшный сон.

ХАЙФА

О, Хайфа! Удивляешь снова
необычайной красотой,
сияньем неба голубого
при встрече с утренней зарёй.

Меня приветствуют вершины
израильской горы Кармель,
висячие сады, долины
и разноцветная сирень.

Манит меня волна седая,
и я мечтаю светлым днём
мчать вдаль, где чайки, пролетая,
с небес приветствуют крылом.

Туда, где в бесконечно синих
просторах бороздят суда,
туда, где брызжет из пучины
фонтаном буйная вода.

Туда, где в небе синем-синем
шестиконечная звезда,
всегда звала, зовёт и ныне
меня еврейская судьба!

И я, от счастья замирая,
стою на пристани морской,
и гимн «Ха Тиква» напеваю
под лентой бело-голубой.

ХАЙФСКИЙ ВАЛЬС

Луна померкла, уступая
приходу утренней зари.
И солнце Хайфе посылает
свои лучистые дары.

Упрямо чайки, с ветром споря,
поют и тешат небеса.
Зовёт меня в пучину моря
голубоглазая краса.

На клумбах с яркими цветами
шумит от наслажденья шмель,
и радужно семью цветами
переливается капель.

О, Хайфа! Я давно здесь не был,
тем паче, – радость велика,
голубизной прельщая небо,
улыбку шлёт издалека.

И в ожерелье изумрудов:
Кармель, всякие сады,
Бахайский парк – восьмое чудо
непревзойдённой красоты.

ЕВРЕИ

Ах, *бедный* еврей, – не люблю это слово.
И в мыслях моих не держу я такого...

Ум ясный, и юмор, и сила руки
евреям с рождения Богом даны!
К ним злобную зависть питают враги,
так чем же, скажите, евреи бедны?

Пророки еврейские – наше богатство.
Мойсей нас навеки избавил от рабства.
В нас Тора вселила надежду и силу,
и веру в Творца в нашем сердце взрастила.

Терпенье и мудрость присущи евреям,
недаром от Бога мы этим владеем.
Горды и свободны, где б ни были мы, –
так чем же, скажите, евреи бедны?

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

Курортный город Нагария, –
в багровом зареве закат.
МИГи – подарки из России
страны просторы бороздят.

В день Йом Кипур, когда евреи,
молясь у Храмовой стены,
пред Богом стали на колени,
враги зажгли пожар войны.

Прошли года. Я помню эти
дни и тревожный, горький час.
«Цахал» стремительно ответил
врагу, напавшему на нас.

И под огнём, во имя мира,
солдаты шли в смертельный бой.
Вблизи Дамаска и Каира
флаг реял бело-голубой!

ДА, Я ЖИВУ ТЕПЕРЬ НЕ ТАМ

Бродя по свету с интересом,
пришел я к выводам таким:
нет для меня страны чудесней
под флагом бело-голубым.

На Запад с Ближнего Востока
заброшен был судьбою я,
но голос Родины далекой
зовёт в родимые края.

С тревогою гляжу на немцев –
фашизм в Германии живёт.
Страшусь, что повторят Освенцим
или швырнут на эшафот!

Поверьте, краски не сгущаю,
и понимаю, отчего
здесь до сих пор, не представляю,
как свить еврейское гнездо.

Да, я живу не там, где надо,
но если я вернусь домой,
мне будет лучшею наградой
свет в окнах Хайфы дорогой.

НЕТ ИЛЛЮЗИЙ

С тех пор, когда страна Израиль
в борьбе свободу обрела,
её враги покой не знают,
злость их к безумству привела.

Но реет над страной чудесной,
политой горькою слезой,
флаг со звездой шестиконечной
на ленте бело-голубой!

Иллюзий нет! И мне не странно:
это в истории не новь,
цивилизованные страны –
щит для израильских врагов.

Страшусь, что будет на планете
прогресса гибельный закат,
когда заполнит страны эти
арабским духом Халифат!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ИЗРАИЛЬ

Я поздравляю каждый год
израильским вином в бокале
весь Богом избранный народ
и с днём рождения, Израиль.

Все семьдесят минувших лет
со дня британского ухода
горит свободы яркий свет
в сердцах еврейского народа.

Страна – творенье божьих рук,
ты славишься не расстояньем:
здесь Север пятится на Юг,
но безгранична тяга к знаниям!

Чарует красота картин:
Голаны, волны в Ям Тихоне,
ковры израильских долин
и шапка снега на Хермоне.

Флаг реет бело-голубой
с шестиконечною звездой.
И хочется, забыв про бой,
смотреть на небо голубое.

ДОМОЙ

Есть страны на нашей планете,
Что манят своей красотой,
Но нет мне дороже на свете
Страны под звездой голубой.

Где Хайфа улыбкой встречает,
В цветах утопает «Кармель»,
А море меня завлекает
В свою водяную постель.
Никто моих чувств не измерит,
Нет, это отнюдь не дурман,

Ночами мне снится «Кинерет»
И в сердце журчит «Иордан».

Лечу не в далёкие страны,
Которыми я изумлён,
Мечтаю увидеть Голаны,
Мечтаю взойти на Хермон.

И сердце моё замирает,
Как чайка на синей волне.
Не нужно мне тихого рая –
Мой рай в этой дивной стране.

Нас манят далёкие страны
Уютом, покоем, зимой...
А я улетаю в Израиль –
Ведь я возвращаюсь домой!

ХАНУКА

Жизнь тяжкую познал Еврей
Под гнетом греческих царей,
Но вера в идеал свободы
Не покидала дух народа.

Кислев, Кислев! День двадцать пятый –
Незабываемая дата,
Которую хранят века –
Весёлый праздник – Ханука!

И освещает путь к свободе
Ханукия всему народу,
Напоминая иудеям
Геройский подвиг Маккавеев.

Сражаясь с помощью меча,
Врагов изгнала Иудея.
И, в честь победы гордо рея,
Пылает яркая свеча.

*Стихи Давида Брацлавера
публикуются в авторской редакции*

БОРИС БРОНШТЕЙН

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

(баллада)

Горизонт показался вдали.
До него были лишь километры.
Главный молвил: «Ну, вот и дошли,
оправдаются наши жертвы!»

И прищутив на солнце глаза,
потаённым думам внимая,
обернувшись, сквозь слёзы, сказал:
«Вот и всё, мы дошли до края».

Часть из нас разнуздали коней,
съели долю еды холодной,
улеглись на песок – он теплей,
а других сон свалил голодных.

Кто сильней – поскакали вперёд...
Столько лет Он водил по пустыне.
Столько раз обещал – за поход...
Сил нет ждать. Мы хотим быть там ныне!

И скакали всю ночь. На заре
цепь холмов впереди увидали,
а за ними река в серебре.
Постовые туда не пускали.

Но не зря нас зачал Авраам,
не напрасно Сара рожала.
Мы вошли в страну Ханаан,
а она нас камнями встречала.

Как же так? От камней уходили,
все четыреста лет подряд,
на себе эти «камни» носили,
египтян выполняя наряд.

Но тогда нам *платили* за это,
пусть не много – на раз поесть.
А теперь? От звезды до света
так – без отдыха, не присесть!

Для чего тогда эти риски?
Сорок лет по пустыне водил...
Провожали родных и близких,
столько горьких оставив могил.

Собралось, наконец, всё племя,
мы недобро спросили: «Где Он?» –
«Умер Он. Вчера хоронили.
Нам велел занимать рубикон».

Прошумели века над песками,
всё молелось по многу раз.
Из той пыли пекли страну сами.
«Моисей! Твой исполнен наказ!»

ЧАС ИКС

Останется немного от меня:
гранита гладь, Давидова звезда,
фамилия, под нею два числа,
черта меж ними – это жизнь моя.

Останется немного от меня –
всего лишь горстка тлена небольшая,
вещей немного, их возьмут друзья,
чтоб вспоминать, что был когда-то я.

Ещё останутся мой голос и слова,
их записал я, в микрофон читая.
две дочери, и сын, и внуки, и дела,
что не окончил, смерть не ожидая.

В конце необходимо начертать
слова такие (и прошу не возражать –
над ними думал я немало лет):
«И это всё?» (вопрос). «И это всё!» (ответ).

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

Изуми ты нас, Господи,
и измени времена!
На мир, не по-Божьи устроенный,
опусти Ты глаза.

Вселенную, что от нас вдали,
оставь Ты – пускай поспит,
на землю, что мы испоганили,
строгий свой взор обрати.

Виновных не защищаем мы –
Содом и Гоморра – гори!
Но есть на земле и садовники –
от Лота произошли.

Возможно, ещё успеем мы,
поняв, что не деньги – цель,
Исправить всё, что наделали.
Ещё раз, попробуй, поверь!

СОЛОМОН

Вот Соломон сказал:
«Пройдет и это!»
Прошло. Прошло и то, прошло и это,
а суть осталась для поэта,
да и не только для него –
строкой из Ветхого Завета.

БЕРЛИНСКИЕ КВАДРАТЫ

Гуляя по Берлину, в день погожий,
свой взгляд на землю уронил прохожий.
Нагнулся. Вот – находка перед ним
с чуть тусклым блеском, жёлто-золотым.

Хотел поднять, но не смогла рука –
квадратной медная пластинка та была.
Хоть в землю вправлена, а выше мостовой,
примята чуть, и рядом со второй.

Когда он смог, встав на колени,
пыль оттереть, что сверх пластин легла,
увидел цифры там, над ними буквы тлели,
и буквы те сложились в имена.

Фамилия на них была одна,
рождения даты – разные года.
Родители: муж, рядом с ним жена,
мальчишек двое, девочка одна

(наверное, любимицей была) –
такая вот – на «...штейн» семья
здесь в доме некогда жила.
Теперь – в металле имена.

Фамилия была у них одна,
одна и дата смерти им дана,
едино место, где исчезли их тела,
такая страшная судьба – на всех одна.

Разглядывая стены и лепнины,
вы опускайте чаще вниз глаза,
чтоб не задеть, не истончить пластины
и не стереть святые имена.

КАМНИ

Разбрасывать камни – людская судьба,
разбрасывать камни туда и сюда,
разбрасывать камни, потом собирать,
свои, не чужие. Чужие не брать!

Как быть? Что мне делать, если найду?
Тайно тот камень домой принесу.
Ставни закрою, на стол положу,
камень омою, надпись прочту.

И вот убедился, этот – не твой,
и весит он много, и цветом другой,
и надпись гласит, что какой-то чудак,
раскрыв тайну жизни, всем дарит за так.

Не хочет он денег и жизненных благ,
гарема не надо, заводов и яхт,
и славы не надо, не надо дворцов,
ни звона литавр, ни высоких постов.

Условие есть: тот, кто камень найдёт,
его не присвоит, себе не возьмёт,
в наследство – ни первой жене, ни второй,
ни даже последней, совсем молодой.

Нашёл! Он не твой. Себе не бери.
Тихонько его на место верни,
иначе, поверьте, случится беда –
Всевышний решает, кому и когда.

Кому и когда он воздаст за тепло,
за пользу, и радость, за рук мастерство.
Воздаст и за подлость, воздаст за грехи,
неважно, кто делал, – низы иль верхи.

Вопрос, вам, живущим на этой Земле,
в посёлке рыбацком, а может, в Кремле,
в палаццо под Римом иль в сакле простой,
где плохо с одеждой и суп негустой.

Представьте, стоите на Страшном суде,
налево преступников варят в котле.
Направо есть дверь, и туда пригласят,
там камень «прочтут», приговор огласят.

ВТОРОЙ ПОТОП

Всё ниже туча чёрная ползёт,
и гром гремит, и молния сверкает.
И дождь, не останавливаясь, льёт,
сплошным разливом сушу покрывает.

И места нет на всей Земле людей,
где можно от несчастья увернуться,
потомкам завещать продление дней,
счастливым лечь, счастливым и проснуться.

Те, кто сегодня двигают миры,
глупы, ущербны, мысли их в навозе,
извилины мало, да и те прямы –
гордясь собой встречаются в Давосе.

Нам ангелов пошлите, Небеса!
И распознать их тоже помогите,
пришлите фото, списки, адреса
и языку их непростому обучите.

Нам ангелы прислали оберег:
проблема в нас – нам надо оглядеться,
их распознать, самим переодеться
и вслед за Ноем строить свой ковчег.

ГДЕ НАШ СИНАЙ

А сколько по земле прошло людей,
во все века существования суши?
В каких просторах возведён музей,
и где хранят там человечьи души?

Директор кто? Хранитель главный кто?
Как разгадать нам Вечности загадки?
Как примут нас? Наверх возьмут кого?
Порядок в «Свете том», иль беспорядки?

Ну что им трудно нам послать сигнал?
Ведь видят всё, от ока их не скрыться!
Неважно кто – крестьянин, генерал,
британский пэр – всем надо «Искупиться».

Один пример! Чтоб он всех изумил!
Чтоб внятно, чтоб увидеть всё глазами –
получишь то, что делом заслужил,
не на Земле, а там, за облаками!

Как нам найти среди себя святых?
Кто поведёт нас правильной дорогой?
В «тельцов» отучит верить «золотых»
и доведёт до Твоего порога?

Где наш Синай, и где наш Моисей?
Скрижали где? Пришли скорей их, Боже!
Нарушен здесь порядок всех вещей –
темно и холодно, и путь наш безнадежен.

*Стихи Бориса Бронштейна
публикуются в авторской редакции*

МИХАИЛ ВЕРНИК

ПУСТЬ БУДЕТ «ША»

– Ты никогда не умрёшь. Ты хороший человек, а хорошие люди нужны на земле, – говорили соседи Ицхаку. Улыбаясь, он долго смотрел на небо в надежде получить подтверждение, что соседи правы. Но Всевышний молчал.

– Богу тоже нужны хорошие люди, – ответил Ицхак. – Не может же он забирать только плохих. Он открыл калитку. Соседи, улыбаясь, заходили во двор. Шейндл, как всегда, ставила чайник и, не прекращая что-то делать, предупреждала, чтобы никто никуда не уходил, так как скоро будет обед. И никто никуда не уходил. Соседи жили рядом, за покосившимся забором, и считались членами семьи.

Однажды, сидя во дворе, Ицхак посмотрел на Шейндл, которая, как обычно, сидела на низенькой табуретке и ощипывала курицу.

– Шейндл, ты только не нервничай, мне просто интересно, что ты будешь делать, когда меня уже не будет? Ну, ты понимаешь?

Маленькая Шейндл внимательно посмотрела на мужа, с которым прожила почти пятьдесят лет, вытерла мокрые руки, глубоко вздохнула и сказала:

– Не дождётся! Сначала ты похоронишь меня, а потом делай, что хочешь. Хочешь, живи, хочешь, умирай, но если узнаю, что ты собираешься ещё раз жениться, я вернусь... Ицхак, ты же меня знаешь, даже не думай, выбрось это из своей дурной головы, – и она опять стала ощипывать курицу.

Ицхак снял майку и подставил солнцу свой знаменитый на всё местечко живот. Закрыв глаза, он сделал вид, что спит.

Когда он впервые увидел Шейндл, ей было семнадцать лет. Она была самая красивая девушка в местечке и у неё уже был жених. Но как он мог сравниться с Ицхаком? У него был свой дом, хозяйство, и он зарабатывал не меньше, чем сам Сруль Ротшильд, который был большим человеком в нашем местечке. Он был директором пункта по приёму тары. Так, по-научному, Сруль называл пустые бутылки. А заодно он был грузчиком, бухгалтером и приёмщиком, и за всё это получал одну зарплату. На неё он построил себе маленький домик, побольше дочке, и заканчивал строить ещё один. Так, на всякий случай. Когда-то и он сватался к Шейндл, но она предпочла Ицхака. Свадьба была большая и весёлая. А потом Шейндл родила ему троих сыновей. Фишел был старший и пошёл в отца. Петя – средним. Природа наградила его ростом и умом, что не очень нравилось папе. Однажды Ицхак, долго рассматривая сына, спросил у жены:

– Шейндл, по-моему, он не мой сын. Он такой длинный и умный, как

Ротшильд. Шейндл, это мой сын?

– Мишигенер, какой Ротшильд? Ты посмотри на его глаза, это же твои сумасшедшие глаза. Ты что, не видишь?

Ицхак присмотрелся и действительно, он увидел свои сумасшедшие глаза. Он поцеловал Петю:

– Иди, иди, нахес мой. Иди читай, ты будешь большим человеком, это тебе говорит твой папа. Петя уже умел читать, и это несмотря на то, что ему тогда было всего пять лет.

Ицхак не ошибся. Петя, закончив восьмилетку, уехал учиться в Одессу и стал слесарем шестого разряда. Младший сын Боря был маленьким и толстенным. Он не хотел учиться, но стал гордостью семьи – парикмахером. Прошло много времени. Сыновья давно завели свои семьи, у Ицхака появились внуки. За это он любил Шейндл ещё больше, ведь если бы не она, у него никого бы не было.

Ицхак открыл глаза. Шейндл накрывала на стол. Сегодня была суббота, и они ожидали детей. Ицхак с трудом встал:

– Шейндл, где мои таблетки?

– Какие? Для сердца, или от мишигаса?

– От сердца. У меня, наверно, давление.

– Ицхак, сейчас у всех давление, или ты думаешь, что у меня его нет? – Шейндл посмотрела на мужа, – Ицхак, ты мне не нравишься. Нет, ты мне всю жизнь нравишься, но сегодня – нет. Тебе плохо? Ложись, и не крутись здесь, ты мне мешаешь. Скоро придут дети, а у меня не всё готово. И прими жёлтые таблетки, тебе сразу станет лучше. Белые не бери, они мои.

Выпив две жёлтые таблетки, Ицхак вышел во двор. Ему стало легче, и он направился в конюшню. За домом были пристройки, как у многих извозчиков, где жили их лучшие друзья – кони. Когда-то у Ицхака было много коней, но теперь остался один, и тот был не его. Работать Ицхак уже не мог, и конь перешёл по наследству Фишелу. Узнав бывшего хозяина, конь заржал.

– Хороший, хороший, – и Ицхак погладил друга. Конь полез целоваться, и Ицхак обнял его.

Во дворе стало шумно. Ицхак, положив в кормушку сено, направился в дом.

Дети помогали Шейндл, а внуки просились на руки к деду. Сев в кресло он посадил самого маленького себе на живот, а двое забрались к нему на колени.

– Не мучьте дедушку, он себя плохо чувствует, не мешайте ему.

Это была Шейндл. Не выглянув даже во двор, она знала, что внуки будут прыгать у деда на животе, тянуть его за уши и просить играть с ними. И он, несмотря на боль в ногах, и давление, никому не откажет.

– Ицхак, я же сказала, тебе нельзя нервничать, отпусти детей и иди в дом. Внуки, взяв деда за руки, тянули его в разные стороны.

Ицхак с трудом встал. Сев во главе стола, он посмотрел на свою семью. Все были в сборе. Петя, как самый умный, взял рюмку и произнёс тост, который произносил на все праздники и всякий раз, когда семья собиралась за столом:

– Предлагаю выпить за папу и маму. Пусть они будут здоровы, а мы возле них.

За это Петю любили все. Два-три слова и все были счастливы. Пустые рюмки ещё были в руках, когда в дом вошёл сосед Коля с женой. Потом Аврум с женой Ховой, которая была сестрой Шейндл. Ицхак гордо сидел за столом. Это был его дом, его жена, его семья.

После обеда все вышли во двор и расселись под старым абрикосовым деревом. Коля, обняв Аврума, сказал, что любит его, как родного брата, и спел всеми любимую украинскую песню. Потом, обсудив местные и мировые проблемы, все разошлись по домам.

Лёжа в кровати, Ицхак смотрел на свою жену. Их разделял ночной столик, на котором между слониками лежали коробочки с лекарствами. Он протянул руку и коснулся одеяла.

– Ты же хотел сегодня утром умереть? Ты что, передумал? Или ты хочешь меня поцеловать? – Ицхак молчал.

– Ицхак, что у тебя на сердце, выскажись и тебе сразу станет легче, не молчи.

– Ты знаешь, сегодня я наблюдал за тобой и хочу тебе что-то сказать... Ты, ты просто красавица. Нет, я не могу умереть и оставить тебя одну. Без меня ты пропадёшь. И вообще, почему я думаю о какой-то смерти именно сегодня. Я чувствую себя хорошо и хочу прожить с тобой ещё сто лет.

Шейндл встала, укрыла мужа и поцеловала его. Любопытная луна заглянула в окно и увидела спящего Ицхака с улыбкой на лице. Его рука свисала и крепко держала открытую коробочку. На полу лежали белые таблетки.

К обеду во дворе не было свободного места. Люди молча смотрели на Шейндл. Фишел и Боря не отходили от мамы. Хова держала сестру за руку и причитала, но никто не мог понять ни одного слова. Петя держал в руках маленький ночной столик, на котором между слониками лежали лекарства. Не зная, как помочь маме, он каждые пять минут просил её принять лекарства. Шейндл смотрела на сына и успокаивала его:

Петя, мне хорошо, мне очень хорошо. Пожалуйста, пусть будет ша, пусть только будет ша!

Коля давал указания всем, кто хотел помочь и, увидев входящего во двор раввина, направился к нему:

– Батюшка, Ицхак вмер, такой гарный чоловик и вмер. Ну, якже так можно? – Потом подошёл к Шейндл и спросил:

– Шейндл, дер ребе ист да. Шо ёму казаты? Эр виль мит дир реден.

– Коля делай алес алайн. Мы тебе доверяем. Ты же нам ви а бридер.

– Гут Шейндл, гут. Ты тилько нэ волнуйся, всэ будэ гаразд.

Коля сделал всё сам и даже в похоронной процессии расставил всех по местам в зависимости от родственных и дружеских отношений с покойным.

Заиграла музыка. Женщины закричали. Мужчины перестали говорить о делах, и колонна двинулась в сторону кладбища.

Шейндл шла за гробом и разговаривала с Ицхаком. Она напонила ему, что он обещал не умирать, и просила, чтобы он готовился к встрече с ней. Она его там одного не оставит. Ведь он без неё пропадёт.

Тётя Шейндл сдержала слово. Но Ицхаку пришлось долго ждать. Его жена умерла в девяносто четыре года.

За год до смерти Шейндл я посетил её. Маленькая, седая, почти слепая, и очень похожая на мою бабушку Хову, она с трудом узнала меня.

Потом долго расспрашивала о родственниках, просила, чтобы я не забывал её и приезжал в гости.

Я пообещал, что никогда её не забуду, и слово сдержал.

НЕКЕЙВА

Она была некейва со стажем. В нашем небольшом городке её знали все.

Вернее, мужчины, которым надоели жареные котлеты и воскресный чай с печеньем. Те, кто не достиг совершеннолетия, знали о её существовании, и пытались ночью, через закрытые окна подсмотреть, чем занимаются их папки и бородатый поп. Батюшка был статным и сильным мужчиной. Однажды выходя от некейвы, он столкнулся в дверях с таким же бородатым, молодым, но уже почему-то сутулым раввином. Приподняв шляпу, он поприветствовал брата по несчастью, а тот закатил хитрые глазки, мол, пути господние неисповедимы, а наши ... и, извинившись за всех евреев, пропустил святого отца. Батюшка был рад, что его несчастье такое же, как у раввина, и бежал к попаде рассказать, какой у них в городе хороший рэбэчка. А тот, в этот момент, ругал некейву за развратный образ жизни. И за то, что пускает к себе необрезанных. Это – не кошерно. Некейва щекотала рэбэчку за пейсиками, а он, положив свою умную головку ей на коленки, прощал грешнице мелкие шалости.

Женщины нашего городка ругали и даже проклинали её. Но не так чтобы очень сильно, всё-таки человек, а были и такие, которые ей даже завидовали.

Так как городок наш небольшой, то все встречались чаще, чем они этого хотели. Особенно было интересно наблюдать, когда на улице появлялась некейва. Если она прохаживалась по левой стороне улицы, женщины переходили на правую, или наоборот. Если ей навстречу шёл мужчина, то он специально проходил как можно ближе и вдыхал сладкий запах запретного удовольствия.

Но когда навстречу шли муж с женой, можно было умереть со смеху. Муж тянулся к некейве, а жена – в другую сторону. И только предупреждение жены, что сегодня распутник будет спать в гостиной и притом один, действовало на него успокаивающе.

Каждый человек имеет имя. Дадим его и нашей героине. Давайте назовём её Циля или Хайка. Вот умора. Где же это видано, чтобы некейву так звали. Хотя, чем эти имена лучше других?

Можно подумать, что с такими именами живут одни ангелочки.

Давайте называть её Фаина. Почему? Наверное, потому, что буква «Ф» напоминает мне лучшую часть её тела. Интересно, почему я начал именно с этой части тела? Наверное, потому, что мне мясное нравится больше, чем молочное, но это так, между прочим.

А вообще, Фаиночка была не так дурна собой. Круглолицая. Губки красивые и райские, как малина. Груды, как херсонские арбузы, сладкие и не переспелые, и если прижаться губами к краникам, то можно долго утолять жажду. Глаза чуть-чуть раскосые и все зубы кроме одного ровные, но и он украшал её. А эти раскачивающиеся бёдра напоминающие айсберг? Ну, всё как у вашей жены, или почти так. Единственное, чего не хватает, так это шторма.

Фаина знала себе цену. От десяти до тридцати рублей, в зависимости от сервиса. Перечислить? Ох, какие вы любопытные. Ну, хорошо. За десять рубликов её можно было потрогать за букву «Ф». А за тридцать мужчины, столкнувшись с айсбергом, два дня не смотрели на своих жён.

Но самая большая ценность Фаины – она могла слушать. Уложив на перину клиента, она садилась рядом и начинала делать себе маникюр, а клиент рассказывал о работе, о друзьях, о жене и детях. О жене почему-то говорят много. И какая она непонятливая, и какая она неряха, и вообще в сексе она ноль без палочки, и если бы не мама, то он был бы ещё холостой. Дети, вот что его держит – дети, и если бы не они... И он, как нищий, ожидающий милостыню, смотрел на Фаину. Отложив в сторону причиндалы, она поправляла херсонские арбузы и глубоко вздыхала. Этот вздох моральной поддержки стоил клиенту пару лишних рубликов.

Иногда к Фаине приходили женщины. И не думайте! Фаина не изменяла мужчинам. Просто не получавшие неделями ласки, женщины приходили к ней за советом. За чашечкой чая Фаина делилась с женщинами маленькими

тайнами и те, краснея, слушали её, как заморожённые.

Прощались они не как лучшие подруги, но и не как враги. Идя домой, женщина думала о своём муже и уговаривала себя: «Лучше Фаина, чем какая-то проститутка. Она его плохому не научит», и довольная, что у них в городе есть такая некейва, спешила застать не успевшего заснуть мужа. В эту ночь она старалась быть лучше своей учительницы, и удивлённый муж, закатывая свои свинячьи глазки, признавался ей в вечной любви, то есть до утра.

На шестой день творения создатель сказал: «Нехорошо быть мужчине одному» и подарил ему Еву.

Рому любили все. Высокий – один метр шестьдесят сантиметров. Худой – семьдесят девять килограмм и пару граммов, с небольшой лысиной, которая пробивала себе дорогу, как говорила моя мама, с переда назад. В общем, он выглядел неплохо. Единственным дефектом и преимуществом было то, что Рома был вдовец. Нет! Жена была здорова и как! Просто, когда она уходила к кровельщику Мойше, жена сказала, что для Ромы она умерла. Встречаясь на улице, они здоровались, но так, для приличия. Всё-таки они когда-то целовались, а это что-то да значит.

Три года Рома только смотрел на женщин, и друзья даже стали волноваться. Мужской сок бил Роме в голову – и он иногда заговаривался. «Дурак, – говорили друзья, и они были правы, – иди к некейве, это тоже женщина». И они опять были правы. И Рома пошёл. Наконец он поступил правильно.

Увидев вблизи Фаину, он дрожащим голосом спросил, сколько будет стоить простое человеческое счастье. Узнав, что не так дорого, он заинтересовался, так, между прочим, а большое счастье? И ещё раз узнав, что это ему по карману, заказал два больших счастья с перерывом в десять минут. Фаина была некейва со стажем и сразу увидела, кто перед ней стоит. Спросив Рому, когда он в последний раз был на рыбалке и, получив ответ, что он три года не может найти удочку, она уложила его на всем знакомую перину и укрыла тёплым одеялом. Она сняла кофточку и села на край рабочего места. Увидев спелые арбузы, Рома пришёл в восторг – и одеяло приподнялось. Фаина погладила Рому по головке, и одеяло, вздрогнув, опустилось.

«Какая женщина», – подумал Рома и стал внимательно разглядывать Фаину. «Какой мужчина», – промелькнуло у Фаины – и их глаза встретились.

На этом можно было бы и закончить. Ведь вы уже догадались, что будет дальше, не глупые. Поэтому умные могут выйти, а для хороших людей я продолжу.

Клиенты стучались в дверь, но никто не открывал. К вечеру в городе началась небольшая паника. Рома обманул Фаину и получал удовольствие с перерывом всего в пять минут. Усталая Фаина уснула, как настоящая женщина в объятиях настоящего мужчины. Эта ночь стала для нашего

городка роковой. Мужчины, лишённые внимания Фаины, спали со своими жёнами и так, между прочим, занимались любовью. И вы знаете, многим это понравилось. Через девять месяцев небольшая больница была забита роженицами.

Рома влюбился по-настоящему. Он стоял перед Фаиной на коленях и просил выйти за него замуж. Фаина кричала на него и толкала ногами. Зачем ей этот дурак? Какая может быть свадьба? Зачем она ему нужна? И вообще, она же некейва, неужели он этого не знает? «Знаю, – признавался Рома, – ну и что?» Фаина готовила обед, и они вместе ели. Ей нравилось, как Рома уплетал пережаренную картошку и хвалил её уродливые котлеты. Он клялся, что такой вкуснятины ещё не ел. «Дурак» – говорила она ему. Потом назвала его дурачком. Потом – мой дурачок. Через неделю откормленный и счастливый Рома, взяв под руку свою Фаиночку, вышел в город. Город молчал. И если бы хоть кто-то сказал одно плохое слово о моих дорогих героях, то я бы вычеркнул его имя из моего рассказа. Теперь и мне пора заканчивать. Пусть умные зайдут. В конце концов, они тоже имеют право знать всю правду...

А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ

Мясные продукты из свинины Боря любил больше всего. Нет, конечно, и курочку Боря уважал, но как мог борщ из курицы сравниться с борщом из свиных рёбрышек? Как мог куриный шашлык сравниться с шашлыком из свиной вырезки? А жаркое из свинины, а колбасы с чесноком и перцем. А сало??? Вы только вдумайтесь, какое это волшебное слово – с-а-л-о! Закройте глаза и вдохните – сало, жаренное с картошкой. Сало и хлеб с маслом. Сало в шоколаде. Сало с прожилками и просто кусок сала. И ещё, свиное сало полезно для здоровья, доказано медициной. А в больших дозах применяется как лекарство.

А чем полезно куриное сало? Вот то-то, нет сала у курицы! Нет! А значит и толку от неё мало.

Кстати, Боря самый настоящий еврей. И фамилия у него самая еврейская – Махно.

Вы думаете, что Махно не еврейская фамилия? Так вот, вы ошибаетесь. Фамилия произошла от слова махнём. То есть обменяемся. А евреи любят меняться. Квартирами, деньгами, гешефтами, машинами, жёнами, и местом проживания. Это они любят больше всего.

Но если вы не верите, спросите раввина Мордехая, он вам подтвердит, что я прав. Кстати, имя Мордехай произошло от сложения двух слов – «лицо хай», то есть – морда привет. Это я вам точно говорю. Боря работал начальником

ЖЭКа №14. Его заработок зависит от качества санузлов. Чем больше они ломались, тем больше Боря зарабатывал. А так как санузлы не выдерживали нагрузки, то ломались каждый день. И Боря зарабатывал тоже каждый день.

И каждый день он выслушивал одно и то же:

– Мы знаем, что ты жид, и твоя фамилия тебе не поможет. Твой нос – твой паспорт. Поэтому вали в свой Израиль. И забирай своих жидов с собой. Из-за таких, как ты, у нас в кранах нет воды и санузлы не работают. Так и сказали, – нет воды и узлы не работают, и всё это потому, что Боря еврей! А ведь его могли обвинить и в том, что у них нет счастья в личной жизни. И что на Марсе нет воды, и что во всём виноват Боря. И смертность в стране высокая. И что Ленин еврей. И Сталин... нет, это я так, автоматически.

– Всему есть конец, мою черту терпения преступили и сделали мне больно – закричал как-то утром Боря Махно. Пора вспомнить, кто я есть, и, наконец, хоть перед смертью, пожить по-человечески. В Израиле Борю с фамилией Махно за еврея не приняли.

Работники Моссада спрашивали, потом угрожали, потом пообещали выслать его назад, если он не признается, что батька Махно был ему прадедом.

Он кричал, что в его семье даже кошки и попугайчики понимали идиш. Он показал, как моэль издевался над ним, когда ему было всего восемь дней от роду. Увидев, что одна часть Бориного тела принадлежит еврейскому народу, шпионы, то есть разведчики из Моссада отпустили Борю и попросили поменять фамилию Махно на Чапаев. Так будет для вас лучше, – сказали они. Боря показал им кукиш.

И назло всем, Боря решил жить по-еврейски. Соблюдать праздники, ходить по субботам в синагогу и не есть свинину. Почему именно свинину нельзя есть, Боря не знал.

Он обратился к раввину Мордехаю. Нельзя, – сказал раввин, – нельзя и всё!

Потом он долго говорил, дёргал свою бородку, и признался, что свиное мясо, тоже мясо, и довольно неплохое, но есть его пока нельзя и точка. Но если от этого зависит Борина жизнь, то есть мясо можно и даже нужно. Только сначала надо спросить об этом Мордехая и тот подскажет, какой кусочек вкуснее и полезнее.

Боря стал почти кошерным евреем. Его жена сообщила всем соседям, что её жизнь изменилась и наконец приобрела смысл. Раньше смысла не было. Раньше они просто жили от завтрака и до ужина. Теперь перед завтраком и ужином Боря молится. Он раскачивается, как мачта старой пиратской шхуны и скрипит точно также. Слов молитвы она не понимает, но когда Боря громко

произносит аминь, она по привычке смотрит в угол. Но сейчас там иконы нет.

Бабушкину икону они забыли на старой Родине, когда паковали чемоданы. Борина бабушка была еврейкой. Звали её Ципора. По отчеству Хуновна. А по-простому Циля Хуновна. Бабушка верила в Бога. Она ходила в синагогу и в церковь. И ничего страшного в этом нет. Бог ведь один. Какая разница, где с ним разговаривать. Главное, что бы он услышал. В общем, Бог услышал бабушкины молитвы. Но в спешке что-то перепутал, или наоборот, что-то впервые сделал правильно. Бориного дедушку звали Василий Махно. Он служил Богу и был настоятелем церкви Святой Марии, куда ходила бабушка. Там они познакомились. Там перед глазами Иисуса они первый раз поцеловались. Там зачали Борину маму. Там похоронили дедушку Васю. А бабушку через дорогу на другом кладбище. Но если громко крикнуть на одном кладбище, то на другом можно услышать. Дедушка с бабушкой никогда не разлучались. Они всегда были вместе.

Борина мама после свадьбы могла взять фамилию мужа – Рабинович, и избавиться от фамилии дедушки Махно. Но с фамилией Махно она поступила в институт с первого раза. И грамоты получала позже и премиальные. А с фамилией Рабинович ей ничего хорошего не светило.

Пять месяцев Боря учил иврит и ел только куриное мясо. Куриное мясо стоило недорого, было кошерным и из него можно было приготовить всё, кроме компота. Вся остальная мясная кошерная продукция стоила дороже и была кошерным евреям не по карману.

Боря терпел пять месяцев. Сто пятьдесят три дня и ночи. Это же, сколько часов терпел Боря? Нет, я даже считать не буду. А перейду сразу к главному событию.

На сто пятьдесят четвёртый день Боря не выдержал. У него задрожали руки. Ноги стали мягкими, как сало на Одесском Привозе в августе месяце. Боря стал заговариваться. И тогда жена взяла мужа за руку и привела в магазин. Запах чеснока и свиная колбаса на витрине привели его в чувство. Память и зрение стали возвращаться. Жена сказала:

– Выбирай любую колбасу. И сало бери. И кровяную колбасу не забудь. И копченые рёбрышки бери. Бери, что хочешь, меня твой кошрут замучил.

Глаза у Бори разбежались в разные стороны. Они могли бы столкнуться на затылке, но правый глаз увидел, как в магазин зашёл раввин Мордехай и дал команду левому глазу – стоять! Глаз застыл, как вкопанный. Боря шепнул жене:

– Спрячь меня, Мордехай в магазине!

Жена Дора посмотрела на мужа, и не узнала его. Перед ней стоял ко-соглазый мужчина и дёргал за руку:

– Спрячь меня, спрячь, Мордехай в магазине.

Недолго думая, Дора, влепила мужу пощёчину. Глаза у Бори вернулись на место. Мордехай исчез в районе молочного отдела.

– Дора, покупай, что хочешь и пошли домой. Только быстро, мне здесь стоять нельзя. Я же верующий, а отдел не кошерный. Что подумает раввин Мордехай?

– Мне на твоего Мордехая... ну, ты понял. Можно подумать, мы плохие евреи, а он хороший.

Вот буду стоять, пока Моисей не придёт. Или Иисус. Или Мохаммед. Или твой Мордехай. Я им всё выскажу. И спрошу, почему говядина такая дорогая? Почему рыба стоит, как говядина? Почему помидоры у нас из Турции, а вода из Иордании? У нас что, всё закончилось? Нас, что, скоро закроют? И зачем мы сюда приехали? Жили, как люди, ели что хотели, пили сколько надо. А тут Мордехай следят, подсматривают, что покупаем, что пьём и что в унитаз с водой спускаем.

Так, Боря, я сыта по горло этим Израилем. Если ты хочешь, оставайся, а я домой, в Киев хочу.

Девушка, продавец, вы что стоите и слушаете, о чём я говорю? Дайте лучше сто грамм этой колбасы, и этой, и этой, и сала полкило. Да, да! Полкило! Мы пирожные из сала приготовим и Мордехая угостим. И вам принесём.

– Женщина, что вы такое говорите, пирожные из сала, вы лучше колбаску попробуйте, может вам понравится? Это денег не стоит.

– Ой! Что тут пробовать, колбаса, как колбаса. Хотя... вот эту, эту, эту, и кусочек буженинки – я попробую. Боря хочешь колбаски попробовать?

– Дора, мне нельзя. Это же не кошерные продукты. Вот если бы эта буженика была бы кошерная, то я бы, ... а так нет, нельзя. Я же верующий.

– Ой, мужчина, и что вы такое говорите, попробовать – это же не кушать. Главное не проглотить. Глотать нельзя. А попробовать можно, это же не кушать.

– И кто вам такое сказал? Может раввин Мордехай? Вы девушка, вот крестик на шею носите, вам всё можно, а у меня крестика нет, мне многое нельзя, – ответил Боря.

– Мужчина, так вы крестик оденьте, и тогда вам всё будет можно. Вы хоть во время еды одевайте, а потом снимайте.

– И тут Боре стало действительно плохо. Он размяк и, как переспелая помидора, шлёпнулся на пол:

– Девушка, это вам тоже Мордехай посоветовал?

– Какой Мордехай? Это раввин, который только что пробежал мимо? Да что он может посоветовать? Что он в своей жизни кроме курицы и мацы ел? Деревня ваш раввин, чистая деревня.

– Вы моего раввина не трогайте, вы, вы, да как вы можете? Крестик одели, значит вам всё можно? Он святой человек! Он мой наставник! Дора, пошли отсюда, мы здесь ничего покупать не будем!

Пусть сами своё сало кушают. А я не буду. Не для этого я в Израиль приехал. Дора на ходу схватила пакетики с колбаской:

– А для чего, Боря? Для чего? Ты меня пугаешь Боренька. Дай я твой лобик потрогаю. Может ты заболел?

– Трогай себя, где хочешь, а я здоровый. Пошли...

Дома пакетики с колбасой заняли своё место в холодильнике. А Боря не находил себе место. Он ходил мимо холодильника туда-сюда, туда-сюда. Его рука тянулась к двери, но он отдёргивал её. А Дора, как будто специально, каждые пять минут подходила к холодильнику и что-то оттуда брала. Запах колбасы вырывался наружу и, минуя кухню, гостиную и коридор, по лестнице забирался в соседние квартиры. Люди не могли нормально думать, отдыхать, и смотреть телевизор. Крик – кто кушает свиную колбасу, разносился по дому. Домовой комитет начал обходить квартиры в поисках источника запаха. Были вызваны полиция, взвод десантников и один танк. Вертолёт кружил над домом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил в стране военное положение. Президент США Барак Хусейнович Обама самолично позвонил Биньямину и спросил:

– Шалом, бридер Бенья! В чём дело, что у вас за хойшех, почему такой переполох?

– Обамчик, ша! Пусть будет ша! Ничего у нас не переполох. То Боря Иванов и его мишигина жена Дора купили свиной колбасы и положили её в холодильник. Так там такой запах, такой... мы подумали, что это Иранцы нам химическую войну объявили. Ты не волнуйся Обамчик, не переживай, всё будет хорошо. И позвони Володе, успокой его. А то он сейчас сдуру ракеты запустит. Нам сейчас базара с русскими не надо. А с Борей мы поговорим. И с Дорой, и с Мордехаем. Может тебе их прислать? Пусть немного в Америке поживут. Нет? Ну, как скажешь, тебе виднее. Привет твоей жене Мишель, скажи ей, что моя Сара приглашает её в гости. Пусть и Володину жену прихватят, Ахмадинежадову жену звать не надо. На кой она нам...

– Слушай Бенья, а Лукашенко присвоил батьке Махно звание героя Украины. Твой Боря с этим батькой не родственник?

– Абамчик, та какой он родственник. Его фамилия по папе Рабинович. Слышишь, Рабинович.

– Ой, Бенья, ой не могу! Рабинович... ну, вы евреи даёте.

Вот такая история. Ну? И как она вам? А ведь всё началось так хорошо. Я вот думаю, кто же во всём виноват, что так получилось? Может быть, Дора?

А может быть, Боря? Да и Мордехай тут замешан кое-где. Может быть я виноват? Хорошенькое дело получается! Да и вы не ангелы. Слушали, слушали и ни разу не перебили. Неужели поверили, что не пригласят Ахмадинежадову жену? Поверили, поверили. Во всё, что абсурдно, верится легко. А кто поверит в правду?

А я вот думаю, что во всей этой истории виноват только я. Перебрал я немного. Особенно с Махмудом Ахмадинежадом. Вот если бы его не было, то история получилось бы что надо. А так...

Да, кстати! Боря и Дора колбасу из холодильника не выбросили. Соседи зашли, домовый комитет, два десантника, чёрный полицейский Джон Смит и танк. И всё подчистую съели.

Добро выбрасывать нельзя, особенно сейчас, когда кризис – сказала Дора.

Хотел Боря и Мордехая пригласить, но тот отказался. Сказал, что улетает в Германию, там у него дело есть. Интересно, какие дела могут быть у Мордехая в Германии. Может и мне полететь с ним, а что, – мысль хорошая.

ШНОРЕР

Значит так. В одном штетл жил богатый еврей. У него были свой маленький банк, жена и дочка. Всё местечко было у него в долгу. Брали у него кредит, но возвращали с трудом. Если бы банкир, звали его реб Хаим, захотел, – забрал бы он все гешефты у должников, и штетл перешёл бы в его руки. Но рук у него было всего две, и Хаим решил не загружать их дополнительной работой. Жил он хорошо, и ни о чём плохом не думал. А зря. Нельзя думать, что хорошо будет всегда. Хаима любили не очень. Он был, как говорили старики, «а пуриц». И этим было всё сказано.

В этом местечке жил еврей, Мойше. Ребом его не называли, так как он был шнорером. Нет, не нищим, просто шнорером. Какая разница? Как между голым и обнажённым, – примерно так. Мойша был добрым и хорошим человеком. Он вставал утром, надевал кипу и читал молитву, потом завтракал и шёл на работу.

Его работой было шнорерство, уже много лет. Он ходил от дома к дому, от гешефта к гешефту, желал людям парнусе, молился за них, чтоб не болели, чтоб их дочери выходили замуж за богатых. А тем, у кого сыновья, чтоб брали в жёны богатых невест. Он никого не проклинал, чем и отличался от других. Был он профессиональным шнорером. Мойше получал за свой труд деньги, еду, а иногда ему достаточно было и спасибо. Жил он хорошо, и даже смог отправить единственного своего сына Шмулика учиться в большой

город Одессу. Шмулик станет инженером, – решил Мойше. Работал он, не жалея ног, чтобы помогать сыну.

Но долго так продолжаться не могло. Так не может быть. Чтобы всегда было хорошо. Я об этом уже предупреждал.

И дорога ребе Хаима пересеклась с тропинкой нашего Мойше. Вы спросите меня, что может быть общего у банкира и шнорера? Не знаете? Я расскажу вам. Слушайте дальше.

Что евреи любят больше всего? Даже больше фаршированной рыбы? Правильно. Своих детей. Наши дети – унзере клейне киндерлах. И даже когда они уже большие, всё равно болит за них сердце и не спится по ночам. И не бросит еврей свою жену, потому что жалко детей. И не бросится еврей с моста, если уйдёт жена, а сбросит другого. Всё, ради детей. Всё это то, что сблизило судьбы Хаима и Мойше. Их дети. Их киндерлах.

Однажды, вернувшись из банка, реб Хаим сел к столу и стал ждать, но ужина не было. Реб Хаим закричал:

– Во из майн эсен?

Не получив ответа, стукнул кулаком по столу. Из спальни, держа мокрый платочек у глаз, вышла его жена Фейга. У Хаима сжалось сердце. Фейга никогда не плакала. Значит, случилось что-то серьёзное.

– Вус ист? Зуг эпис? Фарвус вейнс ды? – потребовал Хаим.

Фейга села к столу и тихо сказала:

– Цурес! Цурес цу унз гекомен.

– Вельхер цурес? Зуг шон, – взволнованно спросил Хаим.

– Унзере тохтер, Малке, а беременная, – и Фейга ещё сильнее заплакала.

Хаима, как громом ударило. Его единственная дочь, Малке, его жизнь, его наследница – а беременная. Хаим вскочил, его крик был слышен на соседней улице.

– Кто это сделал. Я посажу его за решётку! Я сделаю его нищим! Я выпущу из него кишки!

На вопрос, «Кто это сделал?» – Хаим получил ответ. Вы догадались, какой. Правильно. Этим мальчишкой оказался сын шнорера, – Шмулик. Хаим бесновался, кипел, угрожал, пока тихий голос Фейги не вывел его из этого состояния.

– Ша! Чем орать, лучше подумай, что делать. Если люди узнают о нашем цуресе, нам придётся со стыда уехать из местечка.

Но Хаим не хотел уезжать из местечка. Он вызвал в свой кабинет шнорера Мойше. Ни о чём не подозревая. Мойше вошёл и сказал:

– А гит морген, реб Хаим, унд ды бист гундерт цванциг юрен золен лебен.

– Что ты придуриваешься? Дус ист а гитер морген? Дус ист а шлехтер

морген ин дайнем лебен. Дайн сон, дайн шлимазл. – Хаим осёкся. Затем крикнул:

– Моя дочь беременная от твоего сына.

И Хаима понесло, – он проклинал и угрожал, он прыгал и топал ногами и в конце концов рывкнул:

– Вон из моего кабинета, вон из моего местечка!

Мойше, оскорблённый и оглушённый криком, тихо вышел.

В кабинет вошла Фейга и спросила:

– Что слышно?

Хаим ехидно ответил:

– Гурньшт! Я ему показал, он меня не забудет!

– Идиот! Ты настоящий идиот! – Фейга впервые назвала так своего мужа.

– Фарвус? – не понял Хаим.

И Фейга выдала всё, что скопилось у неё на душе.

– У нас в доме беременная дочка. У неё нет мужа. Я никогда не смогу выйти на улицу, люди нас засмеют. Я повешусь или утоплюсь, ещё не решила. Нашу Малке закидают камнями, а ты потом снова женишься. Нет, я не могу этого допустить. Вызови Мойше и извинись перед ним. Придумай что-нибудь. Встань перед ним на колени. Спаси нас всех.

Хаим долго молчал. Он, Хаим, должен идти к шнореру и извиняться. Да, дожил. Но что не сделаешь ради такой жены, ради дорогой дочечки – его радости? Хаим оделся и пошёл к Мойше. Он долго стоял у двери и не решался постучать, но дверь сама открылась и появился удивлённый хозяин:

– Реб Хаим, вы ко мне? Ну, зачем? Я бы мог сам к вам прийти.

– Ша! Нам нужно поговорить? – шёпотом произнёс Хаим.

– Сев к столу, он сразу же начал беседу о чести семьи, о дочке, о том, как ему стыдно за свой крик, и о том, что готов всё забыть. Он, реб Хаим, хочет сделать Мойше и его сына, Шмулика, членами их богатой семьи.

Он посмотрел на Мойше. Тот был удивлён, но чего не сделаешь ради детей. Мойше ответил:

– Я готов дать благословение, но при одном условии.

Какое условие мог поставить бедняк Мойше богачу Хаиму? Вот и не угадали. Ничего страшного. Вслушайтесь в это условие.

– Реб Хаим, вы должны завтра с восьми часов утра и до шести часов вечера ходить со мной по гешефтам и просить милостыню, то есть, шнорать. Если согласны, то завтра вечером, ровно в шесть, я дам вам своё благословение. Если откажетесь, то свадьбы не будет.

И что вы думаете? Согласился реб Хаим или нет?

Конечно, согласился, Чего не сделаешь ради детей?

Итак, утром Мойше встретился с Хаимом и объяснил ему, что и как нуж-

но говорить.

Первым гешефтом была булочная, хозяин которой задолжал Хаиму денег. Войдя в булочную. Хаим поздоровался. Хозяин от удивления открыл рот. Чтобы реб Хаим с кем-то первым здоровался, – такого ещё не было. Хозяин подумал было, что Хаим пришёл за долгом, и стал оправдываться. Но Хаим его перебил, и сказал, что сейчас ему не до денег, что он, Хаим, банкрот, и у него нет за душой ни копейки, и он сам пришёл просить у своего бывшего должника милостыню. Услышав всё это, булочник наговорил Хаиму всё, что он о нём думает, и вышвырнул его за шиворот на улицу. Бедный Хаим стоял и плакал, он не мог больше никуда идти, и просил Мойше прекратить это унижение. Но Мойше настаивал на своём:

– До шести часов вечера, а потом, – благословение.

Вторым гешефтом, куда они вошли, была мясная лавка, хозяин её был также должником Хаима. Но Хаиму с ним повезло, и он получил пару копеек и кусочек колбасы. Радости Хаима не было предела, – он смеялся и плакал. Нюхал колбасу, как будто видел её первый раз в жизни. Отдав всё Мойше, он смелее отправился в третий гешефт. Им была парикмахерская. Хаим там долго не задержался. Он вышел оттуда, облитый мыльной пеной. Мокрый, он со злостью смотрел на витрину, потом нагнулся и взял в руку камень. Но Мойше успел вмешаться, и, слава Богу, обошлось без полиции.

Остальные гешефты принимали Хаима по-разному. Где-то он получал по шее, где-то на него кричали, где-то давали монеты, где-то пищу. Очередной гешефт был одним из последних. Выйдя оттуда, он держал в руке картошку, кусок хлеба и зубчик чеснока. Мойше открыл сумку, и заработанное Хаимом вложил в неё. День был удачным. Отозвав Хаима в сторону, Мойше пересмотрел всю добычу и с радостью сообщил:

– Реб Хаим. Мы неплохо заработали, делить всё будем пополам.

Потом посмотрел на часы и сказал:

– Уже полшестого, я предлагаю идти по домам. Вы своё слово сдержали, и я, с удовольствием, даю своё благословение.

Реб Хаим, хозяин банка, быстро сосчитал свою часть заработка, увидел, что ещё не все гешефты закрыты, и сказал:

– Реб Мойше, ещё есть полчаса и пара гешефтов открыты. Идём и закончим нашу работу до конца.

Вдруг став ребом, Мойше широко открыл глаза и удивлённо посмотрел на будущего родственника.

Мойша был шнорером, но не дураком, он сразу всё понял. Он подошёл к Хаиму и они обнялись. У Мойше появился хороший партнёр. Посмотрев ещё раз на часы, они поспешили к очередному гешефту.

Прошло время. Наши герои стали дедушками. Шмулик и Малка наградили

их шуликами. А почему бы и нет? Они ведь не хуже других. Вы не замечали, сколько шуликов окружают нас, может, это и есть внуки Хаима и Мойши, или других, им подобных? Не забывайте, что все мы из местечка. Из какого? Расскажу вам в другой раз.

РЫЖИЕ ДЕТИ ЛИЛИТ

*«Борис, ты помнишь? Борис, а не было ли кого-нибудь до Адама.
Твоя тоска по мне – тоска Адама по Лилит, до – первой и нечислящейся.
(Отсюда моя ненависть к Еве!)»*

Из письма М.Цветаевой Б.Пастернаку. 14 февраля 1923 года.

Рыжих видно издалека. Их волосы и веснушки привлекают внимание. К ним относятся с интересом и осторожностью. Возможно, им завидуют, и не хотят в этом признаваться, над ними смеются и дают различные прозвища. Рыжие мальчики и девочки огрызаются и мстят, но их мало и им не хватает поддержки. Поэтому они растут дикими волчатами. Став взрослыми, при намёке на их рыжую внешность остервенело лезут в драку и силой заставляют уважать себя. Женщинам сложнее. Они, не владея силой, используют хитрость, уничтожая противников, доводя их до сумасшествия.

Я слышал когда-то легенду о том, что первой женой Адама была не Ева, а рыжеволосая Лилит. Она была гордой, властной и не подчинялась ни Адаму, ни самому Создателю. За свой нрав была наказана, и её место заняла Ева. Была ли она рыжей? Я этого не знаю. Но всё это легенда, достаточно грустная. Как было на самом деле? Знаю лишь, что потомки Лилит, особенно женщины, во всём отличаются от других.

Вот история о двух рыжих.

О ней, как о любой женщине, можно говорить многое. Неотразимой её делали прозрачные глаза с виноградной косточкой зрачка, с нестерпимо яркими губами и тяжёлой медно-рыжей гривой, падающей на плечи. Это придавало ей сходство с хищницей. Быстра в движении и остра на язык, – она представляла определённую опасность. Её боялись и любили. Звали её Яна. Мужчины, как бабочки на огонь, летели на неё. Потом долго, с наслаждением, вспоминали о ней, и не могли жить в мире со своими жёнами.

Его звали Яник. Весёлый, добрый, рыжеволосый. Он был тем мужчиной, от которого женщины не падали в обморок, но и устоять им перед ним было трудно. Его рыжая копна пружинилась завитками, а веснушки ползли с белого лица на губы. Женские мотыльки летели на этот рыжий костёр, чтобы сгореть в его нежном пламени.

Однажды Яник был приглашён на небольшое торжество. Как подобает

рыжим, он ворвался, и сразу стал центром вечера. Ян задевал всех, но на него не обижались. Он смеялся и заставлял веселиться всех. Его любили и он об этом знал. Когда появилась Яна, он не заметил, но мгновенная тишина заставила его повернуться в сторону двери. Она вошла и заполнила собой всю комнату. Ян был поражён и словно онемел. Их глаза встретились, изучая друг друга. Двое рыжих на одной территории, – это угрожало дурными последствиями. Она прошла мимо, подчёркивая, что не замечает его. Вечер продолжался. Ян крутился по комнате, делая вид, что веселится, но с каждым шагом приближался к ней. Затем остановился за её спиной, ища повода, чтобы привлечь её внимание.

– Я не люблю, когда дышат мне в затылок, – произнесла она громко, и оглянувшись, желая ещё что-то добавить. Их глаза встретились. Вечер был в разгаре, когда Ян подошёл к ней и протянул ей руку. Они шли по ночной улице, и им казалось, что счастье шагает с ними в ногу.

Сперва они встречались раз в неделю, затем чаще и наконец, ежедневно. Ян знал, что день, которого он так ждал, наступит, – рано или поздно, но очень боялся его. Он думал, что когда Яна станет доступной ему, что-то может измениться в их отношениях. Он твёрдо знал, что такие женщины просто так не достаются. Прощальные поцелуи были загадочны и томили женское любопытство Яны, и она пригласила его в гости.

Встретила его в коротком красном платье. Волосы её блестели и переливались цветами радуги. От лица веяло страстью. Она смотрела на Яна глазами, губами, – словом, всем своим рыжим естеством. Он был опьянён ароматом весеннего цветения, красотой её и призывным взглядом, и улыбкой. Он был восхищён этим рыжим чудом, которое находилось совсем рядом. Сможет ли он стать тем мужчиной, которого она желала? Ему хотелось её познать, но это могло разрушить то таинство, которое влекло к ней. Ян не боялся женщин, но сейчас всё было по-иному. Этот вечер запрашивал слишком высокую цену. Пауза была дольше, чем они могли выдержать. Ян ушёл. Он бродил по улицам. Как случилось, что он ввязался в неожиданную драку, – это не удержалось в его памяти. Мог ведь пройти мимо, но, увы, зацепился. Так распорядилась судьба. Потом всё было, как во сне. Драка. Боль. Кровь. Суд, и два года лишения свободы. На этом сон окончился.

Первое время он старался не думать о ней, но жизнь в тюрьме становилась ещё невыносимее. Он обвинял её, но состояние его ухудшалось. Ведь её вины не было в том, что произошло. Он стал жить мечтой возвращения к ней. Она являлась во сне, принуждая к диалогам. Он ощущал прикосновения её рыжих волос, её дыхания, и бесконечно, словно попугай, повторял её имя. Освободили его раньше положенного срока. Поезд пришёл без опоздания. Он вышел на перрон...

А что Яна? Неудачный вечер оставил саднящее чувство то ли вины, то ли обиды. Не могла понять, почему он ушёл. Оставил её с рухнувшей надеждой.

– Вернётся. Обязательно. Вернётся, – успокаивала себя.

Но дни летели, проваливались в месяцы. А он не приходил.

– Значит, не любил, ну и чёрт с ним, – резюмировала она.

Но забыть его, оказалось непросто. Она ловила себя на том, что мысли о нём приходят всё чаще. Мгновенный роман, со случайным героем? Почему так шемит сердце и грызёт чувство вины?

Яна расспрашивала у общих знакомых о Яне. Кто-то говорил о его отъезде, кто-то о том, что он в тюрьме.

Ответы смешались в её голове.

– Ничего, придёт. На коленях попросит прощенья, – шептала она, упорно продолжая верить и ждать.

Ухажёры возникали и исчезали с одинаковой скоростью. Как-то, на улице почувствовала чей-то взгляд и оглянулась. Но её окружал мир чёрно-белых или крашенных рыжих. Обозналась.

Яна стала его искать. Узнала, что он осуждён за драку, но была уверена, что это недоразумение. Ян не мог так поступить. Он другой. Он самый лучший в мире. Она собралась в дорогу. Ехала с ним на свидание, просить прощения за тот вечер, за потерянные минуты вдохновенной страсти. Признаться в любви к нему.

Но на свидание вместо Яны явился другой человек, сообщив, что Ян с утра отправлен в другое место пребывания. Яна не плакала, она чувствовала, что мир вокруг неё снова обретает чёрно-белую окраску и невероятную скуку. Возвращаясь домой, понимала, что её ждёт другая жизнь. Какая? Во сне всё равно видела первую встречу с Яном и, просыпаясь, глядела в окно. Она точно знала, что Ян, размечтавшись, также глядит в окно и думает о ней.

Вдруг, получила письмо от человека, который отбывал наказание с Яном в одной камере. Он сообщил, что Ян ежедневно писал ей письма, но не отправлял их. Он боялся, что забыт, и не хотел быть надоедливым. Вечерами читал их вслух, добавляя с грустью об её рыжих волосах и зелёных глазах. Что такие красавицы не должны никогда ждать, мужчины же, ждут их всю жизнь. Ведь ждать их – большое счастье.

Слёзы лишь помогали Яне по несколько раз перечитывать эти строки.

На этом я мог бы закончить рассказ, ибо не знаю – так и не отправил он свои письма Яне? Не знаю, ответила бы Яна ему. Может быть, у рыжих – всё по-другому. Ведь они живут не как все. Почему же я ловлю себя на том, что влюблён в свою героиню? Хотелось бы прикоснуться к её рыжим волосам,

поймать её взгляд, увидеть её чуть-чуть припухшие губы. Но она ждёт не меня, а своего Яна. Я должен помочь им встретиться...

Я напишу ей письмо.

«Дорогая Яна! Мы не знакомы, хотя я знаю о вас многое. Даже сейчас, когда вы читаете эти строки, я вижу ваши глаза, и чувствую шёпот ваших губ. Вы встаете, одеваете пальто и идёте к двери. Куда вы идёте? Думаю, что к нему. Я ещё не успел сообщить вам, где он. Вы берёте такси и едете на вокзал. Почему?»

Она действительно не знала этого. И не хотела знать. Сердце гнало её на вокзал. Выбегав на перрон, она остановилась. Людей было много. Но все они были чёрно-белыми. Она искала его. Люди расплзались, как муравьи. Постепенно перрон опустел. Яна не уходила. Когда поезд тронулся, Яна увидела, как из последнего вагона выпрыгнул мужчина.

Эти вихры могли принадлежать только ему, – Яна это хорошо знала. Она не помчалась ему навстречу, хотя чувствовала, что бежит. Ян шёл к ней ровным, уверенным шагом. Он видел только её и только ей, одной, хотел о многом рассказать.

Если быть объективным, признаюсь, что мне неизвестно, о чём они говорили. Я стоял далеко, и не слышал этого, но я видел, как он взял её лицо своим ладонями. Увы, не знаю, что было дальше – кто-то случайно заслонил их от меня. Наверно, это была Судьба. Давайте оставим их в покое. Ведь они рыжие, и у них всё по-иному.

НОРА ГАЙДУКОВА

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Жизнь спотыкается на поворотах
Скользит по наклонной плоскости
Приходит на еврейское кладбище
Красивые мраморные плиты
Следы русской мафии в Берлине
Надгробные памятники
Слова любви и сожаления
По-русски по-немецки
Иероглифы родной
Ивритской орфографии

Звёзды Давида прозрачные
Камешки выложены узором
Свежие цветы в дорогах
Вазочках Кто-то приходит
Всё это так чисто ухожено
Чуть подалее могилы
Умерших в шестидесятые
Когда у нас была оттепель
Имена совсем не еврейские
Грета Георг Вальтраут
И даже Адольф
Как мы хотим слиться
С основным населением
Но безуспешно

Даты рождения и смерти
Часто не долго прожившие
Вот общий памятник
Аккуратные надгробия
Убитых нацистами
Под которыми никто не лежит

На лужайке мемориал
Хансу Галинскому

Основателю новой
Еврейской общины

Равнодушный шелест
Сентябрьской листвы
Голоса птиц
Белая стена синагоги
Где люди навек
прощаются друг с другом
Ожидая прихода Мессии

КАДИШ 13 НОЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ

Снова читают кадиш
Раввины с белыми бородами
Что-то бормочут на языке
Давно умерших предков
Почему-то ожившем
В Израиле
Евреи стоят у стены Плача
Повернувшись к миру спиной
А плач-то становится громче

Сто тридцать молодых
Французов пришли на концерт
В знаменитый Батаклан
В центре города любви
Здесь их достигли
Трудолюбивые воины
Ислама, вестники смерти
Сто тридцать жизней
Которые только начались
Сто тридцать рыдающих
Матерей, сто тридцать
Нерождённых детей
Аллах Агбар –
Сколько ещё жертв
Требует кровавый
пророк?

Равнины с белыми бородами
В чёрных шляпах
Склонились над толстыми
Книгами.
Что там написано?
Кто будет следующей жертвой?

БОТИНКИ

Почему остаются ботинки
Почему не платки и косынки
Не пальто, не калоши, не шапки
А потёртые старые тапки?

Может помнят ботинки удачу
Танцевали и пели в придачу
Поздравляли друзей и гуляли
Всё снимали и вновь одевали

Но пригнали на берег Дуная
До последних шагов прошагали
И упали в прозрачную воду
Чтобы в ней раствориться народу

Что осталось. В железном ботинке
Брызги тают как будто слезинки
Будапешт голубого Дуная
По погибшим евреям сучает

МОЙ ДЕД

Я медленно еду по Невскому
в троллейбусе Это бессмысленно
Кругом только пробки и пробки и пробки

Я еду сейчас мимо дома
Где жил и умирал мой дед
Лев Абрамович Заалкинд

Его особняк отобрали
Революционные солдаты и матросы
А он жил в квартире без лифта

Где два затемнённых окна
Смотрели на солнечный Невский
Другие же окна квартиры
Смотрели на сумрачный двор.

Он был очень болен
Известнейший врач-гинеколог
Что написал бестселлер о гонорее

Он в Бонне учился, последний
Потомок богатой семьи
Прабабушка в родах скончалась

Потом родилась моя мама
Красавица Ниночка Заалкинд
И вот мы стоим у дверей

Старинной богатой квартиры
Высокая темная дверь
Скрипит, пропуская нас внутрь

Мой дедушка после инсульта
Он Невский не мог перейти
Неловко с трудом семеня
На палку свою опираясь
Высокий и грузный
С тяжёлым и благородным лицом

В зелёных красивых глазах
Застыли усталость и страх
Вот он на меня посмотрел

Что это ещё за зверюшка,
Мала и худа и чернява
Какой-то китайский ребенок

Единственной внучкой была
Он взял меня за руку
И в близоруких глазах

За толстыми линзами
Очков с роговой оправой
Внезапно мелькнула любовь...

Его я больше уже не видала живым
Портрет этого еврея-аристократа
Висит в моей спальне
И смотрит спокойно
Как я с этим миром справляюсь...

НЕМЦАМ, СПАСАВШИМ ЕВРЕЕВ

Опять всё камни, камни,
Бетонные бессмысленные плиты,
Тяжёлые, как Память. Лабиринты.
Вот камни под ногами.
С именами и датами рождения и смерти.
Кому-то даже Доски на стенах
С коротким поясненьем: «Кем был,
Чем заслужил и почему
В сорок втором отправиться туда,
Откуда шансов не было вернуться».
Но эти камни – прозрачные окошки
В прошлое, в землю, в асфальте.
Вас, Гюнтер Деминг*, давно уже
Причислили к святым.
(А если не успели, то причислят).
Профессор Вольфганг Бенц** –
Позвольте поклониться.
Надеяться, что защищать евреев –
Не конъюнктурный ход,
А зов души здоровой,
Несущей свет от своего народа.
Народ-то нехорошим не бывает.
Гешвистер Шолль и Белой Розой***,

Как Светом Вечным,
Будет Мир украшен.

**Гюнер Деминг – автор проекта по установке
«Камней преткновения» медных – табличек с
именами и датами депортации погибших евреев
возле домов, где они жили.*

*** Профессор Вольфганг Бенц – был с 1990 до 2011
зав. кафедрой исследования антисемитизма в
Техническом Университете Берлина.*

**** Гешвистер Шолль – сестра София и брат Ганс
Шолль, организаторы «Белой Розы» – подпольной
антинацистской студенческой организации. Были
казнены гестаповцами.*

ТРЕТИЙ ХРАМ

*Tisha BeAv – 9 Av**

По девятым числам у евреев
Случаются всякие неприятности –
Разрушен Второй Храм,
Ха-Шем нас больше не слышит.
Вот и началось: попали в рабство,
Сорок лет по пустыне бродили.
Жгли на кострах, гнали по свету,
Травили, их погромы терзали.
Шесть миллионов сгубили
Циклон «Б» – от сатаны подарок.

А Храм стоял на горе.
Евреи спешили к нему спозаранку.
Произносили молитвы и пели
Мы так любим радоваться жизни,
Хотя познали столько горя.

Теперь ждем Мессию.
У него будет множество дел:
Собрать евреев в Иерусалиме,

Оживить наших умерших,
Построить Третий Храм.

Это будет важное время.
Надо к нему готовиться.
Поэтому старый Рав
Повесил костюм в шкаф.
Он хочет его надеть,
Когда Мессия придёт.

Каждый его по-своему ждёт...

** 29 июля – 9 Ава, День разрушения
Второго Храма, –
день Траура и Поста.*

УТРО В ПРАГЕ

Утро в Праге.
Паук плетёт свою паутину.
Франц Кафка,
Приняв обличье инсекта,
Стакан наполняет зектом.

Еврейский город проснулся.
Мелькают длинные тени.
Раввины в чёрных одеждах.
Евреи живут надеждой.

Но вот растаяло время.
Испанская синагога
Стонет под гнётом туристов.
Вокруг всё пусто и чисто.

Топтанье по Карлову Мосту.
Христос высокого роста
Летит над рекой Влтавой.
Все были когда-то правы.

Жаль только, что на продажу
Пошли и кресты, и звёзды,
Старинных зданий фасады,
Скульптуры, дворцы, ограды...

Но лишь декораций чудо
Задвинешь старым трамваем,
Из сонных щелей повсюду
Жизнь пыльная и скупая...

УТРО В ШКУНАТ ИБИКУР

В субботу утром, пристегнув ключи,
Отправятся евреи в синагогу.
Другие – на зарядку. Понемногу
Выходят из домов с собаками
(Хотя по Торе собаку
Нужно было б исключить).
А рядом – военный лагерь
С северным оленем.
Одеты в хаки парни и девицы.
С утра их вновь гоняют, не жалея,
Чтобы могли за Родину вступиться.
Цветы благоухают, раскрывая
Свои на ночь закрытые соцветья.
И хочется поверить, что Израиль –
Приют евреев на тысячелетья.

МАРК ШАГАЛ В ГАМБУРГЕ

Холодный, прямоугольный,
Высокомерный, невозмутимый
Ганзейский
Город гусей,
Пасущихся на площади
Перед Ратушей,

Украшенной гербами
Семи столетий.
Как будто не было
Лихолетий.

На голове у Гейне
Сидит голубой голубь.
Краски пооблупились.
Никого не волнует
Его интеллектуальный голод.
Что случилось – уже случилось.

В кафе Культур-Форума
В залах сияют
Влюбленные лица,
Красные птицы.
Летающие евреи.
Печальный раввин
Застыл, глядя на крест.
Христос у Шагала –
Тот же еврей,
Распятый шесть
Миллионов раз
Среди коротких
Немецких фраз.

В кафе ниже этажом
Благополучные «сеньорен»
Едят дорогую еду.
Тихо беседуя о том,
Куда сегодня пойдут.
Средний возраст –
Восемьдесят два.

Но вот одна из них
Падает.
И лежит на полу, в углу...
Через несколько
Минут приедет доктор,
И её увезут.

Никто особенно
Не расстраивается.
Она свое прожила.
В Гитлер-Югенд была.

А сейчас этажом выше –
Картины еврея
Марка Шагала!
Где высокомерно
Смотрит на немцев
Его тёмноокая Белла.

Пойдемте скорее смотреть!
Там Жизнь, победившая смерть.

ТУЛУЗСКИЙ ПАЛАЧ

*Посвящается жертвам расстрела
еврейских детей, их учителей и трёх
французских солдат в Тулузе 19 марта 2012 г.*

Солнечным мартовским утром
На юге Франции в старинном
Городе Тулузе
Апельсиновый сок и
Ломтик поджаренной булочки
На завтрак маленькой девочке
Мириам
Из еврейского колледжа.
Мама заплела ей
Две тоненькие косички...
Щебетали птицы,
Смуглый мальчик развозил молоко,
Булочник ставил свой противень в печь,
Почтальон бросал письма
В почтовые ящики на чистых
Разноцветных калитках.

Тем временем в Книге Злодейств
Уже было написано, что:

Появится вооруженный
С видеокамерой на животе
Некто на мотороллере –
Араб, каких во Франции миллионы,
Невзрачный и некрасивый,
Но в лагерях «Аль Каеды»
НАТРЕНИРОВАННЫЙ НА:
Охоту на маленьких деток,
Охоту на безоружных,
Охоту на проходящих мимо.

Каждый исламист – это мина,
Которая рано или поздно
Взорвется и убьет «неверного»,
А, может, и единове́рца,
Если неверного нет под рукой.
Суниты и шииты
Перебьют наконец друг друга?
Тогда наступит покой.

Маленькие еврейские дети
Лежат в крови на асфальте
У входа в еврейский колледж.
Они не увидят Мессию,
А может, увидят, там – за чертой,
Где каждый найдет покой.

Тем временем полиция
Окружила квартиру убийцы.
Привозят его мать,
Но ей нечего им сказать.
Не нужно было его убивать.
Сейчас 72 девственницы
Будут его ублажать,
единове́рцы – «Принцем
Джихада» звать.

Лучше б ему перед Судом
Всего Мира стоять!

БАД КИССИНГЕН, 2014

Я прочту перед хлебом молитву
В ностальгическом старом отеле
«Эден Парк» примет нас и обнимет
Хоть на время мы будем евреи

Великий Бисмарк здесь построил
Усадьбу рядом с сонной Заале
На красном кресле смастерили
Весы мудрёные с надеждой
Что эти ванны помогают
В Бад Киссингине похудеть.

В отеле «Виктория» Сисси
Раз пять между прочим гостила
Наверно всё также хандрила
Но воздух целебный хвалила
Высоко на горе её профиль
На медной доске обозначен
Там воздух и свеж и прозрачен...

Новостройки серебряного века
Изумрудные крыши курзалов
Отражает неспешная Заале
Что порой разливается бурно
Никогда здесь не падали бомбы
Доктор местный лечил Риббентропа
Этим Бадом гордится Европа.

Время золотых нарциссов
Время сиреневых тюльпанов
Время светло-зеленых листьев
Время пения маленьких птичек
Время неяркого солнца
Это апрель в Бад Киссингене.

УТРАТА

(после чтения книги «Скрипач из гетто»)

Когда я вижу немцев пожилых,
неволью ощущаю я смятенье.
Евреев, что погибли среди них,
мне чудятся страдальческие тени...

Ах, это всё фантазии мои.
Те немцы, может быть, не виноваты.
Но что-то снова омрачает дни,
как будто близких вечная утрата.

ЦФАТ

Кошачий город Цфат.
Утешься розами.
Несут порывы ветра терпкий запах.
Настурция алеет, –
Напиток горький жизни
Вином запей кошерным сладким.

Бессмертны кошки Цфата.
Загадочные мини-каббалистки.
Не в них ли
Переселились души мудрецов?

Раввин великий
Сном спокойным спит
И охраняет на горе Мирон
Он город молчаливых иудеев.
В одеждах чёрных тех
Их дети не глядят на посторонних,
Как будто их не видят.

Два мира в Цфате
Не смотрят друг на друга.
Мир дневной, пронизанный

Томительными запахами сосен
И цветов,
Где даже днём услышишь соловьёв.

Шоссе, машины, рынок –
Суетливый туристский рай
С обильем декораций.
Галереи – картины беспомощно
Пытаются быть зеркалом
Дневного и ночного мира,
Увы, но это невозможно.

Мир ночной не поддаётся
Вашему сознанию.
Темны одежды, переплёты книг,
Могилы мудрецов,
Тфиллины, свитки Торы.
И лабиринты снов.
Закрытый мир Закона,
Шесть тысячелетий
Ведущего народ
Из нового египетского плена.
Мессии тень над всеми,
И мёртвые из плена восстают...

Переплетенье Дня и Ночи,
Добра и Зла.
И Вечности покров.

СААДИ ИСАКОВ

ДЕД КУКУЙ И КОШКИ

Если принять во внимание тот непреложный факт, что обо всём уже тысячу раз написано, а литература уже давно ходит по замкнутому кругу, ежели, конечно, не превратилась, на некоторое время, в спасительные для себя «Текст» плюс «Приём», то современному автору остаётся лишь писать преднамеренно о старом и по-старому, используя уже известную классическую заготовку, однако сознательно прибавив, по примеру одного из нынешних классиков, изощрённейшего говнеца.

Предположим, молодой, ещё не оперившийся дорогим паркером литератор, напишет о незадавшейся любви двух юных субъектов прекрасной наружности повесть, в финале которой героиня отправляет своему парню контрольный СМС со словами: «Не звони мне больше» с тремя восклицательными знаками, и по неосторожности в этот момент оступается, допустим, подворачивает ногу на лабутенах (туфли на толстой платформе и высоких каблуках. - Прим. редактора), и падает на рельсы в проём между вагонами поезда. Её, несчастную, конечно, достают здоровую, почти невредимую, всего-то с легкими ушибами мягких тканей прелестного тела. Однако, несмотря на то, что героиня не умерла, у неё никогда не было и нет детей, и никакой Вронский ни разу не падал у неё перед глазами с лошади, тем не менее, у читателя появятся невольные аналогии, а несчастного автора не преминут обвинить в том, что он списал сюжет у Льва Толстого, как двоечник контрольную у примерного школяра, поскольку давно устоялась формула литературной трагедии: женщина-любовь-поезд, на худой конец, река, обрыв или пруд.

Зная это, логично сразу сослаться на классика, выдавая списывание за приём, чтобы убить или спасти двух зайцев, тут как хотите: чтобы не быть обвинённым в незнании основ отечественной словесности и чтобы показать героя не в 3D, то есть сбоку, сверху и изнутри, а в 4D, в сравнении с классическим образцом, порождая дополнительные аллюзии и композиционные перспективы. И это тоже вполне в традиции русской литературы. Даром что Пушкин переписывал Байрона, – главное в этом деле честно во всем загода сознаться, намекнуть, откуда что берётся и черпается, лишь бы потом не заподозрили в плагиате, проще говоря, в воровстве.

Некрасов, конечно, не Байрон. А его дед Мазай по зиме, вероятнее всего, только тем и занимался, что отстреливал зайцев на мех и кулинарное рагу. Спасал он их от утопления из чисто прагматических соображений, а вовсе не из абстрактной любви к животным. Зайцы ему по весне были как бы и

ни к чему – мех на шубку слабый и линький, стало быть, стоило подождать до зимы и убивать косых было ему не резон, если сам не голодал. К тому же отстреливать группу зайцев, спасающихся на островке, скорее похоже на браконьерство, массовое убийство, а не увлекательную охоту. Дед Мазай оказался не из таких, и на убой не решился. И правильно сделал. Некрасов оценил и превратил его в народного героя МЧС (министерство чрезвычайных ситуаций) на все оставшиеся времена, а спасение зайцев в распутицу в первостепенную задачу добропорядочного человека, не браконьера, не живодёра и не подлеца.

Дед Кукуй, а это его заправдашняя, «топонимическая», так сказать, довольно распространённая фамилия, образованная от названия небольшого еврейского местечка под Могилёвом. Там проживали его предки, первые носители этой мудрёной фамилии. Такое прозвище присваивалось человеку вовсе не по рождению или когда он проживал в самом месте, а при переезде на новое место жительства. Например, был в местечке Кукуй еврей Аарон бен Цви, а поехал на заработки в Чернигов, стал называться на российский манер – Аркадий Кукуй. А если бы из Вильно, то становился бы Вильнер или Виленский. Так вот, наш дед Кукуй был вовсе не по охотничьей части, скорее наоборот: он в своей жизни ни разу ружья не имел, даже чтобы просто поддержать. Зато у него было семь кошек кинематографической наружности и судьбы, – их брали напрокат для съёмок кинофильмов с участием животных для пущей характеристики героя «по Станиславскому», чтобы всё было как по правде, или для интерьерера дома согласно замудрёному сценарию: нужна пятнистая дворовых кровей – пожалуйста, породистая – тоже есть в наличии, нужна кошачья массовка – на здоровье.

Кошки были обучены актёрскому ремеслу и умели картинно смотреть круглыми, выразительными глазами прямо в киношную камеру. Дanniбой, правда, смотрел тупо, но его брали в кино за львиную походку и исключительную кошачью красоту, как какого-нибудь голливудского Марлона Брандо, зато Бетти могла грустить, смотреть озабоченно, даже улыбаться и веселиться в кадре, то есть, как великая Мерил Стрип, демонстрировала чудеса актёрского дарования.

В этот раз эпизод снимали на Белорусском вокзале в сопровождении полиции, оцепившей режимный перрон, отрезав нервных пассажиров с чемоданами и баулами от вагонов и мест. Дед Кукуй в главной роли с актрисой, помогавшей ему в этой сцене и изображавшей родную дочь, грузили клетки с кошками в вагон, по ходу уговаривая возбуждённых животных не волноваться и не беспокоиться, потому что всё будет в конце концов хорошо.

Сцена первая: Дед Кукуй с условной дочерью Татьяной подтаскивают к вагону чемоданы и множество кошачьих баулов – семь кошек отправляются

на постоянное жительство в Германию.

– Кто там нервничает? Посмотри, папа, – дочь Татьяна заглядывает в кошачьи домики-баулы.

– Тихо, Барсик, я рядом, тебя никто не бросит, не обидит. И ты, Симона, успокойся, – голос деда Кукуя ласкает и успокаивает. Он вспотел от переноса груза и переживаний. Но вот все формальности закончены, документы проверены. Сверены паспорта и прививки с номерами ошейников. И ровно в 7:40 поезд покидает перрон Белорусского вокзала.

За пять минут до отхода поезда съёмки закончились, оцепление сняли, и толпа пассажиров с поклажей ломанулась к своим местам, снося бурным потоком кинематографистов с аппаратурой, двигавшихся во встречном направлении.

Поезд отправился к западным берегам, подальше от варварской и уютной жизни на востоке.

Сцена вторая: Перестук колёс отъезжающего поезда подхватит песня «7-40». Голос за кадром: «Зачем люди покидают Родину? Зачем отрываются от родных, друзей, теряют корни, отправляясь в эмиграцию? Новая страна – не Родина, обрести там новые корни совсем не просто. И всё-таки, понимая это, люди уезжают...»

Снова в семь сорок ровно,
Снова в семь сорок ровно,
Поезд отходит, звучит наш сигнал.
Ждать никого не будем,
Поторопитесь, люди,
Кто не успел, простите, тот опоздал.
Тук-тук стучат колёса,
Вокруг звучат вопросы:
«Куда мы едем и стремимся мы куда?
Какие встретим на пути города,
Ждёт тебя удача иль беда?»

(Слова народные)

Голос актёра за кадром: «Под эту еврейскую мелодию обычно танцуют «Фрейлехс» в ресторанах, на дружеских вечеринках. Её играют уличные музыканты. Нам эта музыка важна, потому что приближает к теме нашего разговора – эмиграция евреев в Германию».

Далее всё тем же голосом: «Я задавал многим людям два одинаковых вопроса. На первый: «Слышали вы о преследовании евреев во время Второй Мировой войны?» – мне уверенно говорят о Холокосте, о шести миллионах погибших, о концлагерях и газовых камерах.

Но когда я спрашиваю: «А знаете ли вы о помощи, которую Германия

оказывает евреям?» – я слышу и вижу удивление и растерянность людей: «Нет, ничего не знаю... Немцы? Евреям? Не может быть...»

Далее идёт текст от автора другим голосом: «Да, именно эти ответы, свидетельствующие о незнании людьми событий последних двадцати лет, происшедших в Германии, событий, коренным образом повлиявших на судьбы народов – еврейского и немецкого – натолкнули меня на желание поведать об этом в неигровом фильме под условным названием «Государственное покаяние».

В фильме было задумано рассказать о той огромной работе, которую проделала и продолжает делать Германия, принимая к себе евреев из России и других стран. И не просто принимая, а предоставляя весь комплекс социальных гарантий для нормальной, безбедной жизни: обеспечивая жильём, медицинским обслуживанием, денежным пособием и т.д. Не секрет, создатели кино хотели показать жизнь российских (и не только) граждан, обретающих в Германии новую родину. Планировали посетить иммигрантов в квартирах, зайти в синагоги и церкви, побывать на приёме у врачей и в Доме престарелых. Вместе с героями отправиться на экскурсии по городам Германии, Франции, Италии – то есть постараться как можно глубже погрузиться в их жизнь, подробнее раскрыть ту повседневную реальность, в которой пребывают наши соотечественники. Одновременно создатели кино планировали поинтересоваться у граждан Германии, что думают они о своих новых соседях и, более широко, о проблеме приёма Германией иммигрантов из других стран.

Хотели поговорить и с бывшим канцлером Германии господином Гельмутом Колем, тогда ещё в относительном здравии, при котором было принято решение о еврейской иммиграции, и с последним Президентом СССР, разрушителем Берлинской Стены, Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, при котором установились новые, цивилизованные и демократические отношения между странами и народами. И тогда, свято полагали создатели фильма, перед ними и нами откроется весь спектр «еврейской проблемы»: от нацистской Германии до наших дней. Они думали увидеть концлагеря, превращённые в памятники скорби и печали. Зайти в Еврейский музей в Берлине, где как напоминание о Холокосте сделана камера крематория, откуда нет выхода. И снова они хотели разговаривать с людьми, которые едут или уже приехали в Германию – страну, реально, не на словах, осуществляющую «Государственное Покаяние» перед человечеством.

Авторы были уверены: многое изменилось за это время и в Германии, и в России. Но, как и раньше, «Государственное Покаяние» существует в Германии. Более того, оно расширило своё присутствие, переселившись из официальных государственных структур в сердца простых немцев –

каких-нибудь господ Блоха, Вебера, Классена, частного детектива Брунса, фрау Гейнц, Ридус и примкнувшей к ним англичанки, миссис Лоуренс – представительницы тогда ещё единого с Великобританией Евросоюза, – так кратенько можно изложить синопсис (краткое содержание на языке кинематографистов. – Прим. редактора) фильма в одном абзаце.

Кино было задумано создателями с пафосом. Они мечтали сделать фильм пронзительный и неофициальный. Но, к сожалению, ему не суждено было состояться. И вот по какой занятой причине. Пропали кошки, вывезенные дедом Кукуем с рокового российского «острова беды» на твёрдую европейскую «почву счастья». На них было затрачено более трёх тысяч евро за оформление выездных паспортов, документов, включая эмиграционные прививки, а также не менее двухсот метров киноплёнки на Белорусском вокзале на известный уже сюжет. На нём должен был строиться весь фильм.

Исчезли животные не в дороге, не сбежали из поезда врасыпную под Смоленском от русского «брысь», не осели в карантине на подлой, продажной границе, а пропали уже в Берлине, в доме, где поселился дед Кукуй, а само реальное действие неожиданно ограничилось всего лишь куцым квартирным пространством в 33 кв. метра.

Одним из важных побудительных мотивов эмиграции было то, что дед Кукуй был стар, у него стала развиваться деменция, пока еще в лёгкой форме, к тому же обнаружили вяло прогрессирующую злокачественную опухоль, и дочь уговорила папёнку спастись от беды. Кошек тоже надо было спасать от будущего одичания в стране равнодушия к старикам и животным, даже и к заслуженным в кинематографическом плане.

Дед Кукуй уезжать согласился не сразу. Он усиленно, последовательно и даже упрямо сопротивлялся. Поскольку у настоящей и единственной дочери деда Кукуя детей не было, кошки были ему за внуков. Он давно расписал наперёд своих подопечных по знакомым на случай чего скоропостижного, и за будущее материальное благополучие хвостатой родни сильно не переживал. Плохо он думал о том, как они будут духовно прозябать без него, хотя в достатке, сытости и тепле.

Условием отправки в Германию, ненавистную ему со времён пережитой в эвакуации войны и гибели всей родни, оставшейся под Могилёвом и Черниговом, где традиционно селились Кукуи, покидая местечко, было клятвенное обещание дочери, что кошки будут везде и всегда при нём. Гарантией тому были начатые съёмки фильма, где ушастым отводилась нешуточная роль, а ему самому – дополнительные лавры главного героя вкупе с пристальным вниманием врачей и всесторонним уходом. Но судьба кошек в этой сложной конструкции была превыше всего!

Что любопытно, аналогичной была задумка и режиссёра фильма. Он в

скором времени тоже собирался отправиться на постоянное место лечения, только не в Германию, а в Израиль. Кино было его лебединой песней и загадано как смелое либерально-оптимистическое обличение восточно-европейского, а на самом деле – западно-азиатского варварства, и панегирик идеалам гуманизма принудительно покаявшихся на Холокосте как на жертвенном алтаре, и силком, чуть ли не палками, очеловеченных арийцев.

Следующая сцена нашего документального кино уже без кинематографистов. Дочь, теперь реальная Татьяна, не киношная, встретила поезд с отцом и кошками в Берлине. Поместила их в однокомнатную квартиру и уехала отдыхать на Лазурный берег Франции.

И началась у деда и кошек обыкновенная западная жизнь с гуманным и либеральным уклоном в доме с турецкими многодетными семьями за стеной, гомосексуальными парочками «ручка за ручку» на каждом берлинском углу, со слащавым сюсюканьем с животными в парке, с бесплатным медицинским обслуживанием, с оплачиваемым государством жильём для малоимущих и социальным пособием, которого хватает на скромное существование, а также с разовой денежной компенсацией за трудное детство, проведённое в эвакуации.

Дед Кукуй за три недели вполне обжился и освоился в маленькой квартирке в берлинском районе Шпандау – самой восточной части Западного Берлина, за ним – бывшая граница с ГДР, от которой остался лишь двухметровый плакат-напоминание.

Для отставного московского учителя английского языка и истории было счастьем узнать, что одна из соседок по площадке – пригодная для общения англичанка, проживающая на скромную британскую пенсию в сравнительно недорогом Берлине. Будучи моложе и активнее деда Кукуя, она вызвалась помочь в покупках провианта для него и его кошек, потому что с непривычки трудно разобраться, что в магазине к чему при таком огромном и мудрёном выборе. Она это сама помнит с тех пор, как переселилась из Лондона 12 лет назад.

В присутствии посторонних она стала многозначительно называть деда «мой подмандатный друг». Кукуй смущался и потихоньку, хоть и последовательно, возражал, но реально противостоять силе нагло-саксонского напора не мог.

Кошки тоже начали потихоньку привыкать к новому месту, правда они основное время проводили на постели деда Кукуя, но это ему было только в радость. Он видел в этом этап освоения квартирного пространства сперва через интенсивный знакомый запах хозяина, которому, по мере обживания дедом углов, суждено будет укорениться по всей квартире. Дашка, её сын – Сирано, Моня, котёнок Дианы, умершей год назад, Симона – звезда сериала

про многодетную семью Куницыных, совсем молодежь – Бетти и Данни-Бой, юная пара британцев, похожая на подростков с видом глупым и виноватым – вот они все кошки наперечёт. Бетти была беременная, и через 4 недели должны были появиться дорогостоящие серенькие котята с вися-чими ушками. Бетти была хороша собой. Папаша Данни-Бой был невероят-но красив, и ровно настолько же дурачок и трус. Он хуже всех перенёс поезд-ку. Дрожал всем телом и по-кошачьи более суток рыдал.

Уже в первую неделю деда Кукуя с его кошками стали посещать доброжелательные соседи: Ильмас с детьми «посмотреть на усики и хвостики» и толстый управдом герр Блох с первого этажа с целью ознакомиться с порядком на подвластной ему территории. Естественно, всегда присутствовала англичанка миссис Лоуренс, владевшая двумя языками и ставшая переводчиком по бытовым, дисциплинарным и дипломатическим вопросам.

Через неделю она привела сорокалетнюю немку фрау Гейнс, татуированную от кончика носа до ногтей. Та посмотрела на кошек неодобрительным и тревожным взглядом и сказала, что их надо срочно показать ветеринару, иначе беда, и она договорится о приёме. Единственная кошка, которая, на её взгляд, была здорова, это Даша.

Через три недели по приезду, шесть кошек повезли рано поутру на приём к ветеринарному светиле лечить кошачьи почки. Деда Кукуя оставили стеречь здоровую Дашу, чтобы она не страдала от дурных мыслей и одиночества.

Квечеру никто не вернулся. На настойчивый звонок в дверь соседка миссис Лоуренс не открыла. В первый день дед волновался, на второй день заскулил, на третий выплакал всю жидкость из без того сухощавого организма, на четвертый забился в угол в ожидании конца света. Кошка Дашка в первый день прилегла рядом, грея ему холодную, старческую ляжку. Потом рвалась на улицу на поиски Сирано. У неё было своё горе.

Наконец, приехала из отпуска дочь, не кинематографическая, а настоящая. Нашла управдома. Спросила, не знает ли тот, где кошки.

– Из кошек рагу не хуже, чем из зайцев и кроликов, – ответил тот и облизнулся. Взращённый на идеалах антифашизма в социалистической ГДР, где, как известно из восточно-германской легенды, жили только заслуженные борцы с нацистским режимом, пацифисты, дезертиры вермахта и их счастливые потомки, он никак не претендовал на «государственное покаяние» перед человечеством и на гуманизм, говорил и думал, что хотел, и без оглядки на полит- и прочую корректность.

– А где миссис Лоуренс?

– Не брал, – по-немецки сострил господин Блох.

– Может, она умерла? Она три дня не открывает дверь.

– Может, и умерла.

– Тогда надо позвать полицию и вскрыть квартиру, чтобы она не начала разлагаться.

– Начнет вонять, вызовем.

– Запашок уже есть, – солгала Татьяна.

Приехала полиция. В её присутствии управдом открыл запасным ключом дверь. В кресле, как ни в чём ни бывало, сидела миссис Лоуренс и читала в оригинале Агату Кристи – детектив про десять негрятят.

– Почему вы ко мне ворвались? – спросила она, глядя поверх очков.

– Трупом запахло, – со свойственным немцу юмором ответил управдом.

– Как видите, я ещё не труп.

– Миссис Лоуренс! Где кошки? – вежливо, но настойчиво спросила дочь Татьяна.

– Они были смертельно больны и их раздали по семьям, где им будет лучше, чем у вашего отца. Благополучие кошек превыше всего.

С тех пор миссис Лоуренс стала открывать дверь по первому звонку, чтобы её не застали в неглиже или в непристойной позе. Но добиться от неё, где кошки, было невозможно, точно она была не в курсе или хранила страшную тайну.

Найти вторую даму оказалось несложно. Татуированная Гейнс жила в соседнем микрорайоне.

– Какие кошки? – удивилась она. – Бред какой-то?

– А ветеринар?

– Не знаю никакого ветеринара.

– Вы же кошек повезли к нему, фрау Гейнс.

– Отстаньте от меня. Ваш дед не так всё понял.

– А в полицию?

– Идите.

В полиции заявление о краже кошек не приняли. По их мнению и опыту, пропажа была чистейшим недоразумением, итог недостаточно свободной коммуникации и слабого владения немецким языком. Объяснять им, что можно общаться на каком-нибудь другом языке, было недосуг. Они крепко стояли на том, что всё прояснится и так:

– Заявление о краже принять не можем, потому что не известна сумма иска. Если бы была известна стоимость кошек, то взяли заявление.

– Давайте считать. Пять кошек по 300 и 5-6 будущих дорогих котят от британцев, Бетти беременная, итого приблизительно 3000 евро.

– Нужна экспертиза. Без предъявления кошек её не делают.

– Однако, есть их паспорта.

– Это не считается. Оценить кошек только по паспорту нельзя. Кошек

надо видеть.

– Но кошек украли. Это всё, что есть дорогого у моего отца. Всё, что он привёз с собой ценного. А его подло ограбили.

– Искренне жаль.

– Если украдут человека, вы тоже будете искать его по оценочной стоимости?

– Это другое дело. Кошки – животные, неодошевлённая вещь. Ими торгуют. Нужно знать цену. Всё. Разговор окончен.

– Так что делать?

– Ищите по суду, если не разрешится само собой.

Дед Кукуй искренне сожалел и ошибочно, не по-европейски, выразался вслух вот в каком несознательном ключе: «В условиях не правового, злонамеренного государства с автократическим режимом можно всегда нанять несколько человек южной наружности, которые бы подкараулили тёток Лоуренс и Гейнс у подъезда и добились бы от них в течение трех, пускай пяти, минут признания, куда делись кошки».

В условия правового, гуманно-демократического государства этими вопросами неторопливо занимается суд. Адвокат Кристиан Вебер предложил хитрую тактику выдавливания у судьи слезы на почве глубоко трагической утраты дорогих сердцу деда Кукуя кошек. Чтобы ещё больше повлиять на радужную оболочку судейского ока, он посоветовал предоставить справку о прогрессирующей деменции деда, и о том, что забота о кошках способствует торможению развития недуга. Понятное дело, такое мог подсказать только очень дешёвый адвокат.

Райнер Фукс – адвокат противоположной стороны ухватился за эту версию, предоставив чистосердечные, как на духу, признания ответчиц, что дед приехал из страны, где кошачьего песка никто никогда не видел и его приносят из лесу, что за три недели пребывания кошек в квартире, песок не менялся ни разу, а кошки справляли нужду на клеёнке, расстеленной поверх одеяла на постели эмигранта. Кроме того, сам дед Кукуй не знает цивилизованных порядков и правил, ни разу не ходил в магазин, а вместо того, чтобы кормить кошек, ел кошачью еду, то ли по недосмотру, то ли из-за злонамеренной жадности, то ли от незнания немецкого языка. А кошки тем временем голодали. Поэтому соседи были вынуждены ухаживать за кошками и за дедом в равной степени, проявляя параллельно любовь к животным и гуманизм. Они грозились предъявить чеки на покупку еды в период первых трёх недель. Когда же стало понятно, что всему семейству угрожает опасность, кошек было решено отдать по разным домам – новым добродетельным немецким хозяевам, у которых животным будет лучше, ведь кошки, как известно, превыше всего. Не так ли? С чем дед Кукуй самолично

согласился, но, видать, подзабыл.

Дочь деда Кукуя, официально признанная его опекуном, парировала это как выдумки и наглую ложь, доказывала, что болезнь развита не сильно, на кошках не отражается, а вся история кражи кошек произошла в тот момент, когда она сама была в отпуске, отдыхала на Лазурном берегу, а без её согласия, как опекуна, кошек даже ветеринару показывать не имели права.

В условиях неправового государства с сомнительной юстицией она давно бы передала судье через адвоката некую разумную сумму денег и решила бы вопрос в свою и деда Кукуя пользу. В условиях правового и благонамеренного государства судья Моника Ридус – что твой Б-г, решает судьбу тварей мирских, как заблагорассудится, то есть положив на весы полушарий мозга всё, что есть на свете, вплоть до собственных житейских представлений, душевных и нравственных переживаний.

Например, судья вспомнила собственного деда, пристрастившегося в большевистском плену к махорке, вонявшей на весь фермерский хутор, перебивая кислый запах свиней. Вспомнила ужасающий фильм, недавно показанный по местному телевидению о массовом изнасиловании миллионов немок большевистскими солдатами во время оккупации, так что многие восточные немцы получались наполовину русаками. На всё это наложились опасение: как может повести себя дед Кукуй, имеющий неадекватное, злущее происхождение из злодейской России, где ещё до недавнего времени верховодили большевики и коммунисты, и где, как известно, благодаря им много бездомных кошек и собак. В газете не так давно писали о жестоком обращении с ними, что их там едят и делают из их меха заячьи шапки.

Дед Кукуй, маленький, скорее миниатюрный, скромный до застенчивости, с горя не бритый, с большим горбатым носом, отвисшими ушами показался ей как раз из такой живодёро-большевистской породы.

В кинематографическую историю кошек, их выдающийся вклад в российское киноискусство судья просто не поверила, потому что с подобным никогда не сталкивалась и думать в этом направлении не умела, как замшелый крестьянин не догадывается о существовании психоанализа Фрейда.

Таким образом, оставить животных на произвол дикой, нецивилизованной судьбы Моника Ридус не решилась и претензии деда Кукуя отмела, отказав ему даже в праве увидеться с недавно ещё его кошками, дабы их не травмировать повторным расставанием.

На просьбу не разлучать кошку Дашку с сыном Сирано тоже было отрицательное решение, потому что кот уже взрослый, самостоятельный, и с момента их разлуки прошло больше года. Кошки такой стресс могут не пережить. А кошки, как известно, превыше всего.

Где она этого нахваталась? Впрочем, убогие и ложно-добродетельные представления немецких судей, адвокатов и прокуроров – непреходящая проблема немецкой юриспруденции ещё с незапамятных времён.

На здании суда, где слушалось дело, висит мемориальная доска, осуждающая вероломные приёмы, захватнические методы и несправедливые судебные решения в пользу немецкого народа в ущерб прочему, признанному неполноценным, населению во времена нацизма. Это ведь они однажды придумали такую извращённую юридическую практику, что палачи в день получали вознаграждение за первого казнённого 60 марок, однако, за каждого последующего по оптовой цене – по 30. Родственникам казнённого предъявляли счёт: оплата расходов по содержанию под стражей, плата адвокату, такому, как Вебер, пошлина с приговора о смертной казни, стоимость приведения приговора в исполнение, а также 12 пфеннигов – почтовые расходы по пересылке счёта. Государство ни в коем случае финансово страдать не имело права.

Если же кому из неполноценных приходило в голову жаловаться в суд на нарушение торгового или арендного соглашения, судьи оправдывали нарушителей-арийцев, ибо «в широких слоях населения господствуют убеждения в том, что деловое отношение с евреем безнравственно и недопустимо для арийского сознания».

Общий же посыл деду Кукую был по-немецки разумный, успокоительный и гуманно обнадеживающий, потому что всё равно деду скоро умирать, с кошками или без, и пусть хорошенько позаботится о последней и единственной Дашке, которая у него осталась и ему пока по силам, а то и эту, возможно, появится основание отобрать, если будет соответствующее заключение «Общества по защите прав и свобод животных», для которого, как и для суда, «Животные превыше всего!» И не дай Бог, если узнают о жестоком обращении с ней немощного старика, или в силу других каких причин.

- Каких других?
- Если вам запретят иметь животных по медицинским основаниям.
- Как в октябре 1941 года?
- Не припомню, что там было.
- Запретили неполноценным держать домашних животных!
- Мы же вам одну кошку пока разрешили иметь.

В голове деда Кукуя зазвенел «Бухенвальдский набат», написанный его однофамильцем, возможно, дальним родственником, Эдуардом.

Взбешённый дед Кукуй, историк по второму предмету, процитировал на хорошем английском из инструкции полицейским властям Саарской области и Эльзаса о депортации евреев: «Перед тем, как покинуть жилища, задержанные обязаны: а) сдать домашних животных (собак, кошек,

птиц); б) передать скоропортящиеся продукты в распоряжение национал-социалистической благотворительности; в) загасить огонь; г) перекрыть воду и газ; д) выкрутить электропробки; е) привязать к связке ключей бирку с именем хозяина и указанием города или деревни, улицы и номера дома...»

Судья покраснела.

Апелляция деда Кукуя в более высокую инстанцию не прошла. Судья Детлев Классен, поверхностно ознакомившись с делом, потому что кроме кошек у него были дела поважнее, принял почти полностью решение первой судьи за основу, мотивируя ещё и тем, что в немецких семьях (чуть было не написал в арийских, но вовремя поправил), согласно установленным жилищным нормам, кошки скорее адаптируются к лучшей жизни, чем на 33 кв. метрах у деда Кукуя.

Была назначена окончательная сумма судебного иска в размере 3600 евро и соответственная пошлина, которую должен был теперь заплатить дед Кукуя за украденных у него животных, включая почтовые расходы.

Живы ли они вообще, а не съедены управдомом Блохом? Суд однозначно на этот вопрос даже не стал отвечать. Управдом свою давешнюю версию о кошачьем рагу на суде произносить воздержался.

А может, кому-то из кошек безымянный ветеринар уже провел «эвтаназию» – быструю смерть, чтобы они не портили породистые расы кошек, живущих в Германии?

Теперь, когда стало доподлинно известно, сколько стоят кошки, срок давности кражи, по-видимому, истёк. И кто будет искать животных по истечении более двух лет тяжбы. Да и сколько их в живых, учитывая то обстоятельство, что статистика несчастных случаев среди домашних животных в Германии значительно выше, чем у людей, если животных, конечно, круглосуточно не оберегать и не держать за ними глаз да глаз?

Как поживает британское потомство и каков был приплод, об этом ни нам, ни деду Кукую узнать уже не придётся.

В общем и целом, три поистине высокие и гуманистические идеи Гельмута Коля о воссоединении Германии – раз, в результате чего бывший гедэзровец и сексот Штази Блох нашел работу на Западе Берлина в Шпандау, куда ему до падения стены путь был закрыт под угрозой выстрела в спину; о единой Европе – два, позволившей англичанке миссис Лоуренс проживать на небольшую пенсию в недорогом Берлине вместо грабительского Лондона; и, наконец, о приюте большевистских евреев – три, в целях восстановления былой популяции иудеев в Германии, нарушенной в период нацизма и борьбы с иудео-большевистским заговором, – то есть все эти замечательные в совокупности порывы на благо всеобщего счастья, справедливости и процветания, встретив энтузиазм и поддержку населения, для деда Кукуя

обернулись форменной бедой.

А это значит, что не только на одной шестой части мировой суши «хотят, как лучше, а получается, как всегда» или «никогда не было, и вот опять» – повсеместно и неукоснительно действует закон превращения благих и высоких намерений в обыкновенное бытовое несчастье и форменный ад, о чём никогда не помнят или не хотят знать большинство государственных деятелей, великих реформаторов, революционеров, а также заботливые папины дочки.

Кстати, роль татуированной Гейнц, приведшей в исполнение замысел англичанки миссис Лоуренс как-нибудь нагадить деду Кукую за нежелание цепко и перспективно с ней дружить, до конца ещё не была разъяснена.

По закону документального жанра, следует закончить повествование не досужими домыслами, что и как, а описанием дальнейших судеб героев.

Адвокат Вебер так и продолжает свою дурацкую практику и выдумывает нелепые версии для своих клиентов.

Судья Ридус по-прежнему судит, как ей заблагорассудится. Недавно адвокаты осуждённых подметили, что ближе к обеду и под конец рабочего дня она судит строже, чем с утра, и сразу после обеда на сытый желудок, – до такой степени её сущность, несмотря на мантию правосудия, оказалась вегетативно предрасположенной. Поэтому знающий народ манипулирует временем, прикидываются больными, если слушание дела назначено в неблагоприятные часы.

Миссис Лоуренс очень переживает, что ей придётся вернуться в Англию, если в результате Брежнева она не сможет пользоваться прежними правами и льготами. У неё своя трагедия. И её понять можно, потому что о такой сытой жизни на её скромную пенсию в Лондоне ей трудно мечтать.

Дочь Татьяна, по окончании судебного процесса, не получив поддержки полиции, наняла частного детектива Эвальда Брунса. Он довольно скоро нарисовал следующую, вполне достоверную, картину происшествия. Его внимание привлекло то обстоятельство, что татуированная Гейнц частенько заглядывала в магазины, торгующие изделиями из искусственного меха. Заходила туда с набитыми сумками, а уходила с пустыми. Это показалось Брунсу подозрительным. При ближайшем рассмотрении различных фабрикаций в этих магазинах оказалось, что некоторые меховые изделия не соответствовали этикеткам по содержанию, были вовсе не синтетического, а натурального происхождения, хотя выдавались за синтетику.

Частный детектив Брунс направил в магазины полицию для дознания. Выяснилось, что «борцы за права животных» купали и перепродавали кошачьи шкурки в готовом товаре, а Гейнц была одним из главных поставщиков сырья, промышляла поиском кошек, особенно пушистых, ухоженных и

породистых, из которых получался качественный «искусственный» мех.

Дед Кукуй тоже находится под следствием и вот по какому поводу. Однажды утром управдом Блох снова готовил на обед любимое кроличье рагу с картофелем, морковь, помидорами, красным перцем-паприкой, белокочанной капустой, репчатым луком, чесноком и подозрительным, как мы теперь догадываемся, по происхождению мясом. Богатый аромат распространялся по всему подъезду.

Дед Кукуй, почуяв запах блюда из измельчённых кусочков мяса и овощей, взял в припадке аффекта широкий разделочный нож, спустился двумя этажами ниже и позвонил в квартиру управдома, трясясь в запале гнева. Блох открыл дверь настежь, обнажив голый торс с отвисшим пузом.

– Хенде хох! – закричал дед.

– Вас? – не понял Блох. И тут же, получив удар ножом в живот, осел, упал навзничь под истерический крик деда Кукуя и сделал вид, что умер.

– Сука! Блядь! Мудозвон! Пидарас! Нацист сраный! – кричал дед Кукуй, пиная во все доступные места неподвижную тушу управдома Блоха. – Гитлер капут! Скипидар тебе в жопу! Говно вонючее! Говно! Говно! Говно! Живодёры ёбаны! Покрышкин ин дер люфт! Чтоб вы все сдохли, фашистские ублюдки! Охувшие мерзавцы, подонки, блядь! – ну и так далее и тому подобное. Всё это относилось к Блоху, но поскольку управдом ничего не понял из сказанного, то это вроде как и не мат, а только одни эмоции. Попробуем и мы относиться к этому также, не подвергая чувства деда Кукуя цензуре.

А он ещё долго воспроизводил всё, что помнил из своего трудного военного детства в Ташкенте, из непростой послевоенной юности в подмосковной Малаховке, из всей советской школы выживания, пока не приехала полиция и отвезла деда в участок, откуда его отпустили домой в 4 часа утра после длительного и изнурительного допроса.

Казнь немца Блоха оказалась громкой, но неубедительной и мало результативной. Управдом легко выжил, рану заштопали в госпитале Св.Себастьяна, гематомы от побоев сошли сами собой на нет, будто растворились внутри жирного тела.

Зато дед Кукуй угодил под следствие и ждёт суда. С него взяли подписку о невыезде, отобрали загранпаспорт, опасаясь, что он с кошкой Дашкой может удрать обратно в Россию и избежать справедливого возмездия.

Вот такое получилось документальное кино.

Берлин. Июль-август 2017.

ИГОРЬ КОГАН

Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу...
Нигде остановиться я надолго не могу...
А если где и задержусь, то слышу лишь одно:
«Не коммунист, не коммунист... говно, говно, говно!»
И где бы ни был, ни ходил – везде один ответ:
«Не коммунист ты и яврей... страшнее зверя нет...
У нас такие не в чести... Молчал бы да пахал...
Ну, ты братуха,... ну, яврей,... ну, милай,... ты нахал...
Гляди, бородку отпустил... спинжак из тонкой кожи...
Я хоть кондовый, да Русак... как брызну щас по роже!...
Таких, как Мы,... по пальцам счесть!
Трудимси! Вас жалея!...
Лишь МЫ эпохи ум и честь!
Другие!
Все!!
Яврей!!!
Гляди! Придёт тебе хана! Ведь жисть твоя – копейка...
А-а-а... мамка русская твоя... Так и она яврейка!!!

А впрочем,... малый ты ништяк... Найдём тебе работку!
Клади на лапу пять сотняг... и пять рублей на водку».

АЛЬБЕРТ ЛЕИН

ИЕРУСАЛИМ

До свиданья, Иерусалим,
Архивы всех тысячелетий,
Спешащий солнца пилигрим
По холмам Ветхого Завета.

Легенд переседелый грим
Смывает новое приветье,
Неповторимостью на свете
И ненавидим, и любим.

И улиц пейсы разбросав,
Под шапкой недоброжелательств,
Ты вечности терпением платишь,
Понятий изменив устав.

Распахнутостию креста
И равнодушием Пилата.

ТЕЛЬ-АВИВ

Восток в зарницах интеллекта,
Шуршит туристовый прилив,
Как будто оживленье лекций –
Гостеприимный Тель-Авив.

Уютность улиц синагожных
И минаретов остриё,
И камни – летописей тоги
Давно себя сдают внаём.

Неугомоннейший подлиза –
Обленевевшийся прибор
Всё лижет берега карнизы
И любопытства разнобой.

И не дома, а зданья, зданья –
Отелей гулливерства смесь,
И светофоры, как гаданье
На картах перекрёстков здесь.

И переласковое солнце
И в розницу, и на разлив,
Как будто искренность смеётся –
Гостеприимный Тель-Авив.

Петра апостольская церковь
На возвышеньё, как маяк,
Неверья ангелы и веры –
Терпимости примерный такт.

Разноязычность разговоров,
Неудивительность ни в чём,
И воздух, и гипнозность моря,
И незнакомость за плечом.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ОТЪЕЗЖАЮЩИМ В ИЗРАИЛЬ

Решенья приняты, и наступили сроки,
и в будущее вы устремлены...
Отечеству не надобны пророки,
и граждане не больно-то нужны.

Увы, всё правильно – извлечены уроки
из прошлого безжалостной страны.
Прощальные рыдания и строки,
и паспорта уже навек сданы,

и вы вливаетесь в печальные потоки,
России урождённые сыны,
и вас питать иные станут соки,
и сниться вам иные будут сны.

Так пусть сопутствуют вам благодные токи
обетованной будущей весны!
Последний вскрик, пронзительный и тонкий...
Глаза детей спокойны и ясны.

РОНДО КАПРИЧЧИОЗО

Расскажу вам без обману –
мне рояль не по карману,
я на скрипочке пиликаю,
непохожей на реликвию:
Фьюи-фьюи, фьюи-фьить,
хорошо на свете жить!

Ничего, что мир огромный
и немножечко погромный.
От Китая до Америки
раззютились наши жмеринки.
В них сопливые детишки
всё почитывали книжки,

да поигрывали гаммы
под приглядом доброй мамы,
и с лучистыми глазёнками
да со скрипочками звонкими
вырастали мендельсонами,
или с думами бессонными,
что Вселенною навеяны,
просыпались энштейнами
и с задумчивой улыбкою
наклонялися над скрипкою:
*Фьюи-фьюи, фьюи-фьюи,
нелегко евреям быть –*

по освенцимам гореть,
тяжким пеплом землю греть,
и измученным-израненным
обращать свой взгляд к Израилю,
и в пустыне сад растить,
на иврите говорить,
размышлять над древней Торою,
продолжать свою историю...

А сметливые детишки
всё почитывают книжки
о любви и совестливости,
о всеобщей справедливости,
и склоняются над скрипками
озаря мир улыбками:
*Фьюи-фьюи, фьюи-фьюи,
хорошо на свете жить!*

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

Срастается песок мгновений
в сплошной овеществлённый наст.
Тысячелетий тяжкий пласт –
скупой источник откровений,
но через толщу тысяч лет
священный свиток древней Торы

донёс до нас святой Завет,
которому внимали горы.

Когда последний раб
почувствовал свободу,
Бог Тору даровал
еврейскому народу.
«Израиль, слушай!» –
голос прозвучал
и возвестил Завет –
начало всех начал:
*«Пусть будет Бог един средь Мира.
Не сотвори себе кумира.
Господне имя всуе не скажи.
Субботе уваженье окажи.
Отца и мать ты чти, не забывай,
И никогда людей не убивай.
Прелюбодейство, Кражу позабудь.
Не лжесвидетельствуй,
И независлив будь –
Не пожелай себе добра чужого».*

Первейшая духовная основа
дарована в Божественных словах...
Истёрло время в вечных жерновах
вершины гор, царей, дела веков,
но Пятикнижие на сотнях языков
всё озаряет тем же чистым светом –
великим нестираемым Заветом
с камней скрижалей – без черновиков.

И В НОВЫЙ ИУДЕЙСКИЙ ГОД...

«Пусть будет лёгким год грядущий,
в достатке будет хлеб насущный!» –
бессчётно много лет – всегда одно моление,
льют свечи тот же свет, и то же в нас волнение,
и так же сладок мёд осенний на столе...
Мой маленький Народ рассеян по Земле,
но слышит небосвод: «Пусть сладким будет год!»

БЕРЛИН, ДЕВЯТОЕ НОЯБРЯ 1938

Ночь тридцать восьмого проклятого года...
Кто знает, какая стояла погода
в тот, самый кошмарный из всех ноябрей,
но мёртвые листья с деревьев слетали
и скорбными жёлтыми звёздами стали,
пометив одежды: «Вниманье – еврей!»

Пристанища веры, извечно опальной,
громили, зверея, той ночью «хрустальной»
под звон и под хруст леденящий стекла.
И тенью кровавою, огненно-чёрной
накрыло весь мир этой ночью позорной...
Возможно ль поверить, что ночь истекла?

Берлин, девятое ноября 1998

ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Библейских красавиц особая стать,
и поступь, и нежность, и сила,
уменье прекрасною матерью стать...
Природа им щедро дарила
терпенье и мудрость, практический ум,
достоинство, верность, сердечность,
способность дарить в пору тягостных дум
весёлой улыбки беспечность...

Еврейские женщины не без причин –
на всё есть причины у Бога –
взирают всегда свысока на мужчин,
сидящих внизу в синагогах.

История всё продолжает свой ход,
народы и страны сметает...
Еврейская женщина Вечный Народ,
как прежде, всё вновь созидает.

ХЛЕБ СВОБОДЫ

Тысячелетий прорезая тьму
в бездонных недрах памяти еврея
звучит поныне голос Моисея:
«Свободу дай народу моему!»

Дiasпоре стал домом чуждый край,
меняются обличья фараона,
но всё звучит, как и во время Оно:
«Народу моему свободу дай!»

В дни Пасхи сдобы пышной не приму –
опресноки дошли до нас сквозь годы.
Суров и прост хрустящий хлеб свободы.
Свободу дай народу моему!

ПУЛЬС ИСТОРИИ

Тысячелетьями, а не веками,
Восток и Запад тянутся друг к другу –
туда, где стрелкой, обращённой к Югу,
Израиль вклинен меж материками,
когда-то бывшими единым целым.
Связует он два мира и два моря,
с самой судьбою непрерывно споря,
пульсируя всем невеликим телом.

И не один пророк уже погиб там,
и вечность там сжимается шагренью
с библейских давних пор, когда мигренью
залёг Израиль на виске Египта.
И в сердцевине Иерусалима
сошлись в раздорах языки и веры
в извечных поисках добра и меры.
Но жажда эта так неутолима...

ПИР ВАЛТАСАРА

*Перевод с «исторического»**

Драгоценные чаши нечистым вином наполняя,
над святыми сосудами Храма чужого глумясь,
валтасаровы гости пьянели и пели, не зная,
что с кровавым похмельем уже установлена связь.

«*Méne, méne...*» – стена озаряется страшно, и сразу
под неведомой твёрдой и неумолимой рукой –
«*tékél*» и «*уфарсим*» завершают таинственно фразу.
Кончен пир, и теряет правитель свой сон и покой.

Иудей Даниил раскрывает той фразы значенье –
предрекает она гибель царства, плененье и смерть.
Лишь пророкам и смелость от Бога дана, и умение
предсказать властелину грядущую гибель посметь.

Всё «*исчислено, взвешено*» всё на весах неподкупных,
истончается скверною Жизни непрочная нить,
и «*Отрезано!*» – вдруг прозвучит на часах совокупных,
и ничто бытие в суете не сумеет продлить.

* См. *Ветхий Завет, Книга Пророка Даниила.*

СУББОТА В ЭМИГРАЦИИ

Не зажигали мы свечей к Субботе,
и в синагогу не ходили мы,
и думали в субботу о работе,
а не о Боге, но духовной тьмы,
сказать по правде, мы не замечали.
Запретом скрыты оставались дали
для нас, привыкших к жизни за стеной,
но годы шли, и стала жизнь иной.

Стараясь непривычною рукою
два огонька зажечь в вечерний час,
надеюсь душу обратить к покою,
которому не обучали нас.
Колеблются Субботы огоньки
от дуновений воздуха свободы...
Пытаюсь я в оставшиеся годы
вступить в неиссякаемые воды
из Вечности струящейся реки.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Где-то там, глубоко в подсознание,
затаился неведомый чип.
Кем он встроен? Какое в нём знание?
Почему он так долго молчит?

Но однажды, ростком незаметным
от него исходящая нить
свяжет душу с Народом Завета,
чтоб Частицу с Единым сроднить.

И сколько я живу,
и сколько буду жить,
поёт и будет петь
связующая нить!

ЖИВЫЕ ПИСЬМЕНА

«Еврейский камень»* – письменный гранит
из магмы вулканической рождён.
В его узорах виден алфавит,
которым был народ мой награждён.

Еврейские священны письма.
Какой рукой начертаны они?
Из древних свитков эти семена
взойти сумели снова в наши дни.

Я радуюсь вневременной судьбе
далёкого родного языка.
Он, тайну вечную храня в себе,
прошествовал сквозь страны и века.

Еврейское квадратное письмо –
как мне хотелось бы его понять –
всё, что оно с собою донесло,
без перевода сердцем воспринять.

** «Еврейский камень» – письменный гранит –
разновидность магматической породы – пегматита,
в котором полевой шпат и кварц, прорастая один
в другом, образуют структуру, напоминающую
древние еврейские письма.*

ЗАЧЕМ В ГЕРМАНИИ?

Еврейский вопрос

*Зачем я здесь? – в стране, где мой народ,
к небытию навек приговорённый,
сгонялся в безнадёжные колонны,
с тем, чтоб вступить под крематорный свод,*

*где, словно паранойей поражён,
сумел прорваться к власти бесноватый,
из-за кого черны от крови даты,
и жутко то, к чему стремился он.*

*Но сгинул он, и не сыскать костей,
а я иду Берлином обновлённым,
вокруг меня старинные колонны,
и здесь еврейских вижу я детей.*

ДУХОВНОСТЬ

Ступенями изгнаний шёл народ,
спускаясь в бездну горя и страданья,

но дух его стремился в небосвод
и разрешал загадки мироздания.

«АЛЕФ-БЕТ» ИСТОРИИ НАРОДА

Склониться над бездной и сразу отпрянуть,
иначе затянет в последний прыжок.
Истории древней горячая пряность
охватит, навек оставляя ожог.

Священные буквы судьбы-алфавита
хранить, словно в голод оставшийся злак.
Вершинами звёздного знака Давида
пронзить ненавистный скорюченный знак.

Страдания народа, и снова страдания –
от Бога – избранья терновый венец?
Не сдаваться... Страдать, проходя испытанья,
и в праздники их превращать под конец.

И в праздники эти всё так же, как прежде,
колеблется время на вечных весах,
глоточек вина – истомлённой надежде
и горечь веселья в еврейских глазах.

И ЖИТЬ!

Неизменно протянута
вечная, прочная *нить*
между прошлым и будущим – *светит*
многосвечником жертвенным – *тот*,
постоянно приближенный к *смерти*,
странный, маленький, древний *народ*
с поражающей жаждою
вновь возрождаться и *жить!*

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО

«...Нам негде жить
и негде умирать».

*Из средневековой
еврейской поэзии*

Пускай нам негде жить
и негде умирать,

но место есть рожать,
и место есть творить,

*и потому
мы будем вечно быть!*

ЕВРЕЙСКИЕ ПОКОЛЕНИЯ

От прадедов до правнуков – века
всё длится вязь
еврейских сильных генов,
и да продлится далее! Крепка –
не рвётся связь
еврейских поколений.

Народ в пути, и труден путь его –
судьба не улыбается изгою,
но не способна в жизни ничего
с еврейской сделать вечною душою.

Из записей «Мой взгляд за Черту НЕоседлости»

ДВА ИЮЛЯ – ОДИН ДЕНЬ

«Чу-чу! Чу-чу!» – радуется девочка, крохотная даже для её неполных двух лет. Сквозь решётку моста неотрывно следит она за бегущими внизу электричками и подражает перестуку колёс. Рядом – её бабушка удивлённо думает: «Неужели даже такое передаётся с генами через поколение?» Она вспоминает, как в свои семь лет, невесомая от голода, неотрывно смотрела сквозь решётку моста Уральской железнодорожной станции на поезда, идущие вниз. Паровозы некоторых были украшены хвоей и самодельными лозунгами : «ДОМОЙ!» – летом 1945 года эвакуированные возвращались в разрушенные войной, но родные места. Вскоре и её семья вернулась в Ленинград.

И вот теперь, летом 2005 года, внучку невозможно увести с моста, расположенного в центре Берлина. В этом городе уже почти десять лет живёт бабушка. Её сын с женой и дочкой прилетели из Америки погостить. К сожалению, лето выдалось дождливое. Но сегодня, 24 июля, заулыбалось солнце, и сын говорит: «Давайте, раз такая хорошая погода, поедем в Бернау. Твой дед просил поискать там могилу его брата», – напоминает он жене.

Дорога недолгая. Легко нашли памятник советским воинам, павшим в боях за Берлин. Кроме большого обелиска в зелени парка – несколько маленьких, четырёхгранных. На их гранях – списки имён захороненных. Несколько минут хватает, чтобы отыскать имя: Бакунин Л. И.

В последние дни войны в Бернау был советский военный госпиталь. Сюда привезли раненого 2 мая 1945 года в берлинском районе Шпандау лейтенанта артиллерии Льва Ильича Бакунина, двадцати одного года от роду. Не спасли. Ранение, видно, было слишком тяжёлым...

Сын смотрит на часы:

– В Америке уже утро. Позвоню-ка я Марку Ильичу, расскажу, что нашли захоронение.

«Вот как нынче: телефон в кармане. Набрал номер – и готова связь через океан, с другим континентом!» – думает бабушка, вспоминая ужас долгих перерывов между письмами её отца с фронта.

Сын начинает телефонный разговор... Лицо его вдруг становится растерянным, он быстро протягивает трубку жене:

– Поговори с дедом! С ним что-то...

Жена вслушивается пару секунд, понимает, что дед плачет, и тревожно зовет:

– Деда, деда! Что с тобой?!

Оказывается, что ровно шестьдесят лет назад, день в день, именно 24 июля, брат его скончался в госпитале.

Бабушке кажется, что они попали в какую-то складку времени, в которой два дня, разделённые шестьдесятю годами, сомкнулись в один...

Сын с женой, оставив дочку с бабушкой в парке, идут искать здание, где в течение почти трёх месяцев страдал и надеялся выжить раненный всего за неделю до Дня Победы Лев Ильич.

«Причём здесь отчество? Ведь ещё почти мальчик... Лёва, Лёвушка... – вспоминает бабушка, как её мама называла папу, тоже Льва. Им несказанно повезло – он вернулся с войны невредимым, – Боже мой, Боже! Что должна была пережить мать этого мальчика, получив извещение о смерти родного своего сыночка!» – сама она всегда помнит, как заледенела и окаменела от невыносимого ужаса, включив телевизор 11 сентября 2001 года и поняв, что рушатся небоскрёбы Манхэттена, где работает её сын.

Она плачет и говорит внучке сквозь слёзы:

– Здесь твой двоюродный прадед похоронен. Родная кровь...

Поднимает камешек, кладёт к обелиску и неумело произносит поминательную молитву о еврейском юноше из России, лежащем в земле Германии. Молится по-русски, но старательно выговаривает на древнееврейском языке немногие известные ей молитвенные обращения к Богу.

ТРАМВАЙ БУДТО БОЯЛСЯ

Солнечным берлинским летним днём двухтысячного года в трамвае, идущем по Ораниенбургерштрассе, ко мне обратился на странном немецком темноволосый с маленькими усиками мужчина:

– Это христианская церковь или мусульманская? – спросил он, показав вперёд на золотой купол здания «Новой синагоги».

– Вам нравится? – спросила я.

– Да, очень красиво!

– А фашисты хотели такую красоту сжечь, ведь это синагога – еврейский дом.

Трамвай проехал мимо здания. Мы оба смотрели теперь назад, на купол. Мужчина помолчал и вдруг с вызовом сказал:

– А я родился там же, где и Гитлер.

– И вы гордитесь этим?

- Да! – произнёс он и потрогал свои усики.
- А я бы стыдилась.

Трамвай свернул со старинной *еврейской улицы* и синагога уже не была видна. Говорить больше было ни к чему. Но человек с усиками стал как-то особенно всматриваться в моё лицо, видимо, начиная догадываться, что я еврейка. И тогда я сказала:

– Представьте, что кто-то решил уничтожить ваш народ. Стали убивать стариков, детей, женщин, даже беременных, только за то, что они из этого народа. Убили и ваших родителей, сестёр, братьев, вашу жену и ваших детей, а вы чудом уцелели и годы спустя встретили человека, который гордится быть земляком главаря убийц. Вы бы смогли его понять? – мне было трудно говорить, и не только потому, что приходилось подбирать немецкие слова...

Трамвай ехал совсем бесшумно, будто боясь чего-то. Или эта тишина лишь почудилась мне...

Мы долго смотрели в упор один на другого и не отводили глаз. Наконец, я отвернулась, пора было выходить.

Трамвай распахнул двери. Чувствуя взгляд, обернулась. Земляк Гитлера неуверенно помахал мне рукой и, словно удивляясь самому себе, приложил её к сердцу.

«ТЫ НЕ ИЗГНАН ИЗ РАЯ, ИЗРАИЛЬ!»

Такое молодое Государство отмечает юбилей – всего-то шестьдесят лет. Для Истории – мгновение, для человечества – два поколения, но для многих людей – вся их жизнь.

Такой древний Народ вновь обрёл государственность. Быть может, она и не терялась, эта государственность? Просто таилась в священных свитках Торы, в томах Талмуда, в крошечных пергаментях мезуз и в молитвенных коробочках, закрепляемых на головах молящихся евреев, и в самих этих головах.

Такая вечная Земля приняла свой Народ, чтобы он напоил и возделал её, вернул ей плодородность, украсил виноградными лозами, укрыл в тени деревьев и порадовал смехом детей.

Такой древний Язык обновился, омолодился, вновь стал Государственным Языком, родным для новых поколений евреев.

Небывалое чудо, что всё это свершилось!

ИЗРАИЛЮ

*Государство Израиль! Ты моложе меня, ты моложе!
Я молюсь за тебя: долгой жизни пусть даст тебе Боже,
и покоя суровым твоим плоскогорьям и склонам,
и бежево-жёлтым камням, и недвижимым, солёным,
поседевшим от древности водам
под высоким и царственным, всепокрывающим сводом
пусть подарит Он тоже, наш Боже.*

*Я молюсь за народ: долгой жизнью в скитаньях изранен,
бесприютной судьбою своей он не сломлен, не сломлен,
и бедственно-тяжким тем дням, и от пота солёным,
поседевшим от ужаса годам
не поддался и выстоял – на удивленье народам.*

Ты не изгнан из рая, Израиль!

Чудо возрождения Израиля свершилось после Холокоста и вопреки ему. Евреев больше не должно было быть в Германии. Но они есть! Немногие, уцелев, вернулись. Многие приехали из бывшего Союза. Союз этот был когда-то Россией. Евреи, уехавшие оттуда в Израиль и в Германию, говорят по-русски. Их называют русскими. Так получился *Еврейский треугольник – «Израиль – Германия – Россия»*. Он сложнее и непостижимее Бермудского.

В обычном треугольнике, лежащем на спокойной, ровной плоскости, сумма углов равна ста восьмидесяти градусам. Так что слишком острыми сразу все три угла быть не могут. А вот на искривлённой поверхности все три угла одновременно могут стать опасно острыми.

Еврейский треугольник прочерчен на поверхности, страшно искривлённой чудовищными историческими судорогами. Его углы – каждый из них – может быть острее иглы... *Но чудо свершилось и да продлится оно!*

2008 – год 60-летия Израиля (и 70-летия автора).

«ТАК СВЕРШИЛИСЬ СТО ЛЕТ ТЕЛЬ-АВИВА»

«Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня, и Господь – единственный коренной житель на земле. И подлинное право на тот или иной кусок Господней земли дают не исторические завоевания, не исторические перемещения, не факт многовекового владения, а то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным и порядки на ней справедливыми или... гноит нация

пространства Господни, попавшие к ней в руки. Жестоко спросит Господь с такой нации за Имущество Своё. Но воздаст Господь нации, хранящей Имущество Господне».

Из романа «Псалом» Фридриха Горенштейна

Весной, а точнее, в воскресенье 11 апреля 1909 года на пустынном восточном берегу Средиземного моря проводилась жеребьёвка ракушками – какой кому достанется участок земли.

Сто пятьдесят евреев на своих запряжённых лошадьми повозках, то и дело увязающих в песке, собрались в трёх километрах от древнего Яффо. Ранним утром Акива Арие Вайсс собрал на морском берегу по шестьдесят белых и коричневых раковин. Он надписал чёрными чернилами на белых раковинах имена претендентов, а на коричневых – номера земельных участков. Затем начертил на песке план шестидесяти равных по величине участков, снабдив их номерами.

Мальчик и девочка вынимали из корзины одновременно одну белую и одну коричневую ракушку. Так, по случайному выбору, определялась принадлежность каждого из участков. Не мне судить, скрывался ли за выбором только случай, или, быть может, подлинный Владелец земли, но получилось всё удачно – начал строиться и быстро расти овеваемый свежим морским воздухом город Тель-Авив. Так начинался для этого города век его молодости в новые времена:

Где века проходили сонливо,
древний холм тосковал сиротливо,
и волна набегала лениво,
на песке оставляя извивы –
пусто было там без Тель-Авива.

Там однажды, пустыне на диво,
люди собрался гурьбой говорливой,
чтобы жребий решил справедливый,
как построить им город счастливый –
пусто было им без Тель-Авива.

Это так же, как в любимом мною празднике Пурим – вроде бы, не упоминается Бог в библейской книге «Эстер» и люди, бросая жребий – «пур», сами определяли ход событий, а вот всё так искусно сложилось в те древние времена в пользу евреев, что они до сих пор каждый год всю радуются и веселятся. К слову сказать, уже в 1913 году по городу прошло

первое костюмированное шествие жителей, отмечавших Пурим. Было где развернуться – это вам не узкие, грязные, душные переулки старого Яффо, откуда вырвались зачинатели Тель-Авива.

Нынче и переулки Яффо преобразились. Если смотреть со стороны гавани, то на заднем плане, на холме можно увидеть бывший старый город. Поднимаясь к нему, попадаешь в обновлённый квартал, где каждое строение, сохраняя старинные черты, любовно отделано и превращено в удобные дома с мастерскими художников, с галереями. Времени у туристов мало, но хотя бы в один только дом войти, например в галерею Франка Майслера. Я вошла, а вот уходить не хотела. Населяют её такие искусные работы из металла, что каждую можно по часу рассматривать. Я буквально «приросла» к «Скрипачу», пока не увидела «Контрабас». Гриф его слился с головой и плечом музыканта, кисть руки которого сжимает смычок. Между плечом и кистью нет ничего, кроме воздуха, а кажется, что это – единая живая рука, с виртуозной лёгкостью исполняющая клезмерскую мелодию...

Кстати, о мелодиях. В молодом Тель-Авиве общественная и культурная жизнь концентрировалась вокруг гимназии «Герцлия». В ней преподавал музыку уроженец Бесарабии Ханина Бен Ицхак Карчевский. Певец, музыкант, дирижёр, умер, не дожив до сорока лет, но гимназия издала сборник всех его песен «Мелодии Ханины». До сих пор поют в Израиле его песни, хранящие российско-еврейский стиль...

Израиль и Россия – две стороны исторически особого «еврейского треугольника». Германия – третья его сторона. Многое накрепко спаяно в этом треугольнике. Вот и в Тель-Авиве архитекторы-иммигранты из Германии, обученные там в Академии искусств и дизайна «Баухаус», возводили строения в своём модернистском стиле. В окраске домов преобладал белый цвет, и эту застройку стали называть «Белым Городом».

«Тель-Авив» в переводе – «Холм весны». Действительно, по особому выглядит город весной, когда радуют глаз экзотические цветы, а голубизна неба сливается с бирюзой Средиземного моря. Золотой его берег – километры песчаных пляжей...

Город рос, объединился с Яффо, включил в себя Холон, Бат-Ям, Рамат-Ган, Бней-Брак, Гиваттаим... Это – «Город без перерыва», и жизнь в нём бурлит бесперывно.

Так, рождённый мечтой горделивой,
дом за домом, трудом терпеливым
воздвигался там город красивый –
чистый, белый и «без перерыва» –
пусто было бы без Тель-Авива.

Дети в нём веселы и шумливы,
и цветы по весне прихотливы,
и заботами рук хлопотливых
плодоносны в предместьях оливы –
так свершились сто лет Тель-Авива.

Довелось мне, пусть коротко, своими глазами увидеть «Холм весны». И думалось, что на этом, уже сделанном плодотворным, «куске земли» не только хранят, но и приумножают «Имущество Господне». И воздаёт за это Господь живущей здесь древней нации, возрождая её молодость. Недаром средний возраст трёхсот шестидесятитысячного населения города – тридцать четыре года, и каждый день рождаются двадцать новых «тель-авивян». *Да не будет судьба гневлива к мирным жителям Тель-Авива!*

МАРИНА ОВЧАРОВА**О ДРУГОМ**

Кто-то прячется в тёмном подвале за домом,
Там где бродит в забвенье вино молодое.
Это лица и белые крылья с надломом
Неуспевших взлететь и добраться до моря.

Кто там прячется в старой потёртой фуфайке?
Это крысы скребутся от страха в ночи.
Или тень нашей юной прабабушки Хайки
Замерла, подавив хриплый шепот «молчи!»

Позабитая всеми в холодном подвале
Чудом кроткая Хайка осталась жива.
И молчала с тех пор. Подберутся едва ли
Этой песенке грустной простые слова.

Паутиной завешены старые стулья,
Тихо - тихо в углу притаился комод.
Отпустить и простить и поверить смогу ли?
И вернуться в тот день, устремившись вперёд,

Где не пряталась Хайка в промёрзлом подвале,
И не видела тех, не покинувших дом,
Где родные друг друга истошно не звали...
Я в Берлинской квартире пишу о другом.

Цикл «СНЫ ГОРОДОВ»**ЛЕНИНГРАД – ТЕЛЬ-АВИВ**

Дремлет восточный город,
Опустившись на дно тишины.
Силуэты домов и куполов
Еле видны.
Небо ночное разрезал
Крик ишака.

А над рекой далеко, далеко
«Дремлют плакучие ивы».

Им снится восточный город,
Погружённый в звёздную ночь.
Силуэты домов и куполов
Уплывают прочь.

ЛИЦО В ОКНЕ

Побежали, гремя, эшелоны,
Грозной тяжести не щадя.
Мимо станций мелькают вагоны,
Мёрзлый ветер срывает погоны,
А за тусклыми стёклами – я.

Я, конечно же! Кто-то случайный
Надышал, запотело стекло,
И надолго замёрзшая тайна
Заковала в проёме лицо.

Эти лица чужие знакомы.
Сотней глаз бессловесных ночей
Провожают из тёмных проёмов
Безобразных своих палачей.

Не любивших, покоя не знавших,
Не жалевших ни сил, ни огня.
Так бездарно и мрачно проспавших
Восхождение нового дня.

ТЕЛЬ-АВИВ

Я умоюсь твоими лучами,
Ты опять далеко, ну и пусть!
Перепутая рейсы случайно,
На морском берегу окажусь.

Вдоль камней диковатые кошки,
Разомлев на горячем песке,
Собирают какие-то крошки,
Предаваясь ленивой тоске.

Я умоюсь твоими лучами,
Трёхметровой волной окачусь.
Растворится в море печаль моя.
Я назад никогда не вернусь!

ПТИЦА

Посвящение Израилю

Я – твоя большая птица,
Лечу к тебе через два океана,
Равномерно и плавно рассекая воздух
Прямыми острыми белыми крыльями.
А внизу подо мною зелёные волны,
Солёные горькие пенистые цифры.
Это наши с тобою недели разлуки.
Их становится меньше и меньше
С каждым взмахом уставших крыльев.

БЕРНАУ, ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕЛЬ-АВИВЕ

Тихий маленький город наполнен любовью,
Возле церкви нарциссы трепещут от ветра...
Где бы я ни была, ты ступаешь за мною,
Лёгким звоном касаясь волос незаметно.

Милый чистенький город, чужой и ненужный,
Как стройны твоих башен резные бойницы.
Мимо серых домов проплывают досужно
Пожилых горожан одинаковых лица.

Разомлев от тепла, задремали вороны.
Что им снится, воронам, так долго живущим?
Пивоварни, турниры, борьба за корону
Или дальних земель виноградные кущи?

Как и я, вы хотите, возможно, вороны,
Полететь далеко навсегда, безвозвратно,
В ту страну, где созрели под солнцем лимоны,
Где блестят на воде разноцветные пятна.

Где возносятся к солнцу в могучем экстазе
Кипарисов зелёные стройные плечи.
Море вспыхнет огнём ярко-синим, и сразу
Наступает стремительно трепетный вечер...

Тихий маленький город наполнен туманом.
Лёгкий дым из трубы розовато клубится.
Из-под шиферных крыш вылетают неожиданно
Небольшие крикливые серые птицы.

Над стеной городской облака поредели,
Превратились в ряды молодых кипарисов.
Тишина и покой, только ветер шевелит
В детских шапочках желтых головки нарциссов.

ЗВЕЗДА ДАВИДА

Светлой памяти бабушки и дедушки

Я надену платье из шёлка
И туфельки с ремешками.
Встану портретом на полку
Понаблюдать за вами.

Тихо поставлю пластинку,
Чтобы никто не заметил.
Спрячусь обратно в картинку.
Вечер ленив и светел.

Я надену юбку из твида,
Плечи укрою шифоном.
Лучезарной звездой Давида
Взойду на твоём небосклоне.

ЦВЕТОК АВОКАДО

Я останусь с тобой на Голанских высотах,
Превратившись мгновенно в цветок авокадо.

Я останусь с тобой в раскалённой пустыне,
Красным камнем взметнувшись мгновенно от пекла.

Я останусь с тобою оранжевой рыбкой,
Чёрной маленькой ящеркой, белой голубкой...

Я поеду по гладкой шуршащей дороге,
Надо мною раскинется знойное небо.

От оливковой рощи до самого моря
Каждым лучиком солнца я буду с тобою.

ПРОЩАНИЕ С ГОЛАНАМИ

Со склонов Голанских цветок авокадо
Меня провожает пронзительным взглядом.

Меня провожает, пытаюсь запомнить,
Бездонное сердце собою наполнить.

Холмы и равнины качают короной,
А воздух струится по солнечным склонам.

Могучий и радостный день угасает.
Цветок авокадо меня провожает.

РАССВЕТАЕТ НА ГОЛАНСКИХ ВЫСОТАХ

Я проснусь на рассвете, открою окно
И впущу в свою комнату светлые грёзы.
На лазоревых склонах окрепли давно
Винограда упругие юные лозы.

Я открою окно, и вольётся простор.
Я услышу, как птицы смеются чему -то.
И увижу дрожанье над склонами гор.
Это воздух трепещет в предчувствии утра.

ЗОЛОТЫЕ КАПЛИ

*Солнце разбросало золотые капли с юга,
Выжимая звуки из кристаллов
Золота и соли...*

...Здесь все давно живут вниз головою,
Открыв проходим настежь дверь.
Здесь тополя играют с ветром в прятки
Всю ночь, а утром прячутся от глаз,
Чтоб появиться снова для игры...

Здесь разжимается пространство...
Я всеми листьями своими опадаю,
Когда я с ними весело играю
Всю ночь, всю ночь до утренней зари.
Я с ними так давным-давно играю,

И нет конца безумной той игре.
Хрустальный дом построен на горе,
Живут в нём непослушные игрушки
И молча наблюдают за игрой.
Им снится дом неведомый другой

В краю далёком и родном,
Где шторм всю ночь бушует у порога.
На косяке дверном записка Б-гу
С наивной просьбой: «береги наш дом».
Там пальмы тихо листьями шуршат

И просят пить. И терпеливо ждут,
Когда на них прольются капли с неба.
Я вижу дом, где никогда я не был,
Где пальмы наклонились высоки...
И молча расстаются игроки.

СОЛОМОНУ

О, царь Соломон! Мой возлюбленный царь!
К тебе приближаюсь, отважась, как встарь.

Ты любишь меня. Ты ночами не спишь
И глядя в простор, лишь со мной говоришь.

Протянута смуглая в перстнях рука.
Ухожены ногти... Как ночь глубока!

Твой яростен взор и уста горячи.
Со мной говори, Соломон, не молчи!

Походка уверенна, поступь тверда.
Я к башенным стенам иду, как тогда

По полю, где женщины в платьях до пят
Янтарный срывают тебе виноград.

Старухи и девы десятками лет
Приходят к стене, лишь забрезжит рассвет.

Становится меньше их день ото дня...
Среди этих женщин узнаешь меня?

ГОЛАНСКИЕ СКЛОНЫ

На склоне дня со склонов гор
Глазам откроется простор...
В полях посеян красный мак.
И это знак.

Мы видим рощи и ручьи.
Мы смотрим сверху и молчим,
Свой давний помня уговор
На склонах гор.

Мы видим реки и поля.
В них отражается земля.
Они отчётливо видны
Со склонов гор.

Там бьёт волна о край луны.
И мы на краешке волны
Плывём и думаем, что спим
И говорим.

Никем не слышим разговор.
Волна молчит.
Я не скучаю по тебе,
Ты просто в воздухе разлит
По склонам гор.

ИЕРУСАЛИМУ

Светлый город долины окутан туманом.
Миг – и солнце зальёт рафинадные стены
Его старых домов, его плоские крыши,
И на крышах – с водой белоснежные бочки.

ПЕТУХ ДЛЯ ДЯДИ МИШИ

Старенькая баба Хайка доживала кроткую жизнь в чудом уцелевшем домике в местечке под Винницей. Она занимала две комнаты, а в третьей, с отдельным входом, жил парикмахер Чайковский. Когда меня в возрасте 4-х лет впервые привели в Мариинский театр на «Щелкунчика», я уверенно заявила, что хорошо знакома с композитором.

Но это было позже. А тогда, в углу возле печки лежал вязанный крючком из узких лоскутов коврик. Под ним скрывалась дощатая крышка погреба. Вниз вела деревянная лестница из нескольких ступенек. Меня туда не пускали.

Однажды я обнаружила крышку отодвинутой. Из темноты сладостно

пахло плесенью. Этот запах, и сам погреб, были продолжением дома, крохотной белой комнаты с занавесками и огромным голубым будильником на столе. Будильник громко тикал, и не то что будил, а просто не давал заснуть, поэтому на ночь его накрывали подушкой.

Из погреба показалась сначала голова, а затем и вся баба Цыпа. К груди она прижимала невероятной красоты изумрудно-бронзового петуха. Сердце моё замерло от восторга. Вероятно, его купили утром на базаре и посадили в погреб. Рубиновый глаз его смотрел на меня, не моргая, петух изредка подёргивал головой, отчего гребешок на его голове начинал слегка дрожать. Надо сказать, что до этого я никогда не видела петухов.

Баба Цыпа, похоже, почувствовала моё смятение, но не придав этому особого значения, сказала: «У тебя есть дядя Миша. Завтра он приезжает. Этот петух для него». Я сразу всё поняла! Мой дядя Миша самый лучший и важный на свете, если он достоин такого подарка. Наутро приехал дядя Миша, действительно прекрасный и любимый. Оказывается, я знала его всю мою маленькую жизнь, но просто забыла. В суматохе я забыла про петуха.

Жизнь пошла своим чередом. Тикал будильник на столе, коврик лежал в углу, на горе за местечком созрела черешня, и украинские девочки скатывали мне сверху спелые ягоды, называя их вишенками. Я находила «вишеньки» в траве и думала, что они так на земле и растут.

И вдруг я спохватилась. Петух! «Где петух?» – спросила я бабу Цыпу. Она промолчала...

Вот уже больше 50-ти лет как ушла из жизни старенькая баба Хайка, 30 лет как не стало бабы Цыпы и 10 лет – моего любимого дяди Миши. Нет местечка под Винницей, и парикмахер Чайковский не только не пишет музыку к балету, но давно уже никого не стрижёт.

А петух с роскошными бронзово-изумрудными перьями, как живой стоит перед глазами, почти одного со мной роста и подёргивает изредка головой, тряся гребешком и издавая тихий гортанный звук, который слышен только мне.

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

МОЯ УЛИЦА

Захватив с собой дождь и сырость с берегов Шпрее, я приехала к берегам Днепра. Едва опомнившись от дружеских объятий, спешу на свиданье с улицей детства и юности. От неё до Крешатика рукой подать. Малая Житомирская, средняя из лучей, восходящих от площади Независимости, некогда Калинина, в прошлом веке – Думской. Улицы, как люди, меняли имена, приспособлялись, порой возвращаясь к истокам. Не избежала этой участи и Малая Житомирская.

Подолгу стою перед каждым домом, которые сохранила память. Пытаюсь запомнить эти мгновенья, чтобы потом возвращаться к ним. Вспомнив нечто, смеюсь, и прохожие, недоумённо оглядываясь, пожимают плечами. Улыбаюсь и плачу, но слёзы остаются внутри, а на лице я сохраняю лицо.

Центральная Городская Баня. Возможна ли в городе не городская?

Когда появились отдельные квартиры, бани отдали им пальму первенства. Но и сейчас есть люди, предпочитающие «баню», хотя это уже другая история, своего рода – ритуал. А в те недалёкие времена, когда отдельных ванн не было, за двадцать копеек мы получали отдельный шкафчик, тазик и воду в нашей, почти домашней, бане.

Сквозь пар, как в замедленном танце проступая в тумане, двигались тела, худые и полные, красивые и не очень, получая свою долю чистоты и удовольствия.

Как всё понятно, до боли узнаваемо на улице... Чуть выше, в первом этаже окна зарешечены. Некогда здесь жил и работал Лазарь-краснодеревщик, кустарь-одиночка. Он мог сделать или отреставрировать любую мебель – ему было подвластно всё. Дверь его мастерской никогда не закрывалась, был слышен стон рубанка. Лазарь всегда напевал. Текст песни был немногословен, вечен, изо дня в день, из года в год:

*«...Полюбил карьтошьки, карьтошьки немножьки,
Каврядский эсюк.
Полюбил карьтошьки, карьтошьки немножьки,
Каврядский эсюк...»*

Напротив, в глубине двора, жил Лёнька, слесарь-газовщик из нашего ЖЭКа, по кличке «Газ». Много лет спустя, я увидела в городе мужчину.

Он был весь какой-то добротный, напыжившийся. Однако... каков? Ничего общего с тем, двадцатилетней давности, «Газом». Скользнув по мне взглядом, он отвёл глаза. Не узнал? Не захотел узнать? Я не подошла, неловко было... Да и что могла бы сказать: «О! Лёня-Газ, бравший бесконечные трёшки?»

Поднимаюсь дальше по гористой улице. Знакомый винный магазинчик в полуподвале, где некогда была сапожная мастерская. Сапожника звали Изей. Был красив, как Апполон, одевался, как денди. Когда шёл по Крещатику, элегантный и вальяжный, – его сопровождала толпа женщин, думая, что он актёр или, по крайней мере, иностранец.

Как-то, к маме пришла приятельница. Она была взволнована. «Ама, да что же это? – прошептала задыхаясь. – Я зашла в вашу сапожную мастерскую и, вдруг, выходит этот... Помнишь, я о нём рассказывала, который на Омара Шарифа похож? Он снится мне по ночам. А он? Простой сапожник?!»

Мама рассмеялась: «Такой уж простой? Кстати, советую тебе удалить его из снов. У него жена – Фридошка, они живут за углом. Если узнает, что он тебе снится...»

Я не могла понять, как мамина подруга могла сравнить Изю с Омаром Шарифом? Особенно, когда Изя раскрывал рот.

Мне было около шестнадцати, когда занесла в сапожную туфли. Изя знал меня с детства, а тут будто увидел впервые: «Козочка, – окинул меня влажным взглядом, от которого мне стало не по себе. – Зайди в половине седьмого. Я поставлю такие набойки – подружки позавидуют. Не ходить – летать будешь». Я иронично поинтересовалась: «Но ведь мастерская до шести?»

Обувь на следующий день забрала мама. С тех пор, встречая меня на улице, Изя отворачивался.

Напротив винного магазинчика – дом, в котором я родилась. Захожу в каменный колодец двора, нахожу свои окна. Коммунальная квартира, семь семей, более тридцати человек.

В десятиметровой кухне – три плиты, семь крошечных столиков. Даже не столиков – тумбочек. В длинном коридоре туалет, к нему по утрам – очередь, каждый со своим сиденьем. Сейчас понимаю, как это было унижительно, но тогда все были непритязательны, не зная другой жизни. У каждой семьи – своя лампочка в туалете, на кухне, в коридоре...

Как ни странно, жили дружно, хотя все соседи были разного возраста и интеллекта.

Самой старой была баба Харита, с длинным носом, на конце которого всегда висела капля. Своё прозвище «Информбюро» она получила не только за то, что всегда знала, что и где можно было купить, но и мельчайшие подро-

ности о многочисленных жителях нашего дома.

Самыми младшими в квартире были я и Серёжа, мы дружили «с пелёнок». Тётя Вера, его мама, говорила: «О, ця буде мени нэвисточкою». Часто взрослые, подтрунивая, говорили: «Серёга, вона ж погана, нашо вона тобі?» Серёжка огрызался: «Ни, гарна. Вона дуже лоука». Когда мы подросли, Серёжка влюбился в известную киевскую певицу Эльгу Аренс, жившую в бельэтаже, в единственной отдельной квартире дома. Простаивая по ночам на улице, он караулил её возвращения с очередным поклонником. Муж певицы отшучивался перед соседями: «Эльгины кавалеры так и падают, так и падают штабелями. Я едва успеваю их поднимать». Тётя Вера, обливаясь слезами, кричала, что старая б-ь приворожила сына. Вскоре Серёжу забрали в армию, откуда, благополучно отслужив три года, он вернулся с молоденькой женой. Тёти Верины страхи оказались напрасными...

Ностальгия... Где вы, детство, юность, со своими радостями, беззаботностью? Улетучились...

Выше моего парадного, был продовольственный магазинчик, знаменитый на всю округу, своего рода – «Елисейский». «У Перчика», – называл его народ. Магазин – малюсенький, не вмещал более четырёх-пяти покупателей. Но с какой теплотой обслуживал всех единственный продавец, он же директор и бухгалтер, по фамилии Перчик: «Ой, у Перчика сегодня изумительная селёдка. – Или, – Вы слышали, Перчик завёз чудную халву? – Или, – У Перчика – масло вологодское. Везде дают по полкило, а он – сколько хочешь. – Или...» Невозможно припомнить все эти бесконечные «или».

К нему можно было обратиться с любой просьбой: «Товарищ Перчик, войдите в наше положение. Отдаём замуж нашу девочку, а магазины – пусты...» И Перчик доставал, добывал. Маленький, на коротких ножках, лысоватый, доброжелательный...

Над магазинчиком жила моя учительница музыки. Как жаль – мама не сумела преодолеть моё нежелание серьёзно относиться к урокам музыки. Приятели родителей подшучивали надо мной: «Ну-ка, детка, сыграй эту «новую» вещичку – полонез Огинского». И несколько лет я играла «полонез». Сейчас, стоя под окнами, прислушиваюсь. Окна молчат, не звучат гаммы, не слышны этюды Шуберта...

Моя улица заканчивается двумя скверами по обе её стороны. Сквером, где фонтан и сквером, где качели. Оба в зимнее время превращались в снежные горки, заполнявшиеся хохотом детворы и визгом саней.

Упирается Малая Житомирская в печально знаменитый дом по улице

Владимирской, но сохранивший своё старое название, ставшее нарицательным: «Короленко 15». Здесь находится МВД, а прежде было ГПУ, во время войны – гестапо. Ну что ж! На улице, как и в семье – не без урода.

И вдруг – нечаянная радость! Хотя, лукавлю, прекрасно зная, что откроется моему взору. Величественный и неповторимый Софийский Собор. «София», как по-домашнему называли мы его. Здесь прошло детство, здесь гуляли с нами наши няни, сюда мы сбегали из школы. Я люблю «Софию», её золотой мозаикой, выложенной, словно сканью. И снова ощущаю себя школьницей под столетним дубом в этой святой тишине. А «София» всё так же молода и прекрасна, как и тысячу лет назад.

ЯВРЕЙ

Саша не знал матери. Она умерла во время родов. Воспитывала его Серафима – мамина сестра. Саша называл тётю – Симой. Она любила племянника, жалела. Бывало, и сердилась на него, когда он не слушался, капризничал. Сердилась, когда отказывался от приёма лекарств, болея. А ей на работу надо. На стульчике, возле кровати, оставляла два блюдца с таблетками. Не понимавшему ещё в часовых стрелках, объясняла ему, что когда большая будет вот тут, а малая здесь, он должен выпить таблетки из первого блюдца, когда стрелки доберутся вот сюда – из второго, а потом она уже вернётся с работы.

– Не шали, – просила. – Не забудь, если проголодаешься – под моей подушкой закутана в одеяле кастрюлька. Там мясо и пюре. И пей чай из банки.

Оставляла книжки с картинками, выходя из квартиры, говорила:

– К окну не подходи, дует. И не бойся. Поиграешь, поспишь, и я скоро приду.

Он не боялся. Наоборот. Ему было уютно. Он даже любил болеть, особенно, когда на улице зима, снег, а он в постели, ему тепло. В детский сад идти не нужно. Не любил этого. Не было у него там друзей, а взрослые – противные, «то» нельзя, «это». За другими детьми всегда приходили папы и мамы, за ним – Сима. Дети спрашивали:

– Почему за тобой приходит мама? У тебя нет папы?

Саша обижался, не отвечал. Хотя, папа у него был, но Саша его почти не знал. Однажды, когда Саша тяжело болел, пришёл какой-то дядя и на кухне пил с Симой и её подругой чай. После его ухода Сима сказала подруге:

– Какой жлоб! Сыну ничего не принёс. Я позвонила, сказала, что Сашка

болен. Зашёл проведать...Так... Походя... Ему не жаль внимания, если оно ничего не стоит. Говорила я Аллочке, не выходи за него... Просила – не оставляй ребёнка, вытрави... Не послушала меня. Полгода не прошло, как он другую завёл. И оправдание придумал: «Против физиологии не попрётся, – стал просить, – Сима, возьми мальчишку к себе. Зачем ему с мачехой жить?» Кто бы ему Сашку отдал? Хорошо, что мама не дожила. Она бы не вынесла. У неё больное сердце было. У Аллы тоже. Нельзя было ей рожать.

Саша лежал в комнате с температурой, всё слышал из-за неплотно прикрытой двери. Жалел, что не удалось увидеть папу. Но всё понял, ведь Сима говорила, что папы у него нет. Завтра он спросит: «Зачем врала?»

Он часто разглядывал висевшие на стене фотографии в одинаковых рамках. Две тётки – мама и бабушка. Бабушка, пожалуй, нравилась ему больше, она смотрела на него с улыбкой. А мама Алла – хмурая, с длинноватым носом, похожая на Симу. Саша подходил к зеркалу, сравнивая свой нос с маминим. «Какая она была, мама?» – думал он, тоскуя. С Симой мыслями о маме не делился, а о папе спросить забыл. Вниманием тётки обделён не был. У него было много игр, книг, которые Сима читала ему. У Саши была хорошая память, в четыре года сам научился читать.

– Вундеркиндик, – восторгалась Сима. – Вот стукнет шесть – пойдёшь в школу.

– Что это, школа? – спрашивал он.

– А это, как садик, только спать днём не нужно, а ещё там ставят от-метки.

– Не хочу в школу, не хочу. И в сад не пойду больше. Я тебя дома ждать буду.

– Не выдумывай, – взвизгивала Сима. – Не будешь меня слушаться, в ин-тернат сдам.

Саша надувался и в кармане скручивал Симе фигу: «Вот тебе». Заодно и её подружке, когда та поддерживала Симу:

– Сдай его, сдай. Может, хоть тогда замуж выйдешь.

– А... всё равно! – отмахивалась Сима. – Теперь порядочные женщины никому не нужны. Ну, скажи, кого интересует личность? Главное, чтобы ноги от плеч, и родители богатенькие были. У нас – ни того, ни другого. Будем мы с Сашкой век коротать. Да, племяш? – и начинала его обнимать, целовать. – Ты мой единственный, маленький мужчина. И нам никто не нужен. Никто, никто, правда?

Саша ничего не понимал в Симином монологе, вырываясь из объятий.

Однажды, Сима повела его на балет в оперный театр.

– «Жизель» – мой любимый, – объявила она ему.

Саше в театре не понравилось. Темно, ничего не видно, он крутился,

разглядывая всё вокруг.

– Сиди спокойно, – шепнула Сима. – Тебе что, совсем не интересно? Слышишь, какая дивная музыка?

– Сима, а эти тётки на сцене порядочные? – громко спросил Саша. – У них же ноги от плеч растут.

Сима с негодованием прошептала:

– Тихо. Замолчи сейчас же.

После спектакля, когда они вышли из театра, сказала Саше:

– Эх, ты! Я хотела тебе подарок сделать. Такой балет... Ты... бездушный...

Весь в отца.

Тогда Саша вспомнил и закричал:

– А ты врунья, врунья. Есть у меня папа. Я его люблю. Он лучше тебя.

Отведи меня к папе.

Сима оторопела, прижав Сашу к себе:

– Прости меня, прости. Пойдём в кафе.

Она завела его в кафе-кондитерскую. В кошельке оставалась пятёрка до зарплаты: «Дотяну. Гулять, так гулять», – подумала она. Хотелось загладить вину, доставив ему удовольствие.

– Что хочешь, пирожное или мороженое?

– Ещё не определился.

– Ну, определись. Я подожду.

Саша выбрал всё. Три вида пирожных, мороженое и молочный коктейль.

– Какие вкусные, никогда таких не ел. Всё отбивные да котлеты... Мы придём сюда ещё? – спросил он.

– Придём. Я думаю, что раз в неделю, нет, раз в месяц, мы можем себе это позволить, – пообещала Сима.

Однажды Сима купила ему «Конструктор». Сначала ему было интересно. Он собирал разные машины, мосты, но потом надоело, и он вернулся к книгам.

– Ты – будущий мужчина. – Сима попыталась вернуть ему интерес к «Конструктору». – Ты должен развивать в себе технические способности. Хочешь стать инженером, когда вырастешь?

– Не-а, – ответил Саша. – Я кардиналом хочу. Ришелье.

– Что? – изумилась она. – Ты сумасшедший.

Обычно, каждое лето Симе удавалось вывозить Сашу на природу. Один раз по путёвке была с ним в Евпатории. Когда ему исполнилось шесть с половиной лет, Сима решила, что этой осенью он пойдёт в школу. Летнего отпуска у неё не было – она недавно сменила работу. Решила обратиться к Шашину отцу. Когда тот пришёл, Саша его рассмотрел.

– Чо, пацан, растёшь? Молодца! – похвалил отец.

Саша прислушивался к разговору Симы с отцом:

– Я никогда, ни о чём не просила. У меня отпуск в декабре, ребёнка перед школой обязательно оздоровить нужно. Отправь его к своим, в село, – попросила она.

– Сто раз тебе говорил, посёлок, – обиженно заметил он.

– Какая разница? Там – речка, Южный Буг. Дом у них свой, сад. Раз в жизни внука повидать могут? – не отступала она.

– Ладно. Созвонюсь со стариками, – согласился он.

– Только не тяни, август – «на носу», – напомнила Сима.

Через неделю дядя-папа пришёл опять.

– Они согласны. Уболтал. Повезёшь? Я не смогу, – сообщил он.

– И я не смогу. Ничего, он уже взрослый. Посажу его в электричку. Только, пусть встретят на вокзале.

Спустя несколько дней Саша ехал в Винницу. Он был горд собой. От внимания попутчиков, которым поручила его Сима, отказался. Не маленький. Едет к дедушке и бабушке. Там речка и огород – вот здорово. Немного волновался – узнают ли его дедушка с бабушкой? Ещё скучал за Симой, прежде не расставался с нею. Ничего, это ненадолго, всего три недели. Он с интересом смотрел в окно и не заметил, как уснул. Очнулся, когда кто-то тряс его за плечо. Перед ним стоял маленький, полненький, розовощёкий старичок.

– Ну, то ты – Сашко? А я – дид Марьян. Пишлы? Нам ще на автобус поспеть надо.

Направились к автобусной остановке. В автобусе было много людей, жарко. Сашу разморило, он хотел спать.

– Нэ спы, – сказал дед Марьян. – Скоро вжэ Брацлав, нам сходить.

Они вышли из автобуса на площади, где церковь и базарные лотки. Пошли вниз по немощённой улице, по обеим сторонам которой стояли дома, утопающие в садах. Было очень красиво, и воздух напоён ароматом яблок.

– Марьян, перепрошую! Шо, новый дачник? – окликнул кто-то деда.

– Та ни, це онук, – отмахнулся дед. – А от, мы и вдома. Заходь, хлопцець, – и он распахнул перед Сашей калитку в большой красивый двор.

– Миля, Миля! – позвал дед.

Из-за дома вышла женщина с крашеными волосами на бигудях, тоже какая-то розовая, но помоложе деда Марьяна. Дед Марьян подтолкнул к ней Сашу:

– То – баба Миля. Поздоровкайся.

– Здравствуйте, – робко сказал Саша.

– Так. Прыхав? Ну, якої ты, дай подывлюся? Ой, худющый! Яблука хочеш? Вона, в миске антонувка, дуже пахуча... У цьому роци вродила, а в тому

нэ було. Вона через рик на другый яблука дае. Зрозумив?

Саша понял, но яблоко взять постеснялся, хоть хотелось. Баба Миля завела его за дом, где была пристройка.

– Спаты будешь тута, из намы. У доме дачники, пид ногамы у ных не крутыся. В город пиды, паречки нарвы. А то, с дедом йды, скупайся. Уныз по вулицы – ричка.

В это время во двор вошли какие-то люди. «Дачники», – догадался Саша.

– О, Марьян Васильевич, день добрый! Не виделись с утраца. Водичка сегодня, доложу вам, отменная. А как клевало-то, ночью? Успешно? Миличка Миколаевна, у вас осталась рыбка? Продадите к обеду?

– А чого ж не продать? Зосталась ишо, – подтвердила она.

– А это кто? – указывая на Сашу, спросил кто-то.

– Онук прыхав, – ответил дед Марьян.

– Так у вас и внук есть? А в прошлом году внучка с невесткой отдыхали.

– Та це ж од той, од яврейки, – сообщила баба Миля.

– А... – как-то жалостливо протянул один из дачников.

Саша покраснел и, выскочив за калитку, бросился вниз по улице. На берегу было много людей, и на него никто не обратил внимания. «Вот будет тут сидеть и не пойдёт к этой злой бабе Миле. А то, в воду прыгнет, утонет. Назло ей – будет тогда знать. Сима ей все волосы повывдёргивает. Так ей и надо». Увидев подходившего к нему деда Марьяна, Саша хотел вскочить и убежать, но не успел. Дед Марьян, схватив его за руку, усадил рядом на камень.

– Ну чого убёг? Рассерчал? Нэ трэба. Баба Миля тилькы з выду строга. Може, скупнёшься? Чы домой пидэм? С дороги ж прытомывся, та й голодный навжэ?

Саша согласно кивнул. Едва вошли во двор, баба Миля накинулась:

– Ты шо цэ? Я т-те побегаяю! Одвечай потом за нёго. Ты дывыся – ураз до тётки видправлю! Ну-ка, руки мый та пид навес обидать сидай.

Из казанка она разлила дышащий паром, словно живой, ярко-бордовый борщ с кусками мяса:

– Йиж, йиж. Та хлиб чесноком потры! Не вмеешь? Вона як, дывыся! Укусно? Ото ж! Чым тебе тая Сима тилькы кормыть, шо ты такой худующий, га?

– Ну, чого? Чого до парня привъязалася? – огрызнулся дед Марьян.

– А тэбэ не спытала, старый! И усё отым очкатым явреям треба знаты. Кто, да шо, да звидкыля. Ото, не пуш-шу йих на следушый рик, нэхай у других сымають. А то, усё йим – тута. И рыбки йим продай, з города усё брать дозволяю. Не пуш-шу бильше.

– Шо ты до тых явреев прычипылася? Шо вони тоби зробылы? Ты йиж, йиж. – подмигнул дед Марьян Саше. – Слухай но! Виддыхнёшь трошкы, а як

солнцэ зайдэ, то на рыбалку зи мною, згода?

День был тёплый. Чистый. После обеда баба Миля постелила Саше постель и велела немного отдохнуть. Саша опасался, что проспит рыбалку, но дед Марьян разбудил его, как и обещал:

– Айда?

– Айда, – согласился Саша.

– Ты, того, – сказал дед Марьян, – вденься добрэ, бо на речке в ночи холодае.

Взяв удочки, банку с червячками и немного яблок – пошли к реке. Справа от пляжа, где Саша побывал днём, был лодочный причал. Там у деда Марьяна была лодка. Он долго грёб и остановил лодку посреди реки, сбросив грузило. «Южный Буг – большой, широкий, не речка, – большая река», – подумал Саша. Ему было интересно, как клюёт, и он радовался каждой пойманной рыбке. Потом заскучал, у него начали слипаться глаза.

– Ты, давай! Лягай. – сказал дед Марьян. – Тилькы телогрейку кынь на ноги. Спы, спы.

Разбудил его дед, когда светало, и лодка уже стояла у берега.

– Бачыш, скількы мы из тобою наловылы? Ото – карасики, а це з вусамы – то сом. А ци – мелочёвка, плотва. Ну, пишлы. А то твоя баба Миля нас заругае. А як поспыш, поснидаем, то в лис сходимо – орехов наберём, лещины. Ты любыш лещину?

– Дед Марьян, а что это, яврей? – спросил Саша.

Удивлённо посмотрев на Сашу, дед сказал:

– Ну, то нация така.

– А что это, нация?

– Ну, дывыся! Я од, к примеру – поляк. А баба Миля – украинка. А маты твоя яврейкой була.

– Яврей, это плохо? – тихо переспросил Саша.

– Ни, нэ дуже. Чому пагано? Алэ й не дуже добрэ. А ты запамьятав, так? Не серчай. Баба Миля, вона на язык гострая. А так – то не. Не росстроюйся: ты ж не зовсим яврей. Ты – ще трошечки поляк, трошечки украинэць. Так що, усё – гаразд.

Саша вздохнул:

– Дед Марьян, а сколько мне ночей ещё тут спать, как я домой поеду?

– Заскучав вже?! Быстро. Ну, пишлы до дому...

Когда они вошли во двор, в доме и пристройке было тихо. Только в огороде пел сверчок.

Проснувшись около полудня, Саша записал на листочке:

«Один» день в деревне. «Ничего особенного. А дед Марьян хороший. Лучше, чем папа». Выйдя во двор, прошмыгнул мимо бабы Мили.

- Стий! Куды? – окликнула она.
- На речку, – глядя исподлобья, ответил Саша.
- Добрэ. Скупныся, и шоб одразу назад.
- Подбежав к реке, Саша сразу прыгнул в воду.
- Ох... Хорошо.

– Мальчик, мальчик! Что ты разбрызгался? Где твоя мама? Не заплывай, там глубоко, – сказала какая-то тётя.

Немного в стороне, в воде резвились мальчишки, его не позвали. «Ну и не надо. Зато он с дедом Марьяном за орехами в лес пойдет», – думал Саша.

В лесу было душно. Они набрали много лещины и шиповника. А шиповник был колюч, и Саша исцарапал руки.

– То не страшно, – говорил ему дед Марьян. – Вин дуже пользительный. Заварымо тоби кружку. За-пах... И косточки твои уси разправляться. Дуже сыльным будэш та вельким.

Вечером снова отправились на рыбалку. В эту ночь Саша уже не спал.

Дед доверил ему удочку, и Саша не отрывал от неё глаз. Дед Марьян учил:

- Трымай йии нижно, одном пальцем, нэ надавлюй.

Говорили шёпотом: «Шоб рыбка не спугалася». Под утро ведро опять было полным.

Каждый день баба Миля жарила или тушила рыбу, которую Саша любил. Он стал отличать вкус одной от другой, но больше всего нравились сладкие, хрустящие карасики, которых он сам ловил. Три недели незаметно пролетели, и к концу отдыха Саша перестал считать дни. За это время он и дед Марьян привязались друг к другу. Уезжать уже совсем не хотелось, но дома ждали Сима и школа.

– Прыйдеш на той рик, чы не? Чы, може, баба Миля тоби не вгодыла? – донимала она, прощаясь.

- Приеду, – буркнул он.

– Ото й добре. Та нехай твоя Сима прыйизжае. Кажи, баба Миля прыгласала.

Когда дед Марьян посадил его в электричку, то крепко обнял:

– Ото тута яблучков на дорогу та пырожкы из вышнямы – баба Миля напэкла. Ты нэ думай, вона до тэбэ дуже по-доброму. Тилькы з выду строгая. Прыйдеш?

- Приеду. И вы, дедушка, приезжайте. Я буду скучать за вами.

- Прыйиду, сынок, прыйиду. Он поцеловал Сашу и вышел из вагона.

Когда электричка тронулась, дед Марьян замахал рукой, и Саша ещё долго видел его широкополый брыль.

- Сашка! Ох, и вырос! И загорел как! – расцеловала его Сима, когда он

вышел из вагона. – Я костюм тебе для школы купила, вдруг мал будет?

Дома, у окна стоял новый письменный стол, на нём школьные принадлежности. Саша не подошёл к нему. Не стал примерять и школьный костюм. Он стоял у фотографии матери, пристально вглядываясь в её лицо.

– Сашка, мой руки! Сейчас обедать будем, – крикнула из кухни Сима.

– Она яврейка? – тихо спросил он.

– Что? – не расслышала Сима.

– Она яврейка, яврейка? – громко повторил он вопрос.

Сима остановилась на пороге, ошеломлённая вопросом.

– Она яврейка. Ты тоже яврейка. И ты хотела, чтобы она меня отравила, – закричал он.

– Что ты несёшь? – побледнела Сима.

– Я всё слышал. Ты... Ты говорила, чтоб она меня вытравила. И я не буду носить очки. Поняла? Никогда. Я не настоящий яврей. Я ещё немного поляк, немного украинец. Поняла?

Он заплакал. Сима обняла его и тоже заплакала:

– Сашенька, родной! Прости. Ну, что ты такое говоришь? Твоя мама была хорошая, очень хорошая. И тебя любила. А я... Я не знала тогда, что ты такой у нас вырастешь.

– Какой? – сквозь слёзы, всхлипывал Саша.

– Вот такой... Замечательный, умный мальчик. Будущий кардинал Ришелье.

ПАЛЬТО МОЁ ДЫРЯВО

На свой день рождения Давид заказал Люсе голубцы. Произносил это слово с ударением на «о», как говорили в Радомышле – местечке, где он родился. Не разгибаясь, стараясь не разбудить Этью, шаркает на кухню. Старость и подагра мешают отрывать ноги от пола. Кивнув большому kazanу на столе, ожидающему голубцов, наклоняется за помойным ведром. Выносить ведро каждое утро в уборную его обязанность. Сколько раз Люся просила: «Папа, я сама». «Но у девочки и так столько забот. Работать, присматривать за ним и Этей, «держат» дом. Девочке скоро сорок. Да, внуков она вероятно не подарит. Для него дочь – красавица, а вот Этя упрекает, что это он испортил их девочке жизнь, что Люся вся в него, с таким же длинным носом до подбородка и лошадиными зубами. Какие разные дети. Лёнчик – красавец, с волнистыми волосами, весь в Этью, а Люся...»

Героически преодолевая спуск по деревянной лестнице в девять ступенек, Давид выходит во двор и щурится от тёплого осеннего солнца. «Им ещё

повезло, что окна выходят на Константиновскую, а уборная в глубине двора. Пани Гражине повезло меньше, её окно упирается в уборную. Может быть, поэтому она не любит евреев? А двор – хорош. Чернобривцы, кустарник. Самодельные качели. Как у них, в Радомышле. Можно вообразить, что это и не Киев, не Подол. Чем Киев ему не угодил? Что плохо? Тоже хорошо!»

Давид идёт медленно, стараясь не расплескать содержимое ведра – результат ночной нужды. «Особенно осторожным нужно быть, минуя окна пани Гражины, не пролить ни одной капли.

А то... Лучше не думать... Строит из себя невесть что... Ни с кем во дворе не здороваются. Кто виноват, что родилась в Лодзи, а жизнь забросила на Подол? Значит, так было суждено. А уборная чистая. Наверное, как на Крещатике». Осторожно вылив содержимое, он закрывает дверь на крючок и спускает брюки. Как-то забыл запереть, так пани Гражина застала его в самый неподходящий момент.

Обратный путь легче. Ведро лёгкое, да и утреннюю нужду, пока двор спит, он справил. Подойдя к парадному их двухэтажного деревянного дома, видит дочь, входящую сквозь арку во двор. Он радуется, что опять перехитрил её, вынеся помойное ведро. Люся нагружена тяжёлыми авоськами, самодельной разбухшей торбой. Он поднимается вслед за ней в квартиру. «Слава Богу, что у него такая дочка. Не Люся, а ураган. А Лёнчик! Это ж надо, финансист. И большой начальник. Откуда у него, Давида, такой ребёнок? Самый красивый, самый удачный. Спасибо, Господи!»

Давид заглянул в растопыренную торбу:

– Что сегодня картошка?

– По двадцать пять копеек. Зато посмотри, розовая, одна в одну. Настоящая «Беллароза» или «Розалинд». Сорта похожи, не различишь. Зачем нам гниль из магазина по девять? Сами пусть кушают такую.

Люся берёт чистые вёдра:

– Принесу воды.

– Зачем два? Тяжело.

Она отмахивается и бежит к колонке во двор.

Вынимая продукты, Давид аккуратно складывает их на столе. Возвращается Люся с двумя, наполненными доверху, вёдрами:

– Когда уже подойдёт эта сволочная очередь? Сил больше нет. Хоть в Тму-таракань, но чтоб с уборной и водой.

– Ты, что? Взяла свинину? – бурчит Давид.

– Папа! Какие голубцы с одной говядиной? Можно подумать мы кошера придерживаемся.

– Очень плохо, что не придерживаемся.

– Новости! Вспомни, что ты ел в своей столовке на заводе? Тебе кошер

подавали? Папа, ты занял весь стол. Надо позавтракать. Мама сейчас встает.

Люсины движения быстры, проворны. Чистюля. Может быть, сказывается её работа? Она – диетсестра молочной кухни. Быстро промыв гречку, ставит её на огонь:

– Базар сегодня, папа! Глаза разбегаются. Всё хотелось бы взять. Но не дотащить. Хоть раз в жизни Лёнька мог помочь?

– Он же работает, – защищает сына Давид.

– А я не работаю? Суббота же. Лишь бы он вас целует... А как помочь по хозяйству...

– Он помогает. Вот, когда маме надо было в больницу, устроил в свою, в ведомственную...

– Я не про это. Завтра придут все на обед. Четыре человека. Плюс – Лёнькины тещи с тещей. Appetit у всех – дай, Бог! Я не упрекаю, но всё на одни мои руки.

– Тебе не стыдно так о брате?

– Не стыдно. Мог бы иногда позаботиться и о сестре. Здравствуй, мама!

– Доброе утро, Этя! – оглянулся Давид.

– Что ты тут болтала о Йоне? Тебе бы поучиться у него, – перебила она мужа.

– Начинаются нравоучения. Вы забыли, что я уже большая девочка... Вот выйду замуж...

– Выйди сначала...

– Да ну вас, – обижается Люся и отворачивается к плите. – Для меня не новость, что Лёнька ваш любимчик. Каша готова. Приятного аппетита.

Давид искусственно подкашливает, желая прекратить спор, прикладывает палец к губам. Но жена словно не замечает этого:

– Я не хочу слышать от тебя ни одного дурного слова о брате. Такой Йоня! Золото, а не сын.

Набросив на ночную рубашку халат, Этя Осиповна направляется во двор. Люся смотрит вслед матери:

– Совсем перестала за собой следить. Прямо в халате... Не расчесалась даже. И прохладно уже.

Давид горестно вздыхает:

– Выходной, все ещё спят. Не сердись на мать. Мы уже старые, больные.

– Но ты же не выходишь на люди в кальсонах.

– Так я ещё, о-го-го! – смеётся Давид, пытаясь развеселить дочь. – Я ещё могу и приударить за какой-нибудь старушенцией.

– Приударь за Гражиной. А, что? Может, она подобрет.

– Думаешь? Не... У неё роман с этим бендерой, Зиновием, – не уловив

шутки, он отмахнулся от дочери.

Сквозь неприкрытую дверь Люся видит, как Этя Осиповна поднимается по лестнице. И хоть обида ещё не отступила, говорит вернувшейся матери:

– Завтракай. Мне нужен стол.

– А ты сделай нормальное выражение лица, а то аппетит пропадает.

После завтрака Давид уходит в комнату, а Этя Осиповна, отодвинув тарелку с недоеденной кашей, обращается к Люсе:

– Я буду помогать.

Люся молчит, вернее, заставляет себя промолчать. Не хочется напоминать, что от такой помощи ещё больше прибавится работы. Покой в семье важнее.

– Кто будет завтра?

– А ты не знаешь? Твой сын. Внуки. Невестка. Её родители. Они – достойные люди, но где всех посадить?

– Но раньше помещались.

– Да. Потому, что мне никогда нет места. Всегда стою, бегаю, обслуживаю. Я же здесь не гость. И за повара. И за официантку.

– Что ты вечно всем недовольна?

– Это ты недовольна, что бы я ни сделала. И покупаю не то. И готовлю не так.

Этя Осиповна, понимая правоту дочери, всё же хочет последнее слово оставить за собой:

– Ты не забыла? Надо убрать. И бельё сменить.

– Уберу завтра, с утра. Бельё ещё чистое. Неделию назад поменяла. Они же не будут под покрывало заглядывать.

– Надо сменить, я сказала. Не свежее...

– Мама, с тобой спорить... – себе дороже. Если хочешь, очисти лук. Много.

– Ты же знаешь, у меня глаза больные.

– Так, иди отдыхать! Сама всё успею. Сегодня, главное – голубцы. Папа хочет. И пироги ещё спечь. Тесто на подоконнике уже «вздыхает» и «переговаривается» с фиалками.

– Твой папа всегда хочет, что посложней.

– Ничего. Мне не трудно. Цветы полью и начну.

Выглянув в окно, Люся увидела Гену, Лёнькиного сына:

– Генка идёт. Что-то несёт.

– Кто идёт?

– Генка, твой внук. Мама, плохо слышишь? Надо сходить к ЛОРу.

– Геночка! – расцеловала Люся племянника. – Ты голоден?

– Уже завтракал. Привет, ба. Где Давид?

- В комнате. Что ты принёс?
 - Деликатесы. Мама прислала на завтра.
 - Лучше бы твоя мама что-нибудь приготовила, – ворчит Люся.
 - Не надо ничего готовить. Тут и балык, и колбаса советская.
 - Вот ещё, «не готовить». Скажешь тоже. Иди, поздоровайся с дедушкой.
- Поцеловав Давида, Гена умчался. Этя Осиповна, расстроившись, заморгала:

- Всё у них на бегу. Вечно им некогда.
- Ну что ты хочешь, Этя? – Давид, как всегда на стороне детей, внуков. – Чтоб он сидел и выслушивал наши жалобы? Скажи спасибо, если он завтра придёт.
- Так, родители! Или в комнату, или во двор. Вы мешаете. У меня много работы.
- Мы всем мешаем, Этя. Иди, приляг. А я посижу во дворе, покурю.
- Па, надеюсь про «покурю»... ты пошутил?
- Конечно. Это я так, для форсу.

Давид набросил на плечи пальто и вышел из квартиры. Спустившись во двор, сел под окном их кухни, чтобы дочь его не видела: «Сделать бы одну-две затяжки, или просто подержать папиросу во рту. – Сунув руку в карман, не нашёл ни «Беломора», ни спичек. Обнаружил только большую дыру в подкладке. – Ещё весной просил Люсю зашить. Забыла. И он забыл. –

Сквозь приоткрытое окно он слышал, как она «шурует» на кухне. Представил её пухлые пальчики, точно булочки, посыпанные корицей. Слышал, как проворно ворочает она чугунную сковороду, проворачивает ручку мясорубки, раскатывает тесто, присыпая его мукой, чтоб не приставало к рукам. – Счастье! Что ещё нужно для счастья? – Двор постепенно просыпался, заполняя разноголосьем пространство. Согреваемый последним осенним теплом, Давид радовался жизни.

Запрокинув голову, считал окна во дворе, хотя давно знал, сколько их. – Завтра ему – восемьдесят. – Он вспоминал, как они с Этей бежали из Радомышля. – Правда, тогда вечерело. И солнце уже садилось. За рекой, на другом берегу, за церковью. Они с Этей были из разных, враждующих кланов. Радомышленские Монтеки и Капулетти. Их хотели разлучить. Мысль о побеге возникла спонтанно. И они вышли в «открытую дверь». Да, всю жизнь она ворчит на его длинный нос, лошадиные зубы. Но всегда была и остаётся для него тем островком, который не прогибается, на который он может опереться. Даже больше, чем на детей. Что, плохо? Ничуть».

В глубине двора жалобно поскрипывали качели, шелестел кустарник.

ДУША

Сестре

Её душа зависла над Иудейской пустыней. Витая над Землёй Обетованной, она видела, как самолёты летают туда-сюда. Ей уже не нужен самолёт, чтобы долетев до Синая, снова возвратиться в Иерусалим, залететь в свой дом, присесть на комод. Дождаться, когда проснутся внуки и съедят свежую клубнику.

В последнее время, когда Душа ещё обитала в своём теле, ей снились покойники. Говорили – к долгой жизни. Не получилось. Да, и не хотелось... Душа стремилась поскорей к мужу, который оставил её десять лет назад... Но сама мысль: «Оторваться от детей» была ещё невыносимей. Она привыкла «держатъ руку на пульсе»...

Когда спрашивали, нравится ли ей в Израиле, мотала головой: «Что тут может нравиться? Здесь остались те, которым не к кому и некуда возвращаться». Вспомнила, как привезли её к Мёртвому морю: «Зачем столько соли? Разве мало её в душе?»

В супермаркетах с недоверием смотрела на продукты с чужим вкусом, приюхивалась к чужим запахам. Консерватор. Любила только то, что сопровождало в прежней жизни. Здесь не любила ничего, кроме мужа, детей, внуков: «Хвала Богу! Внуками не обидел. К сожалению, все – мальчики. Кто-то отслужил в армии, кто-то – служит. Им тут нравится. Они – дома».

Покой у неё был, вот только радости – не было. Каждый год она вычёркивала из записной книжки телефонные номера, теперь кто-то вычеркнет её номер из своей. Раньше нужно было крутить диск телефона, теперь нажимать на кнопки. Бесконечные: «Как дела? Как жизнь?» Сейчас она могла бы рассказать, что не так уж всё страшно. А тогда: «Ой, я тебя умоляю! Хорошая медицина? Только бы резать».

Встрепенулась Душа, полетела дальше. Туда, где когда-то был настоящий дом. Трамвайную линию заменили маршруткой. Но в доме всё по-старому. Промелькнуло перед глазами прошлое. Дети, больные ушки, участковый врач, рецепт лечения свой, собственный: компресс из муки, мёда, подсолнечного масла. На ночь. За две ночи от воспаления не оставалось следа.

Конечно, напрягали бесконечные «Достать». Теперь лучше? Всего столько, что невозможно сделать выбор, остановиться на чём-либо конкретном...

Тогда... Тогда «гнездо» разрасталось, становилось тесным, «птенцы» грызались, хлопали дверьми, уходили, но всегда возвращались...

Потом – возникшие «Свободы», враждебные лица, которых становилось всё больше. Думалось: «Что-то ещё можно изменить...» Разъезжались друзья. Потянулись дети. Разлука с ними оказалась невыносимой. И они с мужем

двинулись вдогонку.

Ему нравилось здесь жить, гордился выращиваемым им виноградом. Он наслаждался невыносимой жарой, этим палящим солнцем, которое убило его.

Гордился он и своими детьми. «Состоялись». Можно было сказать и так. Они стали другими, насмешливыми. Теперь всё знают лучше. Все – за одним столом. Потом стол нужно было раздвигать – рождались новые внуки. Одна за другой следовали «Брит-Милы»¹, «Бар/Бат-мицвы»²...

Сейчас одно место за столом освободилось. Наступила тишина...

А на их улице продолжает звучать музыка, все танцуют и поют «Хава нагилу»³. Кто-то воздевает руки к небесам, выкрикивая что-то невнятное. И даже сюда, к облакам, доносится аромат соли Мёртвого моря, которое она так и не сумела полюбить. Аромат щекочет ей нёбо. А мимо летит самолёт. Кто-то, сидя у окна, горюет или радуется, то ли от великой скорби, то ли от великой радости.

- 1 *«Брит-Мила – Иудейский обряд: хирургическая операция обрезания в иудаизме. Символ завета между Богом и народом.*
- 2 *«Бар/Бат-мицва» – Иудейский обряд: «Сын/Дочь заповеди» при достижении мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия.*
- 3 *«Хава Нагила» – еврейская песня «Давайте радоваться».*

РИВКА

Все звали её Ривкой. Но в паспорте, чёрным по бледно-серому было выведено: «Ривалюция Хаимовна». Именно так: через «и» и «а». Вполне объяснимо, что она не испытывала к родителям особой благодарности за данное ей при рождении имя, вызывавшее если не смех окружающих, то их ироничную улыбку. Даже во дворе дразнили: «Вон идёт Великая Октябрьская...» Справедливости ради, – маминой вины в том не было, но и ей Ривка не прощала своего имени, хотя матери уже десять лет не было. Имя придумал отец – коммунист, участник Финской и Отечественной войн, которому было около семидесяти, но вполне можно было дать все восемьдесят пять. На стене висела пожелтевшая фотография маленького человечка в косоворотке и фуражке, из-под которой торчал залихватский казацкий чуб, а на плече красовалась винтовка.

Хаим, а по судьбе он был именно Хаимом, всегда пытался жить жизнью «Ивана» и, несмотря на происхождение, считал себя исконно русским человеком. Вечерами, в будни и в выходные, – обязательная стопочка

самогонки к ужину и монологи, бесконечные монологи о войне:

– Когда в феврале 40-го после двух месяцев боёв мы, наконец, прорвали «Линию Маннергейма»... А под Курском? Мы преподали этим фашистюгам в 43-м достойный «урок»... Устроили им настоящий «Ад»...

Выпив, он наворачивал по комнате круги, порой, давясь слезами то ли от выпитого, то ли от воспоминаний. Хаим не признавал национальных блюд, заставляя покойную жену, а теперь и дочь, жарить картошку с салом, варить щи-борщи да каши из перловки.

Он был портным, мужским портным. Добротная еврейская специальность. Портными были и его отец, и его дед, шившие только брюки. Хаим пошёл дальше: шил вполне приличные мужские костюмы-тройки и корсеты для полных дам. Он пытался приобщить к шитью и Ривку. Но дочь ненавидела кройку и шитьё и, проявив характер, после окончания училища устроилась бухгалтером в ЖЭК.

Когда это стало возможным, Ривка изменила в паспорте «Ривалюцию» на «Ривву», за что отец очень обиделся на неё. Почему обиделся? Ведь вскоре и сам, когда жизнь, не вполне справедливая, заставила и его приспособляться, из «Хаима» превратился в «Ефима». Грустно... А что делать? Так Ривалюция Хаимовна стала Риввой Ефимовной. Ну, что же? Вполне «съедобно»...

Ей было уже за сорок, и её улыбка поблескивала металлом. Замуж так и не вышла. Куда бы она могла привести мужа? В коммуналку, в двенадцатиметровую комнату, где и на столе, и на серванте, и на диване были разложены выкройки брюк, рукавов и полочек? Тем не менее, даже сейчас, дочь портного производила впечатление на некоторых пожилых мужчин. У неё был низкий грудной голос, придававший ей некоторое очарование. Не лишена была юмора и самоиронии, но комочки пудры уже утопали в образовавшихся складках шеи.

В пыльном кабинете ЖЭКа, сидя перед очередным, настроженным посетителем, Ривка закурила, просматривая квитанции его коммунальных платежей: живёт один, тоже в коммуналке на соседней улице. За сигаретным дымом она прятала свою неуверенность перед посетителем, вышиванка которого всё время отвлекала её внимание на себя.

Она научилась варить щи-борщи... Находила общий язык с цифрами, без конца проворачивая ручку счётной машинки... Но мужчины?

Когда их взгляды встретились, она первой отвела глаза. И тоска, которую она ощутила и попыталась убить в своей душе, вновь вернула к жизни, лишив покоя. Ей вдруг представилась какая-то другая жизнь. Она придвинула к посетителю пепельницу и предложила сигарету:

- Курите.
- Спасибо, дамочка! У меня имеются свои.

Вечером того дня, подавляя странное волнение и дрожь в пальцах, она переступила порог его холостяцкой комнаты. В коридор выплёскивались запахи мясной похлебки, спиртовые пары и раскаты соседского хохота.

Поужинали. Скучно, молча, с выпивкой. В разжатые зубы вливалась стопка, и еще, и ещё... На его шее задвигался острый кадык, и губы вплотную прижались к её губам, обдавая перегаром. Кровать со вздохом прогнулась под двумя телами. К этим вздохам периодически присоединялся голос кукушки, каждые пятнадцать минут выскакивавшей из настенных часов. Потом – негромкий храп с присвистом. Ривка удивлённо примеряла на себя эту новую, чужую жизнь. Ночная любовь показалась ей жёсткой, почти невыносимой. Но, в какой-то момент она ощутила, что даже счастлива. Боясь спугнуть это внезапное счастье, до утра не сомкнула глаз. Хотя, вероятно оттого, что за стеной гундосил чей-то пьяный голос и раздавался женский плач...

Утром Ривка вышла на кухню, нашла чайник, который едва-едва наполнялся под тоненькой струйкой воды. Вошёл кто-то из соседей, кивнул, не удивившись чужому лицу. От стеснения у неё задрожали руки, она едва зажгла под чайником огонь. Вдруг вспомнила об отце, о котором совсем позабыла со вчерашнего вечера. Ни с кем не простившись, помчалась домой. Отца не было. Ей сказали, что всю ночь он искал её, бегая по улицам, Нашла его в местном отделении милиции. Захлёбываясь от слёз, он бросился к ней с объятиями, которые быстро сменились кулаками. За долгие годы Ривка научилась «держаться» удары судьбы, вовремя уворачиваться от жизненных подножек. Но тут увернуться не успела, пообещав отцу, что больше никогда не исчезнет и не бросит его.

Своего случайного мужчину Ривка больше не видела. Куда девался, не знала. Да, и Бог с ним...

После этого случая она как-то сразу постарела. Внешне в её жизни ничего не изменилось. На работе – счётная машинка, сметы, ведомости... Дома – стареющий отец, не изменявший своим вкусам и привычкам. Деваться было некуда, надо было просто жить... Соприкасаясь с отцом, душой она оставалась где-то далеко... В полуха слушала его нескончаемые воспоминания, которые он извлекал из своей дряхлеющей памяти. Каждый день всё повторялось, «возвращаясь на круги своя». Она с трудом дожидалась момента, когда он, наконец, засыпал. Потом подолгу сидела в темноте у окна. Ей грезились танцплощадка, танцующие девушки и среди них она, Ривка...

Она размышляла о некоей таинственной Книге, которую никто никогда не видел, но в которой всё про всех написано. Конечно, в ней было и её имя... И, наверное, не «Ривалюция».

Ривка давилась от слёз. Давилась от горького смеха, застревавшего в груди. За окном продолжалась жизнь. А, может быть, просто иллюзия жизни...

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

Из подворотни вышел пан Зиновий. Все называли его паном, оттого, что родом он был из Западной Украины. Он взглянул на часы и открыл большой зонт – моросил дождь.

Спустя несколько минут из той же подворотни вынырнула пани Гражина.

– Как видите, я пунктуальна. Не опоздаем? – тревожилась она.

– Нет. Времени предостаточно. Если бы не дождик, перед фильмой можно было бы прогуляться, а так – придётся довольствоваться фойе.

Осторожно переступая через лужи, они пошли по длинной Константиновской в сторону кинотеатра.

– Так мы действительно идём на Феллини? Фантастика! Какой гений! А каков мужчина! Не понимаю, что он нашёл в этой Мазине? Вокруг него столько красавиц. София Лорэн, Анита Экберг, масса других...

– Гражина, милая! Как говорят: «О вкусах не спорят». К тому же, Мазина гениальная актриса. Не согласны?

– Я её не люблю. Пользуется тем, что муж – режиссёр.

– Я уже сказал: «О вкусах не спорят». Из-за того, что кто-то её не любит, она не менее гениальна. Мы идём на «Сладкую жизнь». Кстати, в этом фильме Мазины нет, но есть Анита Экберг. Удовлетворены?

– Спасибо, вам, дорогой! Какое счастье увидеть эту сладкую жизнь, вдохнуть глоток свежего воздуха и, наконец, хотя бы на несколько часов абстрагироваться от этого удушающего еврейского окружения. Эти запахи... Фаршированной рыбы, фаршированной шейки... Матка Боска! Великая Польша, моя несчастная, загубленная страна... Шопен... Мицкевич... Таких больше нет. Угораздило же! Как несправедливо оказаться в этой глуши, на Подоле, а не где-нибудь на юге Франции, где море и сплошные французы.

– Не преувеличивайте... Запахи во дворе вполне приемлемые, – возразил пан Зиновий. – Неужели в Лодзи, где вы родились, не было евреев?

– Были, конечно... Но во время войны их всех... Ах, эти фашисты настоящие изверги.

– Так вам жаль погибших?

– Жаль? Безусловно, жаль. Но, это же совсем другое... Когда в одном дворе такая концентрация одной национальности – становится невыносимо. Всё же, мы – на Украине! Хотя и украинцы – грязные свиньи. Мало, мало в прошлом били их наши предки. И язык наш они исковеркали, присвоили себе... И земли наши тоже...

– Вы забываете, пани, что это не они к нам пожаловали, а мы – к ним. Почему же вы оказались здесь, а не во Франции?

– Я же рассказывала. Отец был в Сопротивлении... Когда его забрали в гестапо, я бежала...

На запад было нельзя – везде были немцы. Пришлось – на Восток... А вы, пан Зиновий? Как оказались на этой помойке? Вы такой скрытный, никогда не рассказывали о себе. Мне кажется, что Западная Украина, всё же, намного цивилизованней этой, Восточной...

Блеснув стёклами очков, пан Зиновий внимательно посмотрел на спутницу:

– Признаюсь вам, пани. Я, знаете ли, еврей. Уехал из родного дома, пережив ужасную драму. Не мог оставаться там, где бендеры уничтожили всю мою семью.

– Вы, еврей? – глаза пани Гражины расширились от ужаса, который быстро сменился жалостью, а затем недоверием. Она рассмеялась:

– Наговариваете на себя? Разыгрываете? Или испытываете меня?

– Нисколько.

– Но, этого быть не может. Зиновий Варшавский – еврей?

– Представьте себе.

– Это просто невозможно.

– Отчего же?

– Вы совсем не похожи на еврея.

– Серьёзно? А на кого же я похож?

– Вы похожи на нормального, интеллигентного человека. Правда, природа иногда допускает сбой – и в любой нации возможно исключение.

– Пани! Вы, видимо, – истинная польская аристократка. Думаю, вам не пристало якшаться с евреем. От них всегда пахнет фаршированной рыбой.

– Пан Зиновий! Но, я же совсем не это имела в виду...

– Нет. Именно, это. А я откровенно презираю антисемитизм. Дикость и атавизм! Вы антисемитка, пани! Обещаю, при встрече во дворе не прекращу раскланиваться с вами. Но, «Сладкая жизнь» – не для нас.

Протянув ей билеты, пан Зиновий приподнял шляпу и направился к Красной Площади.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, НО КОНЧИТСЯ ПЕЧАЛЬНО

Когда наступали тяжёлые дни и в магазинах города исчезали мука и сахар, куда все мчались? Да, конечно, к товарищу Перчику. И видит Бог, он всегда готов был поделиться последним.

Перчик – продавец, бухгалтер и директор в своём маленьком продовольственном магазинчике, который во всей округе именовали: «У Перчика».

Его любили, но это не мешало евреям Малой Житомирской шушукаться, что он – выкрест.

Пронёсся слух, что в воскресенье кто-то видел Перчика на Подоле, в церкви. Значит, он уважает «Отче наш...» больше, чем «Кол нидрей...»¹, только раз в год читаемую в синагоге, в начале вечерней службы «Йом Кипур»². А кто этот «кто-то», который видел? Стало быть, и он?

Перчик не был женат. И очень многие женщины хотели бы его «осчастливить», предлагая себя в жёны. Им было всё равно, какой молитве он отдавал предпочтение. Но у Перчика уже были «дамы сердца». Две. И обе – не еврейки! И вот этого ему уже не прощали женщины Малой Житомирской, особенно другой национальной принадлежности. Потому что, сделав свой выбор, он лишал их призрачной возможности, пусть не сейчас, а когда-нибудь, уехать из этой страны, в которой каждый – «друг, товарищ и брат» всем остальным.

На самом деле, Перчик не собирался никуда уезжать. Он не хотел проводов в аэропорту. Даже думать об этом было страшно. Его не интересовали разные политические партии, вполне достаточно было одной – КПСС. Не интересовали банки. Хватало и Сберкасы. Что ещё? Да мало ли? Не нужны были ни Средиземноморье, где до Земли Обетованной рукой подать, ни Бродвей. Ему хотелось дышать киевским воздухом, ещё не отравленным Чернобылем. По выходным – ездить в Пущу Водицу или на Днепр. Не страдая пока от депрессии, он не нуждался в помощи «тамошних» эскулапов, которые уже умели её лечить. Перчик мечтал, чтобы в его взаимоотношениях с людьми любой национальной принадлежности всё было, как «на чистом сливочном масле». Да... Так хотела его душа. Предвкушая, что впереди его ожидает только хорошее, он не подозревал, что кончится всё печально.

1 «Кол Нидрей» – еврейская молитва.

2 «Йом Кипур» – день поминовения в иудаизме.

МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Куриные перья, подхваченные ветерком, веселой стайкой взлетали, и мягко опускались на кусты, кружась и играя. У деревянного моста, спрятавшись в высокой траве, худощавый мальчишка с игривым чубчиком, напевая популярную песенку «Чико-Чико», ловко и быстро обдирал двух зарезанных кур, в каждом перышке ему мерещилась десятикопеечная монета. Он зарабатывал деньги собственным трудом, твердо усвоив, что деньги не пахнут.

В его городке жители придерживались строгого предписания Торы – не выпускать кровь из птицы собственноручно, предоставляя эту работу шойхету. Тот резал кур, и выдавал их клиентам чисто ощипанными. Единственным мастером этого действия был старик Теплицкий. На это он получил специальное разрешение раввина. В базарные дни у его рабочего сарайчика выстраивалась очередь. Теплицкий подвешивал связанных за ноги кур на крюки. Птицы, находясь в таком неудобном положении, бились, размахивали крыльями и, видимо, предчувствуя близкую кончину, хором громко кудахтали. Шойхет, зажав курицу между ног, ловко запрокидывал её голову к её спине, вырывал щепотку перьев на горле и мгновенно лишал жизни сапожным ножом. Ошпарив птицу кипятком, он очищал её от перьев. Гладкая, как новорождённый младенец, тушка возвращалась на свой крюк. Работал Теплицкий вдохновенно, со страстью, бормоча молитву, отбивая такт ногою. После очередной жертвы, он тщательно вытряхивал из носа и бороды застрявший там пух.

Веня, так звали нашего героя, – единственный сын маленькой круглицей женщины, модистки, зарабатывающей свой хлеб работой на дому у заказчиков. Нарядные платья, которые она шила из крепдешина и креп-жоржета, не отличались изысканным фасоном. Порой, не находя в клиентке хоть какого-то намёка на талию, она творила платья прямыми, с большим припуском. Всякий раз при очередной примерке, слегка одергивая подол платья, убежденно приговаривала:

– Вот видите, как хорошо сидит, ровненько, свободненько, аккуратненько.

Веня очень любил свою маму, но еще любил он карманные деньги, дающие свободу, и даже комфорт. Треугольные вафли с душистой розовой начинкой, и восхитительные брикеты мороженого, зажатые по сторонам вафельными пластинками, – безудержно и дьявольски тянули его в пристанционный

буфет. Ради этих деликатесов овладел он ремеслом резника. Раз в неделю он «обрабатывал» двух маминых курочек.

Надо же было случиться, что встретились они на мосту через Буг. Шойхет Теплицкий направлялся из Голты в Богополь, а Венина мама Геня следовала в обратном направлении.

– Здравствуйте, мадам Кабакер, – приветствовал её старый резник, – с праздником. Желаю вам доброго здоровья и полную чашу в доме.

– Спасибо, рэб Йойне, вам того же, чтобы Бог был милостив к вам в старости, – ответила Геня.

– Вообще, как поживаете, что у вас к праздничному столу? – продолжал старик.

– Слава Богу, живем не хуже других. Есть наливочка, свежая хала, жаркое, фаршированная рыба, холодец из петушков. Заходите, Рэб Йойне, будем вам рады.

– А что, слукавил Теплицкий, – вы теперь решили резать кур сами, чтоб не дать мне заработать пару копеек?

– Ну что вы, рэб Йойне, Бог с вами, постыдились бы такое говорить, вы сами знаете, что я каждое воскресенье посылаю к вам своего Веню с двумя курочками, и даю для расчёта два рубля.

– Я хоть и стар, – заметил резник, – но память у меня не отшибло. Я вашего мальчика не видел уже полгода.

– Чтоб мне околеть на этом месте, если я говорю неправду, – начала распаляться Геня, – если вы не верите, спросите у соседей, они не дадут соврать, сколько перьев мне приходилось выдергивать с крылышек и хвостов, иметь бы мне столько счастливых лет.

Теперь пришла очередь возмутиться старику, ибо была затронута его профессиональная гордость. Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы Геня случайно не взглянула на противоположный берег реки. Там, у моста, кусты были усыпаны таким количеством куриных перьев, что казалось, будто они выросли на кустах вместо листьев.

Страшная догадка смутила её. Как же она сразу не догадалась? Ведь с ошпаренной кипятком курицы легко и чисто снимаются все перья. Теплицкий, надо признать, за дело рук своих никогда не краснел. Её Веня, чтоб его холера прибрала, уже полгода не просил у матери денег на карманные расходы.

– Чтоб его гром побил, – закричала Геня, – как мне не лопнуть со стыда на месте. Ведь недаром я говорила покойному Фишлу, мир праху его, что из нашего сына вырастет настоящий налётчик.

Вечером, выслушав полный набор назидательных нравоучений, Веня был нещадно избит матерью и лишён карманных денег, а главное, самолюбие и

свобода его были надолго попораны.

С тех пор, каждое воскресенье, возвращаясь с базара, Геня сама направлялась к сарайчику Теплицкого, торжественно неся в руках пару жирных кур.

ОТСРОЧКА СМЕРТИ

Война только окончилась. Она оставила в некогда уютном южном городке развалины, а на сердцах людей глубокие зарубки.

Живым напоминанием о недавних трагических событиях была одна странная пара. Разительное отличие их друг от друга привлекало внимание многих, – высокая женщина с длинными волосами цвета красной меди и небольшого роста пожилой мужчина в пенсне, семенящий позади шаркающей походкой.

Женщина по имени Ида, ещё молода, приблизительно тридцати лет. Бирюзовые глаза, слегка припухшие веки, лёгкий румянец на крупном лице, уверенная походка, – привлекали внимание прохожих.

Её спутник со слезящимися глазами и неопрятной бородкой был едва заметен. Чувствуя это, он нервно озирался, трусливо вертя головой. Ида величала его Лазарем Борисовичем, а их шестилетний мальчик – дядей.

Во взаимоотношениях этих людей явно ощущалась тайна. Немногие, посвящённые в неё, хранили молчание. Жили они в старом, но прочном доме в отдалённом переулке, у парка. На стенах их комнат висели всевозможные старинные часы, другие лежали на окне, столе и полках. Хозяин, часовой мастер, занимался их ремонтом. Знакомые редко навещали семью, даже сын никогда не приводил сверстников, видимо, получив на это запрет.

Однажды вечером высокий молодой майор постучался в двери их дома...

Они молча, пристально разглядывали друг друга. Разговор, после долгой разлуки, не клеился. Первой прервала тишину Ида. Робко подняв глаза, задышав от слёз, шёпотом произнесла:

– Ты прошёл войну, Наум. Я тоже прошла весь этот ад, потеряв надежду на нашу встречу. Я ждала тебя всё время. Ты не должен был увидеть меня живой. Я возвратилась в жизнь из могилы. И должна остаться для тебя призраком. Вздрагивающие блики керосинки гармонировали с её слезами. Она на мгновение умолкла, не зная, как продолжить свой монолог. Наконец, она заговорила. Её рассказ разил, как остро отточенный кинжал.

– Мы оставались последними из нескольких тысяч заключённых в гетто. Мы должны были умереть, и этого от нас не скрывали. Людей уводили на работу, приказывая брать с собой лопаты для рытья траншей, и еду на два

дня. Оттуда никто не возвращался. Об их страшной судьбе мы уже знали.

Наступил наш черёд. Всех гнали по Вознесенской дороге. Жить оставалось время, за которое мы должны были дойти до могилы. Мы шли вдоль тополиной аллеи, весна провожала нас в последний путь. Люди шли молча, без слёз. Слёзы остались на нарах и в грязи, там – в гетто. Их собралось много за три года! У меня навсегда остались они в голове и режут душу. Тысячи звуков шаркающих подошв. Этот кошмар вечен. Я несла нашего ребёнка на руках. Он, чувствуя угнетённость взрослых, не проронил ни звука. Нас построили в шеренги. За спинами – глубокий ров, перед нами – пулемёты. Приказали раздеться, словно в одежде будет душно лежать в общей могиле. Я молила Бога о чуде. И оно произошло.

– Сапожникам, портным, часовым мастерам и членам их семей – три шага вперёд! – раздалась команда. Она оказалась моим спасением.

Лазарь Борисович стоял впереди меня. Я обвила его плечи руками и прошептала:

– У вас нет никого, Лазарь! Взгляните на меня, я ведь ещё молода и красива, мое тело способно доставить вам радость. Мой малыш не должен питать своей кровью землю. Клянусь его жизнью, если мы уцелеем, я буду вам верной женой, дочерью, прислужгой. Я останусь с вами до конца ваших дней. Назовите меня дочерью. Молю вас ради сына, ради жизни, ради Бога!

Он сделал это. Нас погнали назад, в лагерь. Мы понимали, что это всего лишь отсрочка. Им нужны мастеровые на время. Но это был маленький, и может быть, последний шанс выжить.

Через несколько дней до нас донёсся грохот орудий. С севера к городу прорывались наши войска. Лазарь имел пропуск в город для добычи часовых запчастей. Он вывел меня с сыном из лагеря. В городе царил паника, на нас не обращали внимания. Мы перешли мост, там уже была свобода. Ты понимаешь, Наум, – свобода... Потом нас прятала русская женщина в подвале три дня, а наверху шли бои, но это были для нас последние дни проклятой войны, унижения, угроз и горя. Из людей, согнанных в гетто, в живых остались всего пятнадцать человек. Вот и всё... Скажи, Наум, могу ли я оставить человека, который, рискуя жизнью, вырвал нашего сына из лап смерти? Мальчик очень похож на тебя, я не скрою от него всю правду, и ты сможешь видеть его. Ты молод, Наум. Ты сможешь начать новую жизнь.

Майор слушал в оцепенении, сжимая до хруста пальцы. Ему не в чем было винить жену. Он винил войну, – это проклятье, отнявшее у него счастье. У изголовья кровати, где спал сын, он долго смотрел на него, потом поцеловал ребёнка, в последний раз обнял жену и ушел навсегда.

ИЦХАК

Илья Юкельсон, уважаемый в городе человек, достаточно образован и интеллигентен. На войне, он потерял ногу. Ходил с помощью костыля, но был бодр и энергичен. Всегда – в отглаженном костюме и свежей сорочке при галстукe. Работал в артели «Червоный шлях» на respectable должности заготовителя речных ракушек. В артели, кроме сапожных и швейных мастерских, открыли новый цех по изготовлению пуговиц. Из поверхности ракушек специальные станки изящно выбивали различных форм пуговицы, находившие широкое применение – от мужских сорочек до кальсон.

Юкельсон заключил договор с жителями окрестных сёл на сбор ракушек и очистки их от внутренностей. Горы мяса моллюсков гнили на побережьях Южного Буга. Никто не думал, что в Европе тогда это мясо считалось деликатесом.

Илья Семёнович ожидал извозчика Ицхака, с которым они должны объехать несколько прибрежных сёл, чтоб привезти собранные ракушки.

Едва летнее солнце позолотило крыши домов, во двор его дома въехала подвода, запряжённая холёной рыжей кобылой, и на землю спрыгнул огромный мужик. Шея, лицо и грудь его были цвета ржавого железа из-за постоянного пребывания на воздухе. Огромный живот гармонично завершал его фигуру, свидетельствуя об аппетите владельца. Линялая куртка плотно сидела на атлетическом торсе. Казалось, что она лопнет от напряжения его мышц. Однако, грубые черты были привлекательны.

Ицхак был малограмотным, но это не осложняло его жизнь. Зато три его пристрастия – лошади, работа и еда были на высоте. В лошадях знал он толк, любя их самозабвенно, словно своих детей. Работал с утра до ночи, чтобы прокормить многочисленную родню. Природа Ицхака была такой недюжинной силы, что казалось, будто он сильнее лошадей, грузёную подводу опрокидывал набок под восторженные взгляды коллег. Ощущение силы доставляло ему наслаждение.

Юкельсон позвал Ицхака в дом. Супруга хозяина пригласила Ицхака к завтраку, но тот робко отказался. Поигрывая кнутом, он, словно невзначай, поглядывал на хозяина, спешно заканчивавшего завтрак.

После хозяйской трапезы Ицхак положил костыль Юкельсона под сиденье, и они тронулись в дорогу. Телега с грохотом направилась в сторону Буга. Перевалив мост через сонную реку, прикрытую покрывалом утреннего тумана, она въехала на Богополь. Это была та часть города, которую занимали извозчики и мастера. А вот и дом Ицхака с сараем, и конюшней. Их ждала уже симпатичная супруга Ицхака.

В скромно обставленной гостиной было чисто и уютно. На большом

блюде, издавая аппетитный запах, лежали штрудели с вареньем и орехами, медовые коврижки и вертуты с сыром.

– Шейдл, золотко мое, сообрази нам что-нибудь перекусить, ведь нам километров сто отмахать придётся – сказал Ицхак.

Спустя несколько минут она принесла казан такого большого размера, что Юкельсон впал в раздумье. В казане оказалось мясное жаркое, сверху лежали две фаршированные куриные шейки. Отказавшись от угощения, Юкельсон с изумлением наблюдал за трапезой. Еды хватило бы на застолье для шестерых.

Ицхак начал с шеек. Он обрабатывал их с молниеносной быстротой. Отправляя куски в рот, он производил одно жевательное движение левой половиной рта, затем правой и тут же проглатывал. Справившись с шейками, он принялся за жаркое. Минут через десять казан был пуст. Закусив несколькими вертутами, Ицхак извлёк из подвала эмалированное ведро с холодной водой и опорожнил его до половины. Настроение его заметно повысилось, как после нескольких рюмок водки. Юкельсон, ошеломлённый увиденным, лишился дара речи. «Удивительно, – подумал он, – ведь это только завтрак».

Повеселевший Ицхак по пути задира л прибаутками прохожих. От его громового смеха в испуге шарахались собаки, прячась в подворотни. Нескончаемо длинная улица Богополя наконец оборвалась и там, где город уже граничил со степью, лошадь прибавила скорость и, поравнявшись с придорожной чайной, резко остановилась.

– Извините, Илья Семёнович, – виновато выдавил Ицхак. Даже кобыла знает, что здесь нужно останавливаться. Такой колбаски и пехлеванного хлеба, как здесь, вы нигде не попробуете. Всякий раз, проезжая мимо, я не могу отказать себе в удовольствии приложиться к чайной колбаске. Я мигом вернусь. Вскоре они двинулись дальше. На коленях у Ицхака лежали полукилограммовый обрезок колбасы и буханка. Не отпуская вожжи, он одной рукой поочередно отправлял в рот куски хлеба и колбасы. Зубы, как мельничные жернова, с хрустом перемалывали колбасу и тёплый свежиспечённый хлеб.

– Что вы творите, Ицхак? – не выдержал Юкельсон, – побойтесь Бога, наконец. Вы же себя просто гробите, это может привести к завороту кишок. Умоляю вас, прекратите. Ну, дайте вашему желудку хоть пару часов отдохнуть. У вас такие славные дети и жена, дай Бог им здоровья. Вы разве не помните, что недавно случилось с кровельщиком Никитой, когда он в один присест съел сорок вареников с картошкой, А как он страдал. Каким славным человеком он был.

– Илья Семёнович, – прекратив жевать, ответил Ицхак – вы с женой культурные люди. Вы едите три раза в день по часам, соблюдаете диету и,

главное, потребляете витамины. Я простой человек и ем простую пищу, как видите. А Никита... просто не знал меры. Мой дед был ломовым извозчиком и прожил 89 лет, отец был грузчиком на железной дороге и умер в 85 лет. Мы, извозчики, народ не избалованный, работаем, как лошади, смотрим целый день на задницу своей кобылы. Так что, хорошо покушать и пропустить иной раз пару стаканов водки мы себе отказать не можем.

Справившись со своим вторым завтраком, Ицхак слегка стегнул свою кобылу и она, весело заржав, бодро зашагала вдоль полей с жёлтыми подсолнухами и спелой пшеницей.

Целый день наши герои наведывались в разные сёла, собирая заготовленные ракушки. Пока Юкельсон проверял товар и расплачивался со сборщиками, Ицхак демонстрировал свое умение. Он поднимал 70-ти килограммовые мешки, прижимая их к груди словно младенцев, бережно складывая их на подводе. Работая, он смешил крестьян шутками-прибаутками. Казалось, он неподвластен усталости.

Поздно вечером уставшая лошадь тащила тяжело гружёную подводу. Потянуло ночной прохладой. Заметив, как зябнет его спутник, Ицхак снял с себя куртку и набросил её на плечи Юкельсона. Всю дорогу до дома они ехали молча.

«Интересный человек этот Ицхак. Он напоминает то раблезианского Гаргантюа, то библейского Голиафа», – думал Юкельсон, поглядывая на мощную шею Ицхака, разлёт его плеч, ладони огромных рук, до блеска отполированных вожжи и кнут. Он ощущал, как зреет в нём уважение к этому труженику и добряку, как рядом с ним легко и спокойно.

ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

* * *

Мягкий, ласковый день. Всё в цвету.
Листья юные клейки.
Именинником по небу
ходит улыбчивый шар.
...На стене фото в ряд –
их отщёлкала старая «лейка»,
С фото лица глядят, все живые:
грустны, иль смешат.
И звучит инструмент непонятый,
похож на жалейку,
И плывут имена монотонно
шурша, не спеша.
Шнеер, Шима, Рахиль, Залман, Мина,
Менахем, Шмуль, Бейлка...
Под лопаткой прокол, в горле ком
и немеет душа.
Смотрит: с сумочкой, бант в волосах,
сарафан на бретельках.
Рядом брат. Маловат, вид испуган,
но мячик прижат.
На другом: мальчуган у окна,
на окне канарейка,
И старик в кацавейке...
И стрелки назад, ход круша...
Духота, лай овчарок, крик, плач,
поезд, узкоколейка,
Ну, а дальше... Нет – дальше. Обрыв,
где без рельсов, без шпал...
Пара тувель, стакан, чемодан,
томик Шиллера, Блейка,
Сарафан, два подсвечника,
злотый, замотанный в шарф...
Мягкий, ласковый день. Всё в цвету.
Листья юные клейки,
Именинником по небу ходит
улыбчивый шар.

На стене фото в ряд.
 Все живые: Менахем, Шмуль, Бейлка,
И часы идут мерно.
 И стрелки назад не спешат.

ЛИСТОПАД

Вот и поставлена точка. Прилёт.
Кто с жёлтой меткой – два шага вперёд.
Жёлтому цвету приходит черёд.
Жёлтую строчкой строчит огнёмёт.
Скалит машина пасть-перемёт.
Жёлтые шины – липкий налёт.
Зондер-команда сзади идёт.
Зондер-команда мёртвых гребёт.

СТАНИСЛАВ СТЕФАНЮК

БАРУХ АТА-А АДОНаЙ
(ПУРИМ)

Могуч и дик Ахашверош, –
Царь Персии и многих стран.
И полный стрелами колчан
На всех наводит страх и дрожь...
Что делать бедному еврею,
Когда нависла плеть беды
И кто изгнанников жалеет,
Кто даст им хлеба и воды?

Но жил Народ, и жил он Верой,
А Вера – в будущее путь.
И затаившись по пещерам,
Он знал Завет: «Израиль, будь!»
И охраняя символ Веры,
Семья блюла святой обряд.
Такая жизнь будила зверя,
И власть готовила парад...

Парад кровавый. В день Адара,
В начале дюжины второй,
Должна была настигнуть кара
За непокорность... Ты раскрой
Священной Книги той страницы,
Где с Болью, с Гневом говорится
Об этих днях. О роковых!
И пусть тебя взволнует стих:

Его почаще повторяй:
«Барух Ата-а Адонай»...

И было небо. Синь звенела.
И пыль клубилась ветерком,
Но смерть косой своей гремела
И в горле собирался ком.

Шёл на закланье древний род,
Твердя молитвы утешенья.
Никто, казалось, не поймёт,
Как изменить царя решение?

Что им открыли письма
Священной книги? Лишь терпенье,
Как прежде? Чья-то там вина
Опять рождает Искупленье...
И шли покорные мужи
На путь, Голгофой освящённый.
Стучали хищные ножи,
И ждали жатвы полудённой.

«Прощай, Земля! Простите, Дети!
Мне не спасти тебя, жена!
Последний день живём на свете.
Последний миг». Звенит струна
И на Дворцовой той террасе
Струн бесконечный перезвон
В душе слился Эстер-Гадасы!
Она вошла в чертог, где трон

Просел под ожиревшей тушей
Царя-тирана: «Ты послушай, –
Эсфирь промолвила, – стыдись,
И в совесть ты свою взглядишь,
За что предать ты в злобе хочешь
Народ, что предан был и тих,
Он обучил детей твоих
Наукам и ремёслам. Впрочем,

Кому-то выгодно держать
В злобе и дикости народы,
Какими правишь ты, а всходы
твоим же детям пожинать».
Был кроток и неукротим
Жены прекрасной голос мудрый.
Смягчился Царь. Свершилось чудо –
Вернулись все к домам своим.

Свершился вновь переворот.
Палач жестокий лёг на плаху.
Сними же смертную рубаху
И счастлив будь, Еврейский род!
Греми, Пурим! Ликуй бескрайне!
Хвала терпенью и уму!
Но свой бокал я подниму
За славных дочерей Израйля!

Не может музыка звучать –
 кровавит ранами.
Не может музыка молчать,
 как безымянная...
Но вот пришёл последний срок
 фантасмагории –
ворвался музыки поток
 в аудитории!
Живущим ныне – не в упрёк
 в конфликте, в споре ли,
но полон горечи урок –
 урок истории.

МЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

1.

Накаркал ворон в неурочный час,
Посеял в душах злое наважденье...
Вражды огонь и ныне не угас,
Бесовским осенён благословеньем.

Умом постигнуть, это не дано –
Немало несуразного на свете.
Наветом очернённые давно,
Из века в век мы бродим по планете.

И видит Бог, безгрешен я вполне –
Не поддаюсь заманчивым искусам.
Но до сих пор в вину вменяют мне
Страдания распятого Иисуса.

2.

Жизнь нас учит уму, преподносит уроки.
Час придёт – я пойму: возвращаюсь к истокам.

Я нашёл Божий храм, где всё дышит Востоком.
Я пришёл туда сам – возвращаюсь к истокам.

Ритмы древних молитв, свитка вещице строки,
Белоснежный талит – возвращаюсь к истокам.

Как немеркнувший свет – слово мудрых пророков.
Через тысячи лет возвращаюсь к истокам.

3.

У времени плутаю под ногами,
В болоте вязну путаных дорог.
Гонимый беспокойными ветрами,
Ищу мой дом, ищу родной порог,

Где не стеснялся материнской речи
И чужаком никто назвать не смел,
Где зажигали праздничные свечи,
Благословив ниспосланный удел.

Там всё казалось сказочным спросонья...
Струилась печь заманчивым теплом.
А в маминых натруженных ладонях –
И свежий хлеб, и кринка с молоком.

Там юные весёлые рассветы
Нам обещали радость перемен.
Соблазны неизведанного «где-то»
Нас из родных выманивали стен.

Но нет конца дороги под ногами,
И я в пути нелёгком изнемог.
Гонимый беспокойными ветрами,
Ищу мой дом, ищу родной порог.

4.

Когда звучит таинственный иврит
И души к откровению готовы,
Сдаётся мне, что с нами говорит
Загадочный всевластный Иегова.

Серебряным подобием руки
По строкам свитка кантор пробегает.

Напевное звучание строки
Из века в век хранит седой пергамент.

В нём мудрость вековечная живёт
И опыты давно ушедших предков.
А по миру рассеянный народ
Хранит Завет – божественную метку.

5.
Мы на грани живём
С грузом древних преданий.
Мы – на грани добра
И извечных страданий.

Мы – на грани эпох,
Мы – на грани столетий.
Мы минувшего времени
Скорбные дети.

Жернова, жернова...
Без пощады и сбоя.
Только память жива
И не знает покоя.

6.
Вечер на Мёртвое море нисходит библейский.
Прячется солнце за линию гор Иудейских,
Напоминающих плоский резной силуэт.
И облака, чуть окрасившись в розовый цвет,
Как колдуны, навевают волшебные сны
И закрывают лицо грустившей луны.
Тайн нераскрытых и скрытых навеки полна,
Гостьей ночью является миру она.
Краски на море ещё продолжают игру,
Переплавливая мерцающий блеск в мишуру.
Вечер безмолвно на волнах солёных лежит...
Мёртвое море, а дьявольски хочется жить.

БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ...

Уста мои молчанием светло...
Я б улетел, постылый и гонимый,
К загадочным стенам Иерусалима,
Но у меня надломлено крыло.

Благослови на щедрые дожди
Все небеса над скорбною стеною.
Свою судьбу не вижу я иною –
Горит любовь в измученной груди.

Благослови пустыню и поля,
И, Господи, пути мои земные,
И пусть уста заговорят немые,
И радостью наполнится Земля.

ИЕЗЕКИИЛЬ*

Резвятся кони дикие в степи –
Страданиями душу укрепи:
Невольные участники расправы.
В безбожников вселился злобный дьявол.

Невежества кровавого урок –
И ныне спор неразрешимый длится...
С тоской смотрел наш терпеливый Бог
В безумством искорёженные лица.

Великомученик, святой Иезекииль!
Душа твоя на небо улетела...
В степи багдадской стелется ковыль,
Покоит степь растерзанное тело,

И плачет ночь слезинками росы,
И тень твоя бредёт по белу свету.
Пройдут столетья, годы и часы,
А голос твой живой не канет в Лету.

Ты бед людских и горестей певец,
Душа твоя не ведала покоя –
За тысячи страдающих сердец
Ты слёзы лил над каждую строкою,

Поведал о сомненьях и грехах,
Страданиях пленённого народа,
О чуде воскресенья на костях
В надежде вечной жизни и свободы.

**Иудейский пророк и проповедник
времён вавилонского плена (конец 6 -начало 7-го в. до н.р.),
противник идолопоклонства, за что был подвержен
жестоккой казни: привязан к диким лошадям и разорван
на части. Автор книги, помещённой в Танахе и Библии.*

ГДЕ ТВОЙ ДОМ?

Яня Гефтер драться не умел. И когда он случайно оказался на глухой окраине родного местечка, юный задира сразу признал в нём чужеродного, бросился на него с кулаками и до крови разбил Яне нос. От неожиданности и обиды худосочный Яня бросился на крепыша, подмял его под себя на дорожной брусчатке и принялся неумело колотить. А тот изворачивался под ним, уклоняясь не столько от Яниных неуклюжих ударов, сколько от крови, которая лилась из его носа на конопатое лицо обидчика.

Яня драться не только не умел, но и не любил. Его с детства учили, что драться не-кра-си-во. И он усвоил это основательно, без какой-либо надежды избавиться от такого предубеждения. Но после этого случая какая-то обида поселилась в его душе и обосновалась в ней окончательно в первый же год войны, когда он понял, что к евреям отношение особое: их не любят, их убивают, им всегда надо чего-то бояться, им надо спасаться.

«Значит, мы какие-то особые, не такие, как все», – думал Яня. Ему было неуютно и боязно оттого, что его лицо может кому-то не нравиться: не тот профиль, не те глаза. А имя? Он его так стеснялся, как будто публично совершил неприличный поступок. У него язык деревенел и не поворачивался произнести вслух своё имя «Янкель», когда вокруг так благозвучно слышалось: Ваня, Вася, Петя. Само имя его как бы говорило окружающим: чужак, не наш.

Война забрала у Яни отца, деда, бабушку и ещё несколько десятков дру-

гих родственников. Взрослея, он пытался найти ответ на вопрос: «Почему, почему так происходит?» И не находил ответа. Он не знал своего языка, не читал в оригинале Шолом-Алейхема, Ицхока-Лейбуша Переца, но и в переводах они были замечательны. Его никто не учил петь еврейские песни, но редкие пластинки, чудом сохранившиеся с довоенных времён, трогали душу, будили в нём затаившееся еврейское естество.

Он и представить себе не мог, что ему придётся оставить ту землю, которую он по праву считал своей родиной. Ему всю жизнь вбивали в голову, что родина – это свято, её надо любить, любить бездумно и бесконечно. И Яня любил, любил искренне до тех пор, пока не понял: его любовь к родине – безответная: он её любит, а она его – нет. И уже через годы, оказавшись в стране, которая раньше не вызывала у него никаких светлых чувств, он задаёт себе всё тот же больной вопрос: «Где мой дом? Где моя родина?»

Его детская память сохранила картину более чем шестидесятилетней давности: его дед, надев тфиллин и облачившись в талес, усердно молится, прося у Бога спасения. Но, как видно, его молитва не дошла до Всевышнего. Поэтому Яня решил восстановить прервавшуюся связь. Теперь, выходя к Торе, он не стесняется своего имени. Он – Янкель бен Моше. И среди своих он нашёл своё место. Когда он возвращается из синагоги домой, в его душе ещё долго звучат мотивы молитвенных песнопений, которые прошли неизмеримо долгий и трудный путь вместе с еврейским народом в поисках своего места.

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

МАЙНЕ ХАЕС, ИХ ГЕЕ ЦУ ДИР*

Мендель Ратковский был «ломовой лошадьё». Он поднимался до рассвета, выходил во двор и долго откашливался. Затем внимательно осматривал тачку, прикованную на ночь к металлическим перилам подвала. Гремя цепью, отмыкал амбарный замок и выкатывал её за ворота. Разминал пальцы, набрасывал на плечи кожаную шлею, впрягался в оглобли и тащил тачку к вокзалу. На привокзальной бирже выстраивалась очередь таких же «экипажей» в ожидании клиентов: крестьян, привозивших овощи и фрукты на городские базары, мешочников всех мастей и рангов, разного торгового люда с бесконечным количеством узлов, чемоданов и баулов, горожан, перевозящих домашний скарб, дрова и уголь.

Мендель был хозяином. Имел собственный извоз, что-то среднее между арбой и двуколкой, запасное колесо, приспособления для облегчения работы, жбан колесный мази. А «ломовой лошадьё» был он сам – Мендель Ратковский, шестидесяти лет отроду. До войны он работал в одной из контор гужевого транспорта и другого дела не знал. Пара лошадей Менделя всегда была сыта, ухожена, правильно подкована, а копыта покрыты чёрным пеком. На сбруе ярко горели начищенные бронзовые пряжки, а соломенные шляпы с перьями на лошадиных головах придавали им бесшабашную элегантность. По-своему элегантен был и потомственный биндюжник Мендель Ратковский – широкоплечий блондин с голубыми глазами, подпоясанный красным кушаком. Он гордо восседал на облучке своего биндюга, выкрашенного в яркие тона. Особым шиком у биндюжников считалось умение править лошаадьми на городских улицах одной рукой. Это мог себе позволить только мастер. В другой руке, лежавшей на колене, небрежно удерживался кнут замысловатого плетения с кнуровищем вишнёвого дерева, отполированного ладонями нескольких поколений биндюжников. Он достался ему от отца. Впрочем, Мендель им никогда не пользовался. Кнут, так же как красный кушак и яловые сапоги, смазанные касторовым маслом, являлись обязательными атрибутами экипировки одесского биндюжника. Когда лошади на подъёме уставали, Мендель не стегал их кнутом, а спрыгивал с облучка, подпирал колесо вагой и подходил к лошадиным головам. Разнуздывая их, что-то ласково говорил, угощая то хлебом, то кусочками сахара, и лошади, передохнув, усердно тащили биндюг дальше. Угощал их биндюжник каждое утро перед работой. Жили они дружно – Мендель, Орлик и Козывка. Если он задерживался в конторе, лошади ржали, беспокойно тычась мордами в ограждение клетки.

Когда Мендель заболел, что было очень редко, на конюшню с очередным угощением для лошадей приходила его жена, Хая. Чувствуя её спокойную силу, лошади становились послушными, позволяли себя запрячь, и сменный возчик спокойно уезжал на работу. Хая была некрасива. Гордая и независимая, она не отвечала стандартам женской привлекательности, принятым на Молдаванке. Но от её загадочной улыбки и взгляда невозможно было оторваться. И уже не замечались ни жесткие непослушные волосы, ни худощавая нескладная фигура, ни даже наряды, далёкие от существующей моды. Каждый вечер она встречала мужа у ворот. А он, увидев её издалека, кричал: «Майне Хаас, их гее цу дир!» Затем подхватывал её на руки и через весь двор нёс в дом. Опаленный любовью, он не чувствовал тяжести и не замечал удивлённых взглядов соседей. Приходя с работы, Мендель аккуратно вешал кнут на гвоздь у дверей, а под ним ставил пышущие жаром тяжёлой работы сапоги. Это значило, что день трудов закончен. А на плите доваривался фасоловый суп с говядиной и уютно пел закипающий чайник.

И так продолжалось семнадцать лет. Хая была первой и единственной женщиной, которую знал и любил Мендель. Дома она помогала ему разуться, вымыть ноги, массировала спину, покрытую багровыми рубцами. Это были следы плена в первую мировую войну. Австрийский офицер обходил пленных российских солдат, отбирал евреев и приказывал избивать их шомполами.

То ли это была инструкция, то ли просто прихоть антисемита, никто не знал. Потерявшего сознание солдата оттаскивали к своим и, если ему удавалось выжить, о нём забывали, если же он умирал, приказывали хоронить с музыкой.

Массируя ему спину, Хая что-то ласково шептала мужу, и они счастливо улыбались. Их дом был всегда полон соседей. Они приходили вечерами посплетничать, обменяться дворовыми новостями, поиграть в лото.

Всем было тепло и уютно в доме, где росли два сына – старший Даниил, ученик ремесленного училища, и младший Лёнька – школьник, недавно вступивший в комсомол.

Всё рухнуло 22 июня 1941г. Началась война. С первых же дней Мендель был мобилизован в трудовую армию и отправлен на восток. Сразу после оккупации города по доносу был арестован Лёнька. Его долго пытали, требуя выдать подпольную комсомольскую организацию, о которой он ничего не знал. В начале зимы его, обнажённого, вывели на мороз и обливали водой до тех пор, пока он не превратился в ледяной столб. До пятнадцати лет он не дожил трёх месяцев. Даниил был сожжён в Сабанских казармах вместе с тысячами других евреев. Хаю расстреляли в районе Доманёвки. Она была спокойна, словно не замечала обезумевших от страха людей, не слышала стонов умирающих и

трескотни автоматных выстрелов. Выпрямившись, не стесняясь наготы, она презрительно смотрела в глаза фашисту. Бормоча проклятия, бандит показал рукой в сторону. Пытаясь понять значение его жеста, Хая повернула голову, только тогда он нажал на спусковой крючок.

Узнав после войны о гибели семьи, Мендель постарел лет на двадцать, стал молчаливым, угрюмым и никогда не улыбался. В свой дом он не вернулся. Каким-то образом купил тачку и стал зарабатывать на хлеб извозом. Еда, одежда, погода мало его интересовали. Зимой он не замечал позёмки, гнавшей по улицам языки снега вперемешку с листьями, хороводившими у его солдатских ботинок. Летом – ливней, хлеставших по непокрытой голове, заползавших за воротник. Обычно он сидел в одной и той же позе, низко опустив голову, плотно сжав губы. Изредка ему почему-то то вспоминался голос отца, очень нежно говоривший что-то жене. Даже не сам голос, а чувства, переполнявшие его детское сердце. Это были чувства любви к родителям, к дому и даже к лошадям, на которых работал отец. Нежности не были приняты в той среде, где он рос. Его окружали суровые люди, тяжело трудившиеся и не вылезавшие из бедности. Менделя угнетала и мучила мысль о гибели жены и детей. Будто судьбу его семьи не разделили десятки тысяч других семей, погибших в этом городе. В своем горестном эгоизме он не воспринимал рассказы других людей, таких же несчастных, и только раздражался. Мендель не мог примириться со своим горем и потому жил как бы в двух измерениях. В одном – каждодневная работа до седьмого пота, до изнеможения. Он выполнял её с равнодушной отрешённостью. В другом – он как бы жил в своей семье: уходил на работу, возвращался и Хая, как всегда, массирует ему спину.

Когда груженная тачка выкатывалась на трамвайную колею, и затихал грохот колёс, клиенты слышали его бормотание. Он с кем-то беседовал. С кем? Можно только догадываться. Был солнечный весенний день. В высоком голубом небе наперегонки неслись лёгкие облака. Аромат сирени окутывал город, а тюльпаны причудливой многоцветной лентой опоясывали привокзальную площадь. Мендель лежал на своей тачке, его лица не коснулись весенние краски, а поблекшие глаза, как обычно, смотрели в одну точку. Вдруг он расправил плечи, будто сбросил тяжёлый груз, глубоко вздохнул и улыбнулся. Лицо его помолодело, стало счастливым, словно встретил он наконец-то человека, которого ждал и любил всю жизнь. Он пытался что-то сказать, но не смог. Стекленеющие глаза становились синими и глубокими, как было синим и глубоким небо, опрокинутое над ним. Никто не слышал как ясно и отчётливо он прошептал: «Майне хаес, их гее цу дир...»*

Пожилой врач скорой помощи, взглянув на его лицо, сказал: «Он умер счастливым, а это не каждому дано».

* *«Моя прелесть, я иду к тебе»*

РАЗОРВАННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Жидовская Морда лежала на своём обычном месте слева от двери. Молдаван, расположившись в продранном кресле, не спускал с неё влюблённых глаз. Пользуясь отсутствием их квартирной хозяйки, он хотел приблизиться к ней, но встретил предупреждающий взгляд, не сулящий ничего хорошего. Будучи много старше темноволосого красавца, она не любила его, оставаясь холодной к проявлениям его бурной страсти, и не принимала ни ухаживаний, ни еды, которую он постоянно приносил. Жидовская Морда, так называла её хозяйка, любила её безответной, необъяснимой, жертвенной любовью и готова была отдать за неё жизнь, получая взамен лишь пинки и зуботычины. Каждый вечер хозяйка зазывала Молдавана к себе, угощала, поглаживая, шептала нежные слова, на которые способна старая любящая женщина. Он был последней, а возможно, единственной любовью в её жизни.

Молдаван только позволял себя любить и с отвращением переносил её ласки. Съев угощение, ворчал, вырывался из её рук и возвращался в комнату, где лежала Жидовская Морда, изнывавшая от любви к хозяйке и жестоко ревновавшая её к Молдавану.

Лёжа на подстилке и закрыв глаза, думала: «Как несправедливо устроена жизнь, какой ужасный неразрывный треугольник начертала судьба. Я люблю её, хозяйка любит Молдавана, а он любит меня». Её сердце сжималось от тоски и жалости к себе, и оттого, что этот треугольник скорее походил на замкнутый круг, по которому текла жизнь в квартире.

Хозяйка квартиры, баба Неля, была наследственной, биологической антисемиткой и непрекаемым авторитетом по еврейскому вопросу среди своих товарок. Сидя по вечерам у ворот на маленьких скамеечках, соседские старухи, как куры на насестах, слушали молча сентенции доморощенного оракула и только многозначительно кивали головами, когда она изрекала знакомую им фразу: «Под корень их усех, под корень», – при этом её единственные два зуба уродливо выпирали из брызжущего слюной рта. Загнутый вверх подбородок и торчащие зубы образовали разорванный овал, напоминающий клюв отвратительной птицы из фильма ужасов.

Она не знала, за что ненавидит евреев, но кое-какие мысли на этот счёт имела. Раскачиваясь и скрежеща остатками зубов, всё думала, думала вслух: «Почему жидам всегда хорошо? Плохо здесь стало, пенсий не хватает, врачи платные. Так они хрен положили, бросили нас, и тикать кто куда. А там сразу становятся миллионерами. Дураки мы, работали на них, учили, квартиры давали. Хорошо, что моих жидовичей поубивали, а то бы и сейчас жила в коммуналке. – Сама баба Неля за свою долгую жизнь проработала два месяца медсестрой в доме малютки, но была изгнана за воровство и издевательства

над детьми. – Плохо постарался Гитлер, – продолжала рассуждать баба Неля, – плохо. Под корень их усех нужно было, под корень. А ещё говорят, что немцы красиво работают. Какая же это работа, вон их сколько осталось? Опять же Сталин. Бонабак, он и есть Бонабак. Только хотел их усех под корень, чисто усех, взял да умер».

Предаваясь волнующим её мыслям, она пыталась вспомнить, скольких же евреев выловила её покойная мать, когда во время оккупации надевала солдатскую форму своего сожителя, румынского солдата, и вместе с ним на мотоцикле выезжала на улицы города охотиться на евреев, на тех несчастных, которым удавалось ускользнуть во время облав. Перекрасив волосы, сменив одежду, сбрив усы или наклеив бороды, они прятались у знакомых, в разрушенных домах, в подворотнях, в катакомбах, пытались выжить. Вот здесь-то и был простор для её самоутверждения. Это не была её служба, она это делала для удовольствия.

Распознав знакомых евреев, выпрыгивала из мотоциклетной коляски, хватала свисток, висящий на шее, сзывая патрулей. Вцепившись в свою жертву, произносила лишь одно слово подбежавшим солдатам: «Жидан», и ехала дальше. «Мало выловила старая, мало, – сбилась со счёта баба Неля. А старой тогда ещё и тридцати не было. – А как хорошо было бы усех их под корень, усех». – как заклинание, повторяла баба Неля.

Она бы ещё долго предавалась воспоминаниям, но вдруг почувствовала резкую боль в левой части груди и под лопаткой. Левая рука быстро немеет. Тяжёлый липкий туман заволакивал сознание. Она судорожно хватала воздух широко открытым ртом, но дышать не могла. Правой рукой пыталась достать таблетки из своей сумки, но рука уже не повиновалась. Повалившись на скамью, поняла, что умирает.

Бог вспомнил о справедливости – баба Неля скончалась. В последние минуты она думала только о Молдаване и его судьбе.

Новые хозяева выгнали Жидовскую Морду и Молдавана на улицу. Бездомные, они стали жить в подвале, но голод гнал их на улицу в поисках еды. Однажды Молдаван исчез, но к вечеру вернулся, притащив кость от копчёного мяса. Жидовская Морда с жадностью набросилась на неё, но неожиданно получила пинок ногой, отбросивший её на несколько метров.

– Будете здесь мне мухоту разводите, – прошипела дворничиха и, подхватив выпавшую кость лопатой, швырнула её в мусорник. Молдаван бросился на дворничиху, но тоже получил удар сапогом в живот. Рано утром, едва придя в себя от побоев, Молдаван и Жидовская Морда выскочили за ворота и побежали искать своё собачье счастье к Привозу.



ПУБЛИЦИСТИКА
МЕМОАРЫ
ЭССЕ

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

«ТАМ, ГДЕ СЖИГАЮТ КНИГИ...»

*Несогласие с Иосифом Бродским**Эссе*

«...Ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступление против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., *не предание книг костру*. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их нечтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация – она платит за это своей историей».

Фрагмент Нобелевской лекции поэта Иосифа Бродского

Так говорил он в 1987 году. Слова «не предание книг костру» выделены мною. Я не согласна с такой мыслью. Ведь книги для костров отбирают, как правило, именно те, кто их читал. И ритуал книгосожжения организуют, всё снова и снова, вполне грамотные читатели.

Вот и 24 июня 2006 года в восточногерманской деревне Претцин под Магдебургом жгли книгу. Сначала, для разогрева, ею как мячом поиграли в футбол. Сотни жителей и гостей праздновали день летнего солнцестояния. Весёлый праздник был, с танцами и костром. В него-то и полетел «Дневник Анны Франк». Не очень юные, лет под тридцать, неонацисты из организации «Heimat Bund Ostelbien» («Хаймат Бунд Остелбиен») знали, какую книгу сжигают. Кстати, в этой организации и бургомистр состоял – тоже, надо полагать, читатель. Он спокойно наблюдал, как горели страницы дневника еврейской девочки, погубленной нацистами. И все жители Претцина стояли на стороне своего бургомистра. Они же сами его выбрали. Так что в отставку он не собирался.

Это было весьма «скромное» по размаху сожжение всего одной книги. Но клеточки таких зародышей размножаются стремительно и поражают метастазами саркомы антисемитизма сознание сотен граждан, не встречая даже маломальского сопротивления властей, у которых либо никогда не возникал, либо безнадежно ослабел иммунитет против такой заразы.

За 73 года до того «одноклеточного» акта, а именно 10 мая 1933 года в центре Берлина перед зданием библиотеки одного из крупнейших

университетов Европы *студенты-нацисты жгли книги*. Вот это был размах! Вот это был костёр! Естественно, что его не избежали произведения еврея Генриха Гейне.

Поэт Генрих Гейне в 1820 году иначе, чем поэт Иосиф Бродский спустя 167 лет, оценивал преступность предания книг костру и страшные последствия такого преступления. Вот, что он писал: *«Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также людей»*.

Сколько миллионов людей сожгли в конце концов нацисты? Сколько загубили они юных и детей? А среди них, несомненно, были и те, которые стали бы поэтами и писателями. Не созданных ими рукописей литература лишилась безвозвратно. Так неужели Иосиф Бродский, знавший, что такое чудовищный нацистский Холокост, не понимал этого!?!..

Известно выражение «Рукописи не горят». Это утверждение в подлиннике имеет такое продолжение: «...горит бумага, а слова вместе с дымом уносятся к Богу». Бесчисленные души людей, среди них и тех, которым не суждено было создать свои рукописи, унеслись вместе с дымом из труб фашистских крематориев к Богу...

Берлин, 2006, 2017

«ДАР ПОЭТА ОН В МОЩНЫЕ СТРОКИ ВЛОЖИЛ»

О Фридрихе Горенштейне – Псалмопевце

Обложка в коричневых тонах. На ней лицо с маленьким ртом под крупным кривым носом. Таким привиделся иллюстратору Антихрист из колена Данова, герой романа Фридриха Горенштейна «Псалом». Этот том надписан мне на литературном вечере в берлинском магазине русской книги «Радуга» автором. Помню, мы с ним переглянулись, когда вывела его рука дату: 30.10.3000, затем в обозначении года поверх тройки легла двойка, а последний ноль перечеркнула единица. Получилось 30.10.2001, но конец тысячелетия проглядывает сквозь его начало. Тысяча лет – не срок, если думать о вечном...

В тот последний вторник последнего октября своей земной жизни писатель читал отрывки из романа «Попутчики». Голос его звучал иначе, чем обычно, когда о нём можно было сказать «энергический». В тот вечер такое старомодное, но точное, определение не годилось. Голос потерял энергию, и это меня встревожило настолько, что я решилась высказать *публично* моё

восхищение творчеством автора и тем, что живу в одно время и в одном городе с великим человеком, слышу, как он сам читает свои творения. Возможно, это показалось кому-то несколько «чересчур», но сказано было моею душой. Бессмертные авторы – смертные люди, и надо успеть восхититься их одарённостью и сказать им *при жизни* о творческом их *бессмертии*.

Почему выделено слово «*публично*»? Дело в том, что «*лично*» моё почитание было выражено в письме Фридриху Наумовичу ещё в феврале 1998 года. Но прилюдное восхищение, не вызванное корыстью или влиянием эстрадно-культовой «стадности», случается, к сожалению, редко при жизни автора. Да и после смерти... Правда, довелось прочесть такое вот запоздалое признание, подписанное режиссёрами М. Розовским, А. Михалковым-Кончаловским и П. Фоменко: «Будь мы на месте Нобелевского комитета, непременно выдали бы премию по литературе Фридриху Горенштейну – писателю, масштаб и уровень творчества которого сопоставим с самыми высокими изъвлениями искусства XX века».

Если бы, да кабы... Безнадёжность сослагательного наклонения. «Нобелевскую» дают лишь живым. Отчего же при жизни не воздавалась ему хвала? И почему «изъявление», если это не газетная опечатка, когда надо «явление»? И не «сопоставим» уровень, а превосходит лучшее...

Но эти похвалы читала я уже в марте, после тех неотступных мыслей о Горенштейне, которые пришли ко мне за месяц до годовщины его смерти. Об этой дате я забыла, но что-то внутреннее (уж не мистическое ли – из небытия?) дало толчок и заставило обернуться. Весь февраль перечитывала его, и заново переживала, и вновь поражалась.

Какой Поэт! Именно поэтом написан роман «Псалом», с первой страницы: *«На седьмой день творения было Рождество искусства, на седьмой день был человеку этот Божий подарок, и по сей день сохранил Господь его для избранных»*, и до последней страницы: *«Поняли люди через знамение – пылающие святой снежной белизной чёрные лесные деревья... суть сердечного вопля пророка Исайи: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»*

*

Пылающие снежной белизной... Пылающие чёрные деревья... Еврейское кладбище в Берлине на Вайсензее – Белом озере. Чёрные деревья и белый снег, редкий для берлинской весны. Ровно год со дня смерти Фридриха Горенштейна. Открытие памятного камня. Снято чёрное покрывало. На камне – тот же призыв пророка...

Тысячи лет – не срок, если думать о вечном.

ИМЯ И СУДЬБА

*Горенштейн –
может, с идиш он – каменный рог,
пробивающий стены и скалы?
Или русское горе, хлестнув за порог,
горьким камнем в том имени стало?*

Дар поэта он в мощные строки вложил,
став великим навек псалмопевцем...
И в немецкой земле, среди еврейских могил
псалмопевца покоится сердце.

Это своё стихотворение я позволила себе прочесть у могилы писателя 2 марта 2003 года, при открытии памятного камня. Выступавшие в тот день говорили по-русски. В 2002 году над гробом Фридриха Горенштейна говорили по-немецки. И его сын по имени Дан – тоже. Меня это поразило тогда. Хотя, чему поражаться, ведь он совсем ещё молод и вырос здесь, в Германии. Лишь Александр Бреннер, руководитель еврейской общины Берлина, произнес речь по-немецки, закончил её по-русски, сказав, что покойный с полным правом мог бы повторить вслед за великим поэтом: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».

Идя к могиле, поблагодарила господина Бреннера за то, что русская речь прозвучала-таки над гробом *русского* писателя. Идущие рядом поправили меня: «*еврейского*».

Полагаю, что никто, и даже сам Горенштейн, не смог бы хладнокровно рассечь два этих сросшихся определения и равнодушно отбросить одно из них, не обращая внимания на кровотокащие раневые поверхности сущностей обеих частей. Много думала я об этом, и в моём стихотворении имелось ещё одно, срединное четверостишие:

Не был он удостоен хвалы и молитв
за свои неустанные действия...
Он еврейский писатель российской земли,
он российский писатель еврейства.

Некоторые из тех, кому читала я это стихотворение целиком, болезненно реагировали на такие определения. И тогда убрала я эти строки. Может, даже лучше без них?

Прикосновение к раневым поверхностям причиняет боль...

Нашла в своих записях от 10 февраля 2003 года несколько набросков о творчестве Фридриха Горенштейна. Вот они:

«Писал он прозой, будучи поэтом. Поэтический дар – пророческий, несёт в себе особый энергетический заряд. Энергия вокруг него клубилась... Душа поэта – *некой плазмы сгусток* – трепещет и, *пульсируя* упруго, вбирает судьбы мира и людей...

С магнитным полем Ветхого Завета был не случайно *сильно* связан он.

Ушёл во тьму иль к свету смерти сгусток, зарядом нерастраченным ушёл, и на мгновенье *во Вселенной* стало пусто...»

Позже, заглянув в научный словарь, нашла интересные совпадения. Там сказано, что *плазма* – наиболее распространённое состояние вещества в *космическом пространстве*. В ней легко возбуждаются *колебания*, она *сильно* взаимодействует с *электромагнитными полями*...

*

«Псалом» Горенштейна – великая поэма. По-гречески поэма означает *создание*. Белинский писал, что «поэма... схватывает жизнь в её высших моментах». Смерть – тоже высший момент жизни? В *создании* Горенштейна это именно так.

«Псалмопение – речитатив, мелодическая декламация, ритмика которой подчинена требованиям текста», сказано в словаре. В романе «Псалом» текст подчинён ритмике мысли, как это бывает в высокой поэзии. Когда читаешь, слышатся псалмопения, которые П. Вяземский определил как «песни проводов из мира и напутствия в иной». Вот отрывки речитатива на страницах романа «Псалом»:

*«Это были вдохи полной грудью
на самой вершине, где воздух настолько чист,
что ещё чуть повыше – и он уже будет непригоден для жизни...
Но чем глубже вдохи, тем короче дыхание, вот уже нет выдоха,
а есть лишь вечный глубокий вдох, как перед смертью...»*

*

*«Между Чашей и её осколками такая же разница,
как между Верой и религиями, между смыслом и концепциями,
между интимностью чувства и первичностью публичного
обряда...
Но разбита Божья Чаша...»*

*«Всякая жизнь и всякая судьба,
даже горькая жизнь и мучительная судьба,
когда она проходит, должна складываться в Псалом,
Хваление Господу за то, что она состоялась
в отличие от жизней не родившихся и судеб не состоявшихся.
Всякая жизнь, даже горькая, есть удача и привилегия»*

Да простится мне самовольное расположение текста в виде стихов, ведь это и есть стихи – глубокие, философские. Надо быть гением, чтобы сказать: *«Любое человеческое слово в иных мирах становится шифром»* и *«Время – это язык Господень, которым он говорит с человеком»*.

«Пророк может предвидеть и осознать судьбу народа, но он бессилён перед собственной судьбой». Не сказано ли это о самом поэте-пророке с его собственной, не слишком счастливой, судьбой, но и с его счастьем обладания *«Божьим подарком для избранных»*?

Март 2003 г., Берлин

«И ВСЁ ЖЕ ОН УСПЕЛ СВОЁ УВИДЕТЬ СЛОВО...»

«Не должен бесследно исчезнуть язык идиш, который служил евреям на протяжении многих веков и впитывал в себя народную мудрость. Стремясь сохранить хоть часть еврейских пословиц и поговорок, которые я собирал в различных городах России, Украины, Белоруссии, я решил часть из них перевести в стихотворной форме на русский язык. Ощущая свою принадлежность к еврейскому народу, я осмелился добавить к собранным пословицам несколько сочинённых мною».

Ефим Фишман

Весной 1917 года на Украине в селе с милым названием «Доброе» родился добрый и красивый человек. Много недобрых времён пережил он, но сумел сохранить доброту ума и сердца. И красота его тоже сохранилась на всю жизнь.

Многими профессиями владел Ефим Исаевич Фишман, но любимым занятием для души была скульптура. А когда возраст подошёл почти к 80-ти, посетила Фишмана Муза Поэзии. Стал заниматься стихами. Принёс их в Клуб литературы и искусства в здании берлинской «Новой синагоги» на улице Ораниенбургерштрассе..

Не очень умелыми были стихи. Трудно быть начинающим поэтом в 78 лет.

Но однажды прочёл он в Клубе несколько еврейских пословиц и поговорок в своём переводе с идиш, снабдив их собственными стихотворными строками. Получилось трогательно и неожиданно.

Ефим Исаевич не обиделся на критику его слабых строк и попросил меня отредактировать их. Оказалось, что речь идёт о многих десятках стихов. Я хотела отказаться, но автор чем-то неуловимо напоминал моего недавно умершего в возрасте 85-ти лет отца, и я согласилась помочь ему.

С осени 1997 вплоть до весны 1998 мы много трудились, выправляя, а порой, и полностью переделывая стихи. Называл он меня «девушка». Это в мои-то тогдашние 60 лет! Мы входили в азарт, обсуждая разные варианты, спорили, но, что удивительно, оба забывали о своём возрасте.

Автор быстро рос как поэт и стал, если находил приемлемыми собственные правки, отказываться от предлагаемых мною вариантов. Я поддерживала его в этом – пусть, на первых порах, слабее, но своё.

*

Работали мы много. Сложилась книга *«100 еврейских пословиц и поговорок в стихах»*. Ефим Исаевич нашёл возможность дать сами пословицы на идиш и их транскрипцию кириллицей и латиницей. Нашёлся спонсор для издания книги, правда, реальных денег пока ещё не было. Но здоровье автора резко ухудшилось. Рак. Тогда я стала упрашивать Ефима Исаевича согласиться на предложение его сыновей, готовых дать деньги немедленно, не дожидаясь обещанных. Надо было спешить! Болезнь заставила его лечь в больницу. Лечь – в буквальном смысле – не было сил даже сидеть.

Уже почти готов был тираж книги. В журнале Еврейской общины Берлина дали объявление о предстоящей в марте 1998 года презентации. Было понятно, что она состоится уже без автора...

Но вдруг, день за днём, его телефонные звонки: «Девушка! Я уже сижу в постели!»; «Я уже встаю!»; «Я уже сам могу дойти до окна палаты!»; «Я звоню из дома!» и, наконец, «Я буду на презентации!»

И автор появился-таки на презентации! Дух сильнее тела. Смерть была принуждена дать отсрочку. Автор, держа в руках свою книгу, прочёл перед переполненным залом: *«Моей матери Рахиль Лазаревне и отцу Исаю Самойловичу посвящается»*.

Вот последняя, сотая, пословица в книге. Она – из числа сочинённых Ефимом Исаевичем на идиш:

«Дэр лэбн из нит / кайн замдикер сейгер,/ мэ кен им нит ибэркерн / ун онгайбн нох айн мал».

Автор представил мне её перевод такими строками: «Нам в жизни всем отпущен срок,/ он, как в пробирках тех песок,/ и как бы жизнь нас не качала,/

Мы помнить все всегда должны: *«Жизнь не песочные часы, / её нельзя начать сначала»*. Но в книгу включил предложенный мною вариант:

Здесь мудрые слова не для красоты,
ведь сколько не живёшь – всё мало:
*«Жизнь наша – не песочные часы,
не повернёшь и не начнёшь сначала»*.

Среди обработанных мною пословиц, собранных Фишманом, есть и такие, которые он не успел включить в книгу. К сожалению, мне был дан лишь русский текст, и поэтому я не могу судить, хорош ли был перевод с идиш. Тем не менее, мне досадно, что в книгу не вошли некоторые из пословиц, особенно эта:

Порою кажется, что мы в седле,
но это вызывает грустный смех:
*«Богаче нет евреев на земле –
расплачиваются они за всех»*.

В мае того же 1998 года Ефим Исаевич умер. После похорон написала я такое стихотворение:

*И всё же он успел увидеть слово
своё на сотнях жданных им страниц,
и станут вчитываться в них всё снова
глаза бессчётных незнакомых лиц,
и строки не умрут и долго будут
дыхание его и мысли сохранять,
и знавшие его вовеки не забудут,
что можно в смерти – смерти не принять.*

24.05.1998, 2007, Берлин

МИНА ПОЛЯНСКАЯ

МЕМУАРНЫЕ ЗАПИСКИ О ЕФИМЕ ЭТКИНДЕ



*«И славы блеск, и мрак изгнания,
И светлых мыслей красота,
И миценья – бурная мечта
Ожесточённого страдания».*

А. С. Пушкин

О стихах Пушкина, приведенных мною в качестве эпиграфа, Ефим Григорьевич Эткинд говорил, что именно они – эпиграф ко всей его жизни. Он ещё уточнил: «Всё это – в бесконечно ослабленном виде – выпало и на мою долю».

Мне довелось присутствовать на защите докторской диссертации Ефима Григорьевича в колонном зале пединститута имени Герцена (ныне университета) в октябре 1965 г., и я считаю эту блистательную защиту одним из важнейших событий моей жизни. «Несмотря на довольно специальный характер темы, – вспоминал Эткинд, – „Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики“ – аудитория реагировала с энтузиазмом, и защита прошла, можно сказать, эффектно».

Ещё бы! Участниками научной баталии были прославленные академики В. М. Жирмунский и М. П. Алексеев, а также её главный герой – Эткинд. Не забуду восторга переполненного зала. Как это было красиво! И могу лишь воскликнуть, вслед за Салтыковым-Щедриным, вспоминавшем «оттепель» начала царствования Александра II: «О, какое это было время! О, какое это было прекрасное время!» И не предполагали мы, как и Михаил Евграфович, что всё это может так незаметно исчезнуть, а следовало предполагать, поскольку, как предупреждал Герцен, когда в очередной раз ломают стены, отбивают замки и отпирают ворота, то в первую очередь вбегают не те, кого ждали. «Неотразимая волна грязи залила всё», – сокрушался он в книге «Былое и думы».

Мы – не предполагали. А в начале 70-х годов неизвестный Фридрих Горенштейн писал в Москве роман «Место» с подзаголовком «Политический роман» о либеральном таинстве послесталинского правительства, обманчивой демократии, о хрущёвской оттепели, оказавшейся камуфляжем, очеред-

ным фарсом.

Итак, восьмисотстраничный роман о московских диссидентах, антидиссидентах, тайных организациях со средневековыми ритуалами и репетиловским многозначительным фразёрством, с захватывающей интригой, с сюжетными ответвлениями диккенсовской школы был написан в начале 70-х годов. Однако путь романа к русскому читателю длился двадцать лет.

«Легенда враждебна Закону, и именно легендарный сталинизм, а не антисталинские лозунги оппозиции, порождает Народное Недовольство, самого грозного врага Власти, врага, черпающего свои силы не в политической оппозиционной кучке, а в лояльном массовом потребителе.»

На этой тёмной, обледеневшей ленинградской улочке я понял, что идеал покойного Журналиста, идеал покойного умеренного оппозиционного интеллигента – стоять с незатянутой петлей на шее, на прочном табурете – возможен лишь тогда, когда на узкой тропе Истории только Власть. Когда же туда, навстречу власти, словно дикий кабан на водопой, выходит Народное Недовольство, то первым же результатом противоборства является двойной удар сапогами по табурету, и миру после этого остаются, в лучшем случае, лишь хриплые, необъективные, как всё мертвеющее, запоздалые мемуары угнетенника-интеллигента.»

Я предполагаю: а что случилось бы, если бы роман «Место» был опубликован вовремя, как это и бывает при нормальном кровообращении литературы, и мы, «либеральная интеллигенция», прочитали бы его в году, допустим, 73-м, или 74-м?

Может быть, мы бы вовремя оглянулись назад и обнаружили с изумлением, что от оттепели не осталось и следа? Может статься, лучше подготовились бы к очередной «оттепели» конца 80-х, и уже во всеоружии встретили бы эпоху лихих горбачёвских разбойных свобод – с иммунитетом и скепсисом по отношению, например, к «бывшим» коммунистам, которые всегда первыми «вбегали в ворота», чтобы без покаяния в очередной раз даровать нам глоток свободы, дар, который мы жадно и благодарно принимаем?

Я продолжаю угадывать: а что было бы, если бы роман Тургенева «Отцы и дети» с его «героем нашего времени», и его убийственно материалистической тенденцией, оказавшей колоссальное влияние на поколение, застрявшее надолго на стадии нигилизма, увидел свет, допустим, спустя тридцать лет после написания?

Пожалуй, изменился бы ход истории. Александр II, размышляю я, прочитал «Записки охотника», написанные в 1852 году, плакал над книгой, после чего (понадобилось время – почти десять лет) и совершилась, наконец, столь долго ожидаемая отмена крепостного права.

Авраам Линкольн прочитал роман Гарриэт Бичер Стоу «Хижина дядя Тома», написанный также в 1852 году (бывают же совпадения!), тоже плакал над романом, после чего (понадобилось время – почти десять лет) и свершилась кровопролитная война Севера и Юга, а затем столь долго ожидаемая отмена рабства – таково мое ощущение этих исторических событий. Да, в истории и политике не принято делать заявления в сослагательном наклонении. А в литературе? В литературе такие расклады и предположения, и даже утопии вполне уместны, а порой необходимы.

Уже в те времена, когда я училась в «Герцена», имя Эткинда – автора книг «Поэзия и перевод», «Разговор в стихах», основателя школы перевода, прославившего институт, было окружено легендами. Наш преподаватель во время войны служил военным переводчиком, но среди студентов существовал миф о том, что он был разведчиком и в форме немецкого офицера запросто являлся к немцам – именно так мы романтизировали его образ. Эткинд вполне соответствовал чеховской эстетике о человеке, в котором всё должно быть прекрасно, но в моих глазах наш преподаватель являл собой ещё и сказочного, бесстрашного рыцаря. Однако же, если оставить его даже и военным переводчиком, что, кстати, соответствовало истине, то разве не восхитительно, что он, этот изысканно красивый, элегантный человек, во время войны переводивший тексты (устные и письменные) о планах противника, его расположении, размещении танков и пр. в этом роде, после войны стал переводить стихи, а потом ещё основал школу перевода, утверждающую максимальное уважение к оригиналу?

Ярким образцом переводов Эткинда является его книга «Маленькая свобода. 25 немецких поэтов за пять веков» с параллельным переводом, составленная в обратном хронологическом порядке, изданная в 1999 году. Дата выхода книги – год смерти Эткинда – свидетельствует о том, что он навсегда остался верен созданной им школе. Цитирую Игоря Полянского («Маленькая свобода», Зеркало Загадок, 8, 1999): «Идея обратного построения антологии возникла у Эткинда более тридцати лет назад. По признанию автора, она восходит ко Льву Толстому, преподававшему историю «от следствий к причинам» (...). При всей точности и адекватности перевода, антология Эткинда по-немецки не случайно названа не «Übersetzung», но «Nachdichtung», то есть дословно «стихотворчество вслед» (...). По-русски – «обратная антология», а по-немецки – «rückläufige», то есть «бегущая вспять». Привожу эпиграф к сборнику:

У Лессинга:

«Wer wird nicht einen Klopstok loben?»

Doch wird ihn jeder lesen? – Nein.
Wir wollen weniger erhoben,
Und fleißiger gelesen sein».

У Эткинда:
«Вы почитаете Клопштока?
Но кто читал его хоть раз?
Не почитайте нас высоко,
А лучше – почитайте нас!»

Я еще в 1964 г. умудрилась, находясь в очереди, протянувшейся вдоль Фонтанки чуть ли не до Невского проспекта, купить билет на спектакль в БДТ имени Горького (теперь имени Товстоногова) «Карьера Артуро Уи» по пьесе Брехта в переводе Эткинда.

Помню, что это было зимой, кругом лежал снег и, когда я стояла у площади Ломоносова и до здания театра оставалось ещё более двухсот метров, ко мне подошла женщина и протянула мне билет. Бывают же чудеса – именно меня женщина выбрала в этом нескончаемом потоке! Спектакль «Карьера Артуро Уи», сыгранный более трёхсот раз – незабываемое событие театральной жизни Ленинграда 60-х годов и, разумеется, моей жизни тоже.

Зал неизменно восторженно реагировал на постановку. На сцену бурными овациями вызывались не только режиссёр и актёры (Артуро Уи играл грандиозный Евгений Лебедев), но также и переводчик пьесы. Эткинд рассказывал, что ему было интересно переводить пьесу, в которой оказалось множество двусмысленных пассажей. Так, например, в одной из сцен к Артуро Уи является ночью призрак убитого им соратника Эрнесто Ромы. Эткинд вспоминал аналогичную ситуацию со Сталиным, убившим своего соратника Бухарина:

«Я другом был тебе, когда ещё
Ты был известен только вышибалам.
Теперь я перешёл в небытие,
А ты на „ты“ с хозяевами жизни.
Предательство возвысило тебя,
Предательство тебя низвергнет. Так же,
Как предал ты помощника и друга
Эрнесто Рому, – так ты всех предашь,
И так же всеми будешь предан сам...»

На одном из первых представлений присутствовал (это было после сенсационной публикации «Одного дня Ивана Денисовича») Александр

Исаевич Солженицын. Он сидел во втором ряду, недалеко от мэра Ленинграда Василия Толстикова, которого не знал в лицо, и так громогласно выражал свой восторг, что Товстоногов и Эткинд, полные дурных предчувствий, уже приготовились к тому, что Толстиков запретит спектакль. Однако – обошлось.

В 60-е годы многие из нас очарованы были лекциями Берковского и Эткинда. Весьма показательна описанная Татьяной Черновой сцена (в статье «Голос Музы, еле слышный» о моей книге «Музы города» в книге «Адреса педагогического опыта», СПб, 2002), характеризующая нашу «сказочную» студенческую жизнь. Так, однажды, после лекции Берковского о новелле «Золотой горшок» мы с Черновой танцевали в аудитории и, как будто играя в новую игру, повторяли таинственные слова из еще не прочитанной гофмановской новеллы: «Серпентина, Серпентина!» Влюблённая в Диккенса, Гюго, Скотта и во всех остальных старых романистов, я всё же втянулась в водоворот событий и восторгов хрущёвской перестройки. Разумеется, Солженицына и Бродского читала и восхищалась. И даже побывала у гроба Ахматовой 10 марта 1966 г. Помню, что в первых рядах была моя однокурсница Таня Латаева, трогательная «литературная» девочка, она держала меня за руку, объясняя, как это важно и судьбоносно.

Когда же Владимир Маранцман повёз нас, студентов, в Ясную Поляну к могиле Толстого, то уже я вынуждена была держать Таню Латаеву за руку: с ней случилось что-то вроде шока – могила Толстого без памятника со свежим холмиком, поросшим молодой травой, производила впечатление недавнего захоронения. Вид скромного могильного холмика волшебным образом «придвинул» к нам Толстого и казалась предвестником чего-то неотвратимого. Эти знаки нашей молодости западали в душу, оставляли след навсегда, но только вряд ли подготавливали нас к полной катаклизмов жизни в будущем.

Я ещё вспоминаю себя, первокурсницу, на Прачечном мосту, в той самой толпе сострадающих Иосифу Бродскому и ожидающих решения суда так, как будто решалась судьба очень близкого мне человека. Слушание дела о «стунейдстве» Бродского состоялось в середине марта 1964 г. в большом зале Клуба строителей на Фонтанке, рядом с домом бывшего Третьего отделения шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Ефим Григорьевич, как известно, на памятное моим современникам судилище был вызван в качестве свидетеля.

Обстоятельства складывались так, что ещё во времена оттепели блистательного Эткинда унижали Власть и Народное Недовольство. Стало быть, грозное будущее на самом деле уже водворилось, «наступили суровые дни» (правда не те, которые имел ввиду Плещеев: Париж беспокойный не волновался, а даже совсем наоборот, то были суровые дни «Современной

идиллии» Салтыкова-Щедрина) но, как это иногда бывает, солнце иногда с опаской, но всё же выглядывало. Мне кажется, что коварство оттепели и состоит в том, что незаметно она отступает. На суде присутствовала публика, не имеющая никакого отношения к литературе, Бродского не читавшая. Рабочие, служащие и даже дружинники выражали Народное Недовольство. У Михаила Голодного (1932): «Суд идёт революционный, Правый суд. Конвоиры песню „Яблочко“ поют».

Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. Эткин... Ефим Гиршевич... Мы вас слушаем.

Так застенографировано Ф. Вигдоровой. Впоследствии выяснилось, что судья прочитала отчество Эткинды не по паспорту (там было Григорьевич), а по другому источнику – из особого отдела филиала КГБ. Воистину, перефразируя Пушкина, можно сказать: *и, в имени твоём звук чуждый невлюбля, своими криками преследуют тебя.*

Эткин, тем не менее, вполне смог справиться с первыми сценами унижения, поскольку главной задачей было – избавить Бродского от судилища. Очень точно заметил о нем Владимир Маранцман: «Кидая в Эткинды камни, ораторы порой опускались до уровня 1937 года. А сам виновник охального торжества не только не каялся, но с вольтеровским остроумием и здравым смыслом русских сатириков сохранял достоинство и недоумевал: «По какому случаю тут?»»

Эткин, как бы не замечая невежества толпы (Пушкин обычно называл её «чернью»), впрочем, можно и процитировать его: «непроницаемый для взгляда черни дикой»), пытался объяснить суду, что Бродский не тунеядец, трудится на литературной ниве, зарабатывая переводами.

«Перевод стихов, – убеждал он суд – труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход – дело далёкого будущего. Можно несколько лет переводить стихи и не зарабатывать этим ни рубля, Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры другого народа – всё это дается далеко не сразу. Всё, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее». Однако приговор был приготовлен заранее. Бродского сослали в отдалённые места сроком на пять лет на принудительные работы. Сбылось предчувствие Ахматовой о судьбе молодых поэтов шестидесятых годов:

«О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе».

«Золотое клеймо неудачи» возникло на челе Бродского. Позднее признание, Нобелевская премия не вернули подорванного здоровья, он умер в Нью-Йорке 27 января 1996 г. в возрасте пятидесяти шести лет и похоронен в Венеции на острове Сан-Микеле.

Такое же «золотое клеймо» обозначилось на челе нашего профессора, спасавшего двух будущих Нобелевских лауреатов – Бродского и Солженицына. В 1974 году в Педагогическом институте им. Герцена при тайном единогласном голосовании коллег Эткинд был лишён всех званий, в том числе и учёного звания профессора. Затем он был изгнан из Союза писателей, где состоял с 1956 г., лишён гражданства и выдворен из страны по сфабрикованному КГБ «делу».

Солженицын, с которым Ефим Григорьевич дружил более десяти лет, и рукописи писателя, которые Эткинд хранил, значились в «деле», как главные пункты обвинения.

В книге «Записки незаговорщика» издательства над собой Эткинд назвал «Гражданской казнью». Мемуары впервые были опубликованы в Лондоне в 1977 г. и мгновенно стали бестселлером. Книгу переиздавали, переводили на другие языки. В Германии книга была переведена на немецкий язык с названием «Бескровная казнь» и имела наибольший успех.

Сейчас, когда я пишу этот очерк, передо мной на столе лежит книга, изданная в России спустя два года после смерти Эткинда, в 2001 г. Именно в связи с выходом книги в 1977 г., говорил Эткинд, сбылось то, что выражено пушкинскими стихами, приведёнными в эпиграфе:

«...И мщенья – бурная мечта
Ожесточенного страданья».

Перечень заграничных почётных званий Ефима Григорьевича свидетельствует о том, как оценены были его заслуги в просвещённом мире: профессор-эмеритус Десятого парижского университета, член-корреспондент трёх немецких академий, кавалер Золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области французского просвещения, доктор honoris causa Женевского университета. Количество научных трудов – более 600. За границей были опубликованы также книги Эткинда: «Форма как содержание: Избранные статьи», «Материя стиха», «Стихи и люди» и другие.

Однако мировое признание не вернуло ему ни покоя, ни удовлетворения, как, подозреваю, не вернули страдальцу Иову покоя и удовлетворения новое богатство взамен старого и другое потомство, взамен бывшего. «Записки незаговорщика», написанные с пронзительным, невероятным для публицистики лиризмом, свидетельствуют о том, что рана его так никогда и

не зажила. Я приведу здесь стихи Эммануэля Гейбеля в переводе Эткинды, которые, по-моему, автобиографичны:

«Видишь – Данте Алигьери, побывал он в безднах ада,
На челе его высоком – гнев и горькая досада.

Столько ужасов он видел, столько скорби душу гложет,
Что, наверно, улыбаться никогда уже не сможет».

Дант, услышав, обернулся: «Разве нужно непременно,
Чтобы позабыть улыбку, опуститься в мрак геенны?

Всё, что пел я, все страдания, боль и ужас нашей жизни,
Видел я на этом свете, во Флоренции, в отчизне».

В 1989 г. Эткинд вернулся в город, «знакомый до слёз». Он был приглашён в наш раскаявшийся «Герцена» и, вероятно, для завершения сюжета, согласился явиться на встречу с бывшими коллегами, причём, в тот самый четырнадцатый корпус на Мойке 48, где пятнадцать лет тому назад преподавал. Самая большая аудитория не вместила всех желающих. Остальные, как говорили, «весь Ленинград», стояли в коридоре. Так произошло покаяние и прощение.

* * *

На этой встрече Эткинд рассказал о Горенштейне, книги которого во Франции имели шумный успех, назвав его крупнейшим русским писателем двадцатого века, «вторым Достоевским». Таким образом, в России Эткинд возвестил о Горенштейне за три года до выхода в Москве в издательстве «Слово» трёхтомника писателя. Ленинградские литераторы хорошо помнят эту часть его выступления и в особенности слова «Второй Достоевский».

Итак, в моём тексте возникает, выдвигается на сцену ещё один литератор, ещё одна очень крупная фигура в истории русской литературы (правда, без Нобелевской премии), спасаемая нашим преподавателем. Эткинды удивило, что произведения мастера не были известны в мире литературно-художественного андеграунда 70-х годов и не появились при советской власти даже в самиздате – об этом он и написал в своей статье «Рождение мастера» в журнале «Время и мы». Эткинд неоднократно пытался исправить ошибку литературного истеблишмента, совершённую с Горенштейном, просчёт (оплошность?), из-за которого в течение двадцати с лишним лет его романы не читал не только широкий, но и «узкий» читатель. Приведу для наглядности характерный пример: роман Владимира Кормера (тоже писателя

трагической судьбы) «Наследство», как и роман «Место» посвящённый тайным организациям хрущёвской оттепели, всё же появился в «самиздате» в 1979 г.

Осенью 1980 г. в Вене Ефим Григорьевич случайно оказался почти соседом Горенштейна – он жил в одной из квартир Венского университета, куда был приглашён читать лекции.

Горенштейн жил на Кохгассе 36, апартамент 23, второй этаж (из Вены писатель через некоторое время сумел переехать в Берлин). При первой встрече известный (легендарный даже) учёный, литератор и поэт-переводчик показался Горенштейну совсем молодым (Эткинду было 62 года). «Содержания беседы не помню, – писал Горенштейн, – но если говорить о моей биографической жизни, то эта исходная точка нашего с Ефимом Эткиндом сюжета была безусловно важна для моего нового биографического времени» (Беседы с Ефимом Эткиндом. Зеркало Загадок, 2000, 9).

Венская встреча и в самом деле оказалась исходной точкой для Горенштейна, поскольку Эткинд старался изо всех сил помочь ему пробиться сквозь дебри литературных препон.

Недоверие к «перемещённому лицу» – обычное явление, в том числе и в Германии. Касается это и издательств. С одной стороны, поэту, художнику, как бы даже положено романтически странствовать, скитаться по свету. Но с другой стороны... С другой стороны, конечно, настораживает, если странствие чересчур затянулось. Тот факт, что в Британскую энциклопедию в свое время не был внесён парижский эмигрант Иван Бунин, Нобелевский лауреат, тогда как Константин Федин, писатель, живущий дома, у себя в России, был туда занесён, весьма показателен. Спустя полвека ситуация писателя-эмигранта мало изменилась.

Недоверие к пришельцу осталось незыблемым. За год до приезда, в 1979 г., роман Горенштейна «Искупление» был переведен на немецкий язык и опубликован в Берлине весьма солидным издательством «Люхтенгарт». Однако талантливого романа оказалось недостаточно.

Необходимо было авторитетное слово. А где же взять такого, безусловно авторитетного человека, который мог бы поручиться за талант, своё веское слово сказать, к которому бы прислушались? Им оказался всё тот же рыцарь литературы, во имя неё неоднократно пострадавший.

Рекомендация Эткинда, наконец, возымела действие. В девяностых годах издательством «Ауфбау» было опубликовано семь книг Горенштейна, издательством «Ровольт» – три. Среди них произведения, написанные уже в Берлине на Эксшештрассе: повести «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детоубийца», несколько рассказов, а роман «Летит себе аэроплан» издавался на немецком языке три раза. О Горенштейне тогда

много писали во влиятельных немецких газетах и журналах, попеременно называя его то «вторым Достоевским», то «вторым Толстым». На смерть Эткинда Горенштейн откликнулся эссе «Беседы с Ефимом Эткиндом», которое ни в коем случае не желал называть «некрологом».

«И вспоминаю последнюю встречу у меня на квартире в Берлине осенью 1998 г. Я по просьбе Ефима читал финальную сцену «В книгописной монастырской мастерской» из моего многолетнего труда «Драматические хроники времён Ивана Грозного». Ефим остался очень доволен финальной сценой. Я помню его слова: «Хорошо, очень хорошо». Был доволен и я. Не то, что я был ориентирован на чужое мнение. В целом я хвалю и ругаю себя сам. Но в данном случае был многолетний, давящий на меня труд, и был Ефим Эткинд, вкусы которого я, несмотря на те или иные разногласия, высоко ценил. Потому так обрадовала меня его похвала, и даже подумалось: Теперь и Ефим взял на себя тяжесть многолетнего моего труда, облегчая мне ношу» (Зеркало Загадок, 2000, 9).

* * *

Летом 2002 г. я посетила мою бывшую преподавательницу литературоведения Дину Клеметьевну Мотольскую (её уже нет в живых), впервые приобщившую меня когда-то на профессиональном уровне к литературе – я уже не говорю о ямбе и хорее, которые научила различать. Сидели мы, единомышленники, за столом – Дина Клементьевна, слепая и почти глухая, моя бывшая однокурсница Рита Заборщикова и я, держась за руки, и говорили только о возвышенном и прекрасном, – о литературе, о высоком её предназначении, и Дина Клементьевна попросила меня рассказать о Горенштейне, которого – она это сама слышала двенадцать лет назад – Эткинд назвал «вторым Достоевским». Зная о дружбе моей семьи с Горенштейном, она хотела, чтобы я рассказывала о нём – образ этого трагического писателя был для неё значим не менее, чем звёзды на небесах. Она просила писать о нём. Дине Клементьевне принадлежит выражение, ставшее обиходным в нашем кругу: «Лучше текст написанный, чем ненаписанный» (я последовала совету Мотольской и впоследствии написала книгу о Горенштейне, уделив в ней значительное внимание Ефиму Эткинду).

Выступление Эткинда запомнилось и другому моему бывшему преподавателю – профессору Владимиру Георгиевичу Маранцману. Он происходил из итальянских евреев, спасшихся некогда от Гарибальди в России. В семье сохранился итальянский язык, и Владимир Георгиевич знал его в совершенстве. Он еще в 60-х годах посещал родственников в Италии, привёз много книг по искусству, а затем проводил с нами, студентами, семинары по истории культуры Италии.

В конце 70-х, когда я уже давно была погружена в семейные заботы, шла я однажды по Казанской улице, и вдруг между колонн Казанского собора увидела Маранцмана в чёрном длинном плаще и чайльдгарольдовской шляпе. Весь вид, подчёркнуто поэтический и одновременно благородный, резко выделял его в пространстве соборной площади у Невского проспекта. Я невольно залюбовалась этим образом законченного романтика среди будничной дневной суеты. И, дабы не нарушить эту красоту, это «итальянское» видение у собора, напоминающего римский собор Святого Петра, я спряталась за одной из многочисленных колонн и долго, с нежностью смотрела вслед удаляющемуся поэту.

В 1999 г. Маранцман опубликовал свой перевод «Божественной комедии» Данте. Это был, кроме всего прочего, и поступок, поскольку после блистательного Михаила Лозинского переводить «Комедию» не осмеливался никто. Возникли вдруг петербургские интриги, автора обвиняли даже в том, что он не знает итальянского языка (то есть второго родного языка).

Эткинд незадолго до смерти прочитал его «Ад» и остался доволен как переводом, так и уникальным комментарием. Маранцман считал себя учеником и последователем Эткинда – сторонником следования оригиналу (ритму, мелодии и сохранению размера стихов). С горечью узнала, что после смерти Маранцмана в Петербурге изымаются из обращения его вольнолюбивые учебники по литературе, созданные в годы перестройки, и предлагаются учебники других авторов. Воспользуюсь случаем, чтобы процитировать отрывок из некролога Эткинду внезапно ушедшего из жизни Владимира Георгиевича Маранцмана, чьи суждения о бывшем коллеге и друге прекрасны и характеризуют его как уникальную личность:

«В Ефиме Григорьевиче жила и эта нежность доброты, и эта дерзость вызова. И поэтому его до самозабвения обожали женщины, что с ними нынче редко случается. Море добрых дел, которыми одаривал Е. Г. Эткинд людей достойных и незначительных, неизмеримо. И это шло не от самолюбивой снисходительности всемогущего мэтра, а от того, что он умел бескорыстно, по-детски радоваться удаче других. Он мог, получив новый перевод, сказать: «Вы – гений». Он мог провожать человека долгим, внимательным, запоминающим взглядом. (...) Смелость его иронии всегда дразнила важных персон. В нём была бесстрашная отвага гасконцев и печальная мудрость библейских пророков, достоинство русского интеллигента и отточенное изящество дипломата».

* * *

Из трёх спасаемых Эткиндом крупнейших русских писателей второй половины двадцатого века (если не бояться преувеличений, то можно сказать

«столпов русской литературы» – Бродского, Солженицына, Горенштейна – благодарным за спасение оказался только Горенштейн, тот самый Фридрих, на которого в русской литературе установился устойчивый дискурс: «трудный, неуживчивый человек». Или же: «неуживчивый человек, оттого и трудности».

Итак, политический скандал вынес Иосифа Бродского на суд высших «литературных инстанций». В 1972 г. Бродский эмигрировал в США, и Нобелевскую премию получал уже как гражданин Соединенных Штатов. Людмила Штерн в своих воспоминаниях сообщает, что впоследствии Бродскому невыносима была мысль, что травля, суды, психушка, ссылка – именно эти гонения на родине способствовали его взлёту на недостижимую вершину славы. Он даже отказался от общения с одним из своих заступников Ефимом Эткиндом после выхода в 1988 г. его книги «Процесс Иосифа Бродского». Увы, Эткинд рассказывал мне то же самое.

После публикации «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» советская печать в застойные годы не издавала Солженицына. Уместно в контексте данного очерка вспомнить, что литературный редактор судьбоносного тогда журнала Анна Берзер «Ивана Денисовича» сумела «протолкнуть» (как потом стало известно, повесть Солженицына была опубликована ещё и по личному распоряжению Хрущёва), а спустя три года «Зиму 53-го года» – «протолкнуть» не смогла. Горенштейн, работавший после Горного института на шахте и ставший жертвой обвала, в своей повести со всей очевидностью полемизировал с солженицынской повестью: труд советского человека иной раз несколько не лучше подневольного каторжного труда в сталинских лагерях. Положение, в котором находился главный герой повести Ким, сын «врага народа», ничуть не лучше положения Ивана Денисовича. Более того, в то время, как у Ивана Денисовича остаётся хотя бы надежда выжить и освободиться, «свободный» Ким знает, что надежды нет – «освободиться» можно либо в лагерь, напрямик к Ивану Денисовичу, либо в смерть, что, собственно, и произошло, когда исчезла последняя опора жизни – любовь к ней. Во вступительной статье редактора «Нового мира» тех лет Инны Борисовой (она была другом Фридриха Горенштейна) к книге Анны Берзер «Сталин и литература» (А. Берзер. Сталин и литература. Звезда, №11, 1995) рассказывается о скандале, возникшем в «Новом мире» в связи с тем, что Анна Самойловна приложила максимум усилий для того, чтобы опубликовать «Зиму 53-го года». «Ей не удалось опубликовать повесть Фридриха Горенштейна „Зима 53-го года“. Эта история едва не окончилась уходом её из журнала. Но Твардовский её не отпустил».

Произведения Солженицына публиковали за границей, и это не нравилось советскому руководству. В 1969 г. Солженицына исключили из Союза

писателей, а в 1970 г. «Архипелаг Гулаг» был удостоен Нобелевской премии. Солженицына и Эткинда шельмовали параллельно и почти одновременно отправили за рубеж в 1974 г. Солженицына в феврале доставили самолетом в ФРГ, Эткинда в апреле буквально выгнали по израильской визе, что заведомо должно было его лишить диссидентских привилегий. Солженицын вспоминал: «Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... только он ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу». У Эткинда были приглашения нескольких заграничных университетов. Он пытался выехать на два года, с советским паспортом, как М. Растропович, В. Максимов, В. Некрасов. Но ему ответили, что для него возможен только один выезд – через Израиль, то есть с потерей подданства. Горенштейн, выехавший, так же, как и Эткинд, без заграничного паспорта писал: «Таким образом, мне пришлось ехать рядовым эмигрантом-евреем» (курсив мой, М. П.). В октябре 1996 г. мы вчетвером (Фридрих Горенштейн, я с мужем Борисом Антиповым и сыном Игорем Полянским, главным редактором «Зеркала Загадок») побывали в гостях в Потсдаме у Эткинда и его жены Эльки Либс-Эткинд (германиста, профессора Потсдамского университета; они были женаты уже три года). Эткинд тогда уже публиковался в нашем журнале. Так, в «Зеркале Загадок» были напечатаны две его значительные работы: «Русская литература и свобода» и «Две еврейские судьбы. Читая дневники Виктора Клемперера». Мы сидели на балконе за небольшим круглым столом, и Фридрих впервые признался, что оплакивает своих умерших героев. Впоследствии мне довелось самой видеть, как писатель оплакивал – по лицу его текли слёзы – смерть одного из героев только что написанной им пьесы: это были слёзы по Василию Блаженному.

На балконе у Эткинда, на фоне старой липы с могучим стволом и ветвями, осыпанными золотыми осенними листьями, легко рассказывалось о тайнах творчества. Фридрих говорил, что по мере приближения конца произведения, понижается «статус» писателя по отношению к созданным образам, и, наконец, он перестаёт быть творцом. И тогда появляются слёзы. Эткинд переводил рассказ Фридриха о проливаемых слезах Эльке, и эта исповедь произвела на неё большое впечатление.

В тот вечер Эткинд рассказал нам о заявлении Солженицына: «И надо же мне было до такой жизни дойти, что я вынужден был принимать помощь у еврея!» То есть у Эткинда, который из-за Солженицына был отторгнут от России. Цитирую Солженицына: «Даже в Таврический дворец – посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурления – категорически отказано было мне пройти. И если попал я туда весной 1972 г. – русский писатель в русское памятное место при „русских вождях“! – то риском и находчивостью

двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...» (Новый мир, 1991, 12).

В рассказе «Русский писатель и два еврея» Эткинд подвёл печальный итог «неотрицаемой» дружбе: «Странно, что Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала автора „Ивана Денисовича“ Нобелевской премией, помогла ему преодолеть изгнание и победителем вернуться в Россию».

* * *

Вечером 22 ноября 1999 года в Потсдаме на 82-м году жизни после тяжёлой операции скончался последний из плеяды русских просветителей, замечательный поэт-переводчик Ефим Эткинд.

Тело его было кремировано. Мне неизвестно, почему и кем было принято решение о кремации, противоречащее как еврейским, так и христианским традициям, но очевидно, что принятие такого решения было сопряжено с трудностями захоронения Эткинда рядом с первой женой, погребённой во Франции. Мне (а также моему мужу Борису Антипову и сыну Игорю Полянскому) довелось вместе с Фридрихом Горенштейном и Шимоном Маркишем присутствовать на траурной церемонии и поминках, состоявшихся в его потсдамской квартире. Урна с прахом затем была перевезена в Бретань, в селение Ивиньяк и захоронена рядом с первой женой Ефима Григорьевича Екатериной Федоровной Зворыкиной, которая, по его собственным словам, разделила его судьбу. Горенштейн за три года до собственной кончины писал:

«Я пишу „Ефим“, ибо сам Ефим Григорьевич попросил так себя называть, хотя нас разделяло солидное временное пространство. А теперь нас разделяет солидное географическое пространство. Где эта земля Элизиум – Елисейское поле Гомера? Если верить Гомеру, то на западном краю Земли, на берегу Океана. И теперь уж придётся беседовать с Ефимом Эткиндом только там, на гомеровских Елисейских полях. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краёв – большая для меня личная потеря».

Бродский, Эткинд, Горенштейн, Солженицын – все они ушли из жизни. Полное безусловное признание в России и главные почести выпали на долю Александра Исаевича Солженицына. В Москве создано солидное учреждение «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына», творчество его изучают в школе, так же, как и творчество Гоголя и Достоевского – он объявлен классиком. Изучаются три произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и в сокращённом варианте «Архипелаг Гулаг». Именем его названы улицы многих городов – всего не перечсть. Воистину пророческим

оказалось его шуточное конспиративное имя, бытующее в среде друзей Эткинда «ВПЗР». Что означало: Великий Писатель Земли Русской.

Иосиф Бродский принят новой Россией, разумеется, не с таким почётом, как Солженицын, но всё же – принят. Признанным, уважаемым литератором является Ефим Эткинд (несмотря на унижительные процедуры возвращения ему регалий в нашем «Герцена» в 1989-м и 1994-м гг. – это отдельная, другая история). Архив его находится в петербургской Российской национальной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Петербурге в Европейском университете учреждена Международная премия имени Ефима Эткинда.

Но по-прежнему с трудом протискивается в Россию Фридрих Горенштейн. «Возможно, со времён Бунина страну не покидал писатель столь крупного дарования, – писал Юрий Клепиков, – сомнительное утверждение? Никому не навязываю. Не упушу упомянуть об одном совпадении. Оба стали эмигрантами в сорок восемь лет. Возраст могучей творческой зрелости.

Разность в реальном положении чудовища по своему драматизму. Бунин европейски известен, академик словесности, автор не один раз изданных собраний сочинений. Горенштейн опубликовал за двадцать лет работы один-единственный рассказ. А его романы, повести, пьесы, способные составить большое имя, спрятаны в сундуке. Не знаю, как всё это оказалось на Западе. Легко догадаться, скольких седых волос это стоило писателю» (Октябрь, 2002, 9).

Между тем, тяжёлый маятник часов качается из стороны в сторону, отбивая неумолимые удары, наперекор превратностям судьбы, а друзья писателя, вдохновившие меня на создание книги «Я – писатель незаконный...» (во втором издании – «Плацкарты и контрамарки», третье с названием «Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне») выйдет впервые в России в конце 2010 года), всё ещё ожидают чуда нового рождения Фридриха Горенштейна.

Возникает вопрос: а как к возвращению творчества Горенштейна в Россию относится «Дом Русского Зарубежья имени Солженицына» и в особенности его Отдел литературы и печатного дела Российского Зарубежья, собирается ли проявить инициативу? Разумеется, не всё могут знать учреждения. Могут и не знать.

«Способ, как творил Создатель,
Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета о печати».

А. К. Толстой, конечно, прав: не всё могут знать люди и учреждения. Однако, заглянув на сайт «Дома Русского Зарубежья» и ознакомившись с его

деятельностью, охватывающей и курирующей русскую культуру чуть ли не всего земного шара, усомнилась я в их неосведомленности и заподозрила в тенденциозности, ибо размах деятельности учреждения напоминает даже и тютчевскую «Русскую географию»:

«От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...»

Если бы знать, как взирает на всё это мой любимый литератор Ефим Эткинд с Елисейского поля Гомера, что на берегу Океана с его неумолчным шумом неистовых волн, напоминающим о первобытном хаосе? Может быть, что-то нашёптывает ему Океан? Доволен ли, или же недоволен плодами трудов своих и страданий, или что-то тревожит его в распределении регалий для крупнейших русских литераторов, изгнанных из Советской России?

И утешеньем служит мне надежда – в иных мирах для лучших из лучших всё же есть «литературный» уголок, где все равны перед законами искусства. Его узрел в своих видениях Данте. Это – «novile castello», благородный Лимб. Там автор «Илиады» всегда держит в правой руке меч, символ первенства в эпической поэзии.

«Гомер – монарх поэтов многолетний,
сатирик наш Гораций вслед идет,
Овидий – третий и Лукан последний.
И каждый имя гордое несёт».

*Из перевода
русского интерпретатора «Комедии»
Маранцмана.*

Великолепная перспектива для истинного литератора: беседа благородных теней в благородном замке, там, где завтрашний день неотличим от вчерашнего, или же от сегодняшнего. Дискуссия о сущности истинного искусства, которой не будет конца. Занавес.

ГРЕТА ИОНКИС

ГЛАЗА КЛАРЫ ШЕР

Бывая в Бад-Киссингене (некогда это был знаменитый курорт и резиденция Бисмарка), всегда захожу в уцелевший дом еврейской общины. Здесь в 1959 году усилиями Йозефа Вайслера был создан маленький молитвенный зал. Многие недоумевали: «Зачем? Для кого?» Ведь евреев здесь не было с тех пор, как бургомистр города отрапортовал 29.05.1942, что Бад-Киссинген «*Judenfrei*» («Свободен от евреев»). Но времена меняются, и десять лет назад этот отремонтированный зал был торжественно открыт как синагога имени Вайслера. Прежняя, большая синагога, разгромленная в ноябрьскую ночь 38-го, была взорвана нацистами. Это единственное разрушенное здание в городке, который союзники не бомбили.

В Еврейском доме внимание привлекает выставка «Евреи Бад-Киссингена». В 1988 г. её подготовили и организовали старшеклассники местной школы под руководством учителя-энтузиаста. Две недели она проходила в ратхаузе, вызвав большое волнение и неоднозначную реакцию местного населения. Затем её разместили в четырех комнатах Еврейского дома, и она стала маленьким музеем, открытым для посетителей.

Каждый раз, когда я появлялась там, меня встречали и провожали глаза Клары Шер. Её фото висит в простенке коридора. Экспонатов на выставке много. Можно удивляться дотошности и тщанию немецких школьников, по крупицам собравших этот материал.

Евреи в Бад-Киссингене обосновались давно. В двух шагах от Еврейского дома находится средневековое еврейское гетто (*Judenhof*). Здесь, за его воротами, жили до 1813 г. евреи, взятые под защиту местным властителем. Равные права с немцами евреи Баварии получили в 1871г. В годы Веймарской республики они составляли 5% городского населения. Клара Шер была одной из пятисот евреев Бад-Киссингена.

Большая часть их занималась обслуживанием туристов и курортников. Были среди них и врачи, имеющие свою практику. На ратушной площади до сих пор стоит дом Макса Киссингера, крупного торговца текстилем. Из этой семьи вышел Генри Киссинджер, бывший государственный секретарь США. Внимательно рассмотрев фотографии выставки, я потом легко узнавала эти еврейские дома, гуляя по улицам: вот галантерейный магазин Хайманса, вот банк Лёвенталья, вот вилла Гляйснера, отель-пансион Йейдля, Дом моды Эрлиха, дом придворного ювелира Симона Розенталя... Клара Шер принадлежала к менее состоятельной среде. Её родители переехали в Германию из Вильно, где она родилась в 1894 году. Они поселились вначале в

Вюрцбурге, а затем в Бад-Киссингене. Было это в 1903 году. Отец открыл своё дело. После смерти матери Клара вместе с отцом руководила предприятием.

С приходом нацистов к власти, после принятия в сентябре 35-го антиеврейских нюрнбергских законов и следующих один за другим приказов об ограничениях в правах, после множества антиеврейских акций в этом курортном городке, 123 еврея эмигрировали, а 143 переехали в другие города Германии. Среди эмигрировавших был местный кантор и учитель Людвиг Штайнберг со своим пятнадцатилетним сыном Хансом, который в 1988 г. станет Нобелевским лауреатом в области физики. Сейчас его имя носит местная гимназия, но в ней давно нет учеников-евреев.

Клара Шер не покинула город, но дело вынуждена была закрыть. Похоронив отца (на кладбище можно видеть и могилы семьи Киссингер, их памятники обновлены заботами родственников), она стала работать в еврейских домах. Но вот уже те, кто мог себе позволить иметь прислугу, покинули город. Ей было некуда и не на что уехать. Некоторое время, пристроившись к одному торговцу-еврею на рынке, она распродала свои вещи и этим жила. Но в 36-м ему было велено очистить место.

Арестована она была по ничтожному поводу. 14 мая 1940 г. Клара осталась перед газетной витриной и стала переписывать опубликованное в газете стихотворение Стефана Цвейга, которое, как она позже объясняла, ей очень понравилось и было созвучно её душе. Она не отреагировала на замечания прохожих, которые требовали, чтобы она убиралась отсюда. На основании их жалобы группенляйтер НСДРП при полиции города зафиксировал случай и потребовал «поставить на место эту Шер», чтобы она никому здесь впредь не мешала. В протоколе допроса её поступок вырос в преступление, после чего её препроводили в гестапо Вюрцбурга. Напрасно она оправдывалась, что не знала запрета останавливаться перед газетными витринами, и заверяла, что это никогда не повторится. 30 ноября 1940 г. она была отправлена в Равенсбрюк.

Если кому-то трудно поверить в вероятность происшедшего, советую ознакомиться с дневником Виктора Клемперера, немецкого филолога еврейского происхождения, который пережил чёрные годы нацизма и с риском для жизни вёл дневник, записывая «только самое ужасное, фрагменты безумия, в которое мы все погружены». Свою книгу он назвал «Свидетельствовать до конца». И вот среди многих свидетельств – список издательских постановлений, которые, как удавка, затягивались на шее еврея. В этом списке – 31 пункт. За пятым номером значится запрет выписывать или покупать газеты. Так что Клара Шер была наказана «по заслугам».

Известно, что Клара Шер скончалась в концлагере от диабетической комы и сердечной недостаточности 28.02.1942 г. Среди экспонатов выстав-

ки – письмо из гестапо Вюрцбурга в Страсбург: «Прошу сообщить Сарре Анне Бердичевской, проживающей в Страсбурге (адрес неизвестен), что она может получить урну с прахом сестры, уплатив соответствующий сбор». Оказывается, еврейским пеплом ещё и приторговывали.

Вскоре после гибели Клары 25.04.1942 всех оставшихся евреев Бад-Киссингена отправили в Вюрцбург, а оттуда по «крутому маршруту» в Избицу (Польша, близ Люблина). Никто из них не уцелел. Кое-кто из стариков, не дожидаясь депортации, покончили с собой. Среди них – Отто Гольдштайн. Мы видим его на фото среди пяти исполненных самоуважения и достоинства членов «Имперского союза еврейских фронтовиков», одетых в парадную форму. А затем приводятся его предсмертные стихи «Моя последняя песня». Стихи бесхитростны, каковой была и жизнь этого еврея, пошедшего добровольцем на первую мировую войну, пролившего кровь за родной «*Vaterland*», верно служившего рейху, и считавшего себя преданным немцем, а ныне потерявшего честь свою, и свободу, и превратившегося в «еврейскую свинью».

Глаза Клары Шер меня не отпускают, они смотрят с тревожной настойчивостью, словно следят за мной. Судьба этой незнакомой женщины, обыкновенной, каких было тысячи, отнюдь не героини, пересеклась с судьбами моих погибших родственников. Они смотрят на меня с фотографий семейного альбома: двадцатилетний студент-красавец Илюшенька, сложивший голову во время Керченской операции; подростки Мусинька и Греточка, сёстры-погодки 14-ти и 15-ти лет, расстрелянные в Ростове в Змеевской балке; исполненная тихого счастья немолодая супружеская пара с трёхлетним сынишкой, которого они выпросили у Бога, не ведая, что скоро им всем суждено упасть мёртвыми или полуживыми в глубокий ров на окраине их родного Бердянска; глаза моей бабушки Ривы, умершей от тифа в 1943 г. в эвакуации. Кроме бабушки я никого не знаю, но храню их фото – пусть живут в памяти. Пока кто-то помнит хотя бы их имена, они не ушли в небытие. Однако выражение их лиц не сравнить с той мукой, которая застыла в глазах Клары Шер. Они ведь ещё не знают своей страшной судьбы, а эта мученица истерзана многолетним смертельным страхом, голодом и ежечасным унижением. Снимок сделан в гестапо.

Покидала я выставку с тяжёлым сердцем. Согривало только одно – благодарное чувство к незнакомым немецким школьникам и их учителю. Я понимаю, что двигало ими. Они-то неповинны, на них нет еврейской крови, но им выпало на долю по вине отцов и дедов смотреть в глаза Клары Шер и отвечать на её немые скорбные вопросы. Многие сегодня норовят отвести взгляд, но эти мальчики заглянули в бездну человеческого страдания. Возможно, таких немецких школьников немного, но они – совесть Германии.

Я уходила, а Клара Шер смотрела мне вслед. Обернувшись, я пообещала: «Я напишу о тебе, Клара!»

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ХАИМА (ВИКТОРА) АРЛОЗОРОВА

Фланируя в Тель-Авиве по улице Арлозорова в свой первый приезд в Израиль, понятия не имела, в честь кого она названа, но отметила звучность имени, не подозревая, что придётся ещё с ним встретиться. В поисках материалов о жизни и деятельности Арлозорова то и дело наталкиваешься на статьи и заметки о его любовных отношениях с Магдой Геббельс. Шум и гам сенсации заглушают гул времени, она заслоняет и саму личность Арлозорова. А личность была выдающаяся. После гибели вышло 7 томов его сочинений – памфлеты, статьи, письма; последний том составили стихи.

Назад к истокам

Родился Виктор Арлозоров в 1899 году в городке Ромны, что под Сумами. Дед его был известным раввином. В страхе перед погромами семья в 1905 году эмигрировала вначале в Кёнигсберг, затем переехала в Берлин, где он блестяще окончил гимназию им. Вернера фон Сименса. Когда грянула первая мировая война, Виктор пошёл записываться добровольцем. Он был рослым и крепким, но всё же подростком, и его не взяли.

Примерно в это время у него пробудился интерес к еврейству, он начал изучать иврит и создал молодёжную сионистскую группу, устав которой чем-то напоминал скаутский. Подростки совершали марш-броски, ходили в походы с ночёвками, были и песни у костров, и купанье в озёрах и речках и бесконечные разговоры о далёкой и манящей Палестине.

В школьном сочинении он пишет: «Я еврей и горд этим. Я не чувствую себя вполне немцем и никогда этого не скрывал. Я ощущаю, что во мне живёт так много Востока, так много раздвоенности и притом стремление к цельности, чего нет у немца».

«*Еврейский народный социализм*» – так называлась первая серьёзная работа Арлозорова. Ему было 19 лет, когда он написал её и опубликовал в 1919-м в Берлине, посвятив памяти отца. В Кёльнской библиотеке в отделе «Иудаика» хранится один из немногих уцелевших экземпляров этой книжечки, в ней 72 страницы. Раритет нельзя не только вынести, но даже ксерокопировать. Листаю пожелтевшие зачитанные страницы, делаю выписки.

Юный Арлозоров полемизирует с Марксом: «Нет, не исторический материализм, а национальный идеализм высочайшего напряжения может стать в еврейском народе источником силы, которая окажется достаточно

мощной и способной создать в Палестине условия для полного, нормального и свободного развития еврейских рабочих масс».

Далее он пишет о том, что еврейский труд, который проявится во всем, что евреи упорядочат и создадут в Палестине, есть первая и важнейшая предпосылка для нашего собственного социального и духовного возрождения. Подобно Жаботинскому, он считает, что создание еврейского большинства в стране есть первейшая национальная необходимость. Иврит должен стать языком еврейской повседневности, точно так же как он до сих пор служил еврейской духовной жизни.

В 1918 г., будучи студентом Берлинского университета, где он изучал экономику и право, Арлозоров уже активно участвовал в партийных дискуссиях. Он разделяет позиции социал-демократов, он – страстный сионист. Он даже изменил имя, теперь, он – Хаим. Арлозоров вступил в немецкое отделение партии Ха-поэль ха-цаир и быстро стал лидером. В памфлете «Еврейский народный социализм» он пишет, что его партия стремилась не только успешно объединять еврейских рабочих, которых в Германии тысячи, но и вовлечь в сионистское движение молодые силы.

Он касается вопросов тактики организационной работы; намечает пути соединения западного и восточного еврейства: «Мы готовим всемирную сионистскую народно-социалистическую организацию во всех странах Галута, во всех уголках, где пульсирует еврейская жизнь». Важными положениями памфлета были утверждения, что их социализм не исходит из интересов одного класса, средства их борьбы – это никак не стравливание классов, а цель – отнюдь не достижение господства одного класса. Иначе говоря, Арлозоров отверг тезис о диктатуре пролетариата. В 1920 г. он был выбран от своей партии представителем на Сионистскую конференцию в Лондоне. «Восходящей звездой еврейской политики 20-х – начала 30-х годов» назовёт его Голда Меир.

Роман с дьяволицей

Виктору было 15 лет, когда он познакомился с Магдой Фридендер (она приняла фамилию отчима-еврея, который обожал Магду, баловал её, поощрял её занятия балетом). Она училась в одном классе с сестрой Виктора и часто бывала в их доме. 13-летняя Магда влюбилась в Виктора, вступила в его сионистскую группу и вместе со всеми, с тяжеленным рюкзаком за плечами, отправлялась в походы по Германии. Через год она уже носила на цепочке магендавид – золотую шестиконечную звезду. С этим подарком Виктора она не расставалась много лет. Об истории их любви можно прочитать в книгах Анны М. Зигмунд: «Женщины нацистов» и Анны Клебонд: «Магда Геббельс».

Её подруга говорила, что Магду всегда привлекали мужчины целеустремлённые и решительные. Арлозоров принадлежал к этому типу. Магда вполне могла стать убеждённой сионисткой, уехать с Арлозоровым в Палестину и там с оружием в руках защищать свой киббуц от арабов. Но Хаим не позвал её с собой, в Палестину он уехал со студенткой-медичкой Симой, она и стала его женой. Однако отношения с Магдой не прекратились.

Она вышла замуж за миллионера Квандта. Он был много старше, но имя его значило почти то же, что в XIX веке имя Ротшильда. Она родила сына, но с Хаимом продолжала изредка встречаться. В письмах она называла его «студент Ганс». Квандт обнаружил письма, последовал развод. Но Магда не оказалась на панели, как грозил ревнивый супруг. Она нашла его любовные письма и предъявила их суду, так что отвоевала часть огромного состояния.

Встречи Магды и Хаима продолжались, когда она стала женой будущего министра пропаганды Третьего рейха. В дневнике Геббельса есть о том запись от 12.08.1931. Конечно, «сморщенный ариец» не мог сравниться с красавцем Арлозоровым, к тому же тот был её первой любовью. Но Магда всегда предавала тех, кого любила. Так что распорядок действий, как сказал поэт, был расчислен...

Арлозоров и сионистское рабочее движение

Сионистские рабочие организации, партии, молодёжные и поселенческие объединения возникли в начале XX века, но поначалу не играли решающей роли в руководстве сионистским движением. 1920 год стал переломным, именно тогда различные рабочие организации слились во Всеобщую федерацию еврейских трудящихся Эрец-Исраэль – *Гистадрут*. Под руководством Бен-Гуриона и Б. Кацнельсона *Гистадрут* объединил в своей деятельности профсоюзные функции с организацией социальных услуг и даже функции обороны. В его рамках была создана *Хагана* – подпольные вооружённые силы, составившие после создания государства основу *Цахала* – Армии Обороны Израиля. Постепенно *Гистадрут*, это «рабочее государство», по словам Бен-Гуриона, обрстая кровью и плотью, превратился в один из главных факторов заселения страны, определяя место создания новых поселений, величину денежных ассигнований и нормы распределения рабочей силы. Руководство *Гистадрутом* осуществляли лидеры социалистических партий.

В 1924 г., получив докторскую степень, Виктор Арлозоров приезжает в Эрец-Исраэль и начинает активно работать в *Va'ad Leumi* – представительном органе *ишува* (еврейского населения Палестины). Этот орган тесно сотрудничал с исполнительным комитетом Всемирной сионистской организации и с Еврейским Агентством (*Сохнотом*). Арлозоров представлял *ишув* в отношениях с мандатными властями и арабскими лидерами, а также ведал

некоторыми внутренними делами. Пытливый ум Арлозорова, талант публициста и оратора получают признание, и в 1926 г. он уже представляет *ишув* в Постоянной мандатной комиссии Лиги Наций в Женеве. В этом же году он сопровождает Хаима Вейцмана в США для укрепления сионистских связей с тамошними организациями (повторно они ездили туда в 1928-29 гг.).

В августе 1929-го Арлозоров присутствовал в Цюрихе на учредительном собрании *Еврейского Агентства*, там оказались все лидеры мирового еврейства. В числе делегатов – Альберт Эйнштейн, Хаим Вейцман, будущий премьер-министр Франции Леон Блюм, Бен-Гурион, американский юрист и общественный деятель, основатель «Джойнта» Луи Маршалл, барон Мелчетт, британский политик и промышленник, один из богатейших людей Англии... И Хаим Арлозоров – один из них. Он и впрямь пронёсся, как комета, на политическом горизонте.

Когда в 1930 г. его партия *Ха-ноэль ха-цаир* объединилась с партией Бен-Гуриона *Ахдут ха-авода*, образовав *Манай* (Рабочую партию Палестины), Арлозоров стал одним из главных её идеологов. Он давно понял, что нельзя замыкаться в пределах одного класса, так появился лозунг «от класса – к нации». Не без его влияния *Мапай* становится вполне прагматичной партией. На 17-м Сионистском конгрессе (Базель, 1931г.) Арлозоров был избран членом правления Всемирной сионистской организации и её исполнительного органа – Еврейского Агентства, в котором он возглавил политический отдел (пост министра иностранных дел ещё не созданного государства). Политический отдел находился в Иерусалиме. Подобно Вейцману, он умел находить общий язык с английским правительством и агитировал за сотрудничество с ним. Между ним и высшими чинами мандатной администрации в Палестине установились тёплые дружеские отношения, что многих раздражало.

Он не боялся противоречить властному Бен-Гуриону. Когда тот на заседании совета партии *Манай* призвал к восстанию против «кровавой британской империи», Арлозоров беспощадно раскритиковал его позицию. Под натиском критики Бен-Гурион отступил. Он признавал огромный политический потенциал Арлозорова.

Когда Гитлер пришёл к власти, Арлозоров утратил привычное спокойствие. Он разработал план, целью которого было создать возможность для срочной массовой эмиграции в Палестину немецких евреев и их имущества («трансфер») с помощью особого финансового учреждения.

На первых порах нацисты разрешали эмиграцию, и Арлозоров спешил. Однако его план встретил противодействие: как можно протягивать руку Гитлеру? Но он всё же отправился в Германию с твёрдым намерением прийти к соглашению с германским правительством и выполнить свой план. По возвращении местные газеты (особенно старались ревизионисты) вылили

на него ушат помоев, а одна открыто угрожала в день его предстоящего убийства «красному дипломату-манайнику, ползавшему перед Гитлером на четвереньках».

Убийство Арлозорова и дело Ставского

В пятницу 16 июня 1933 г. Арлозоров с женой после ужина в тель-авивской гостинице «Кетэ Дан» спустились с веранды к морю и медленно пошли вдоль берега. Звёзды висели низко, но тьму не рассеивали. Сима заметила силуэты двух мужчин, которые то следовали за ними, то обгоняли, и обратила на это внимание мужа. Хаим не обеспокоился, но вскоре они повернули назад, в сторону Тель-Авива. Двое неизвестных оказались перед ними. Один, высокий, осветил фонариком лицо Арлозорова и спросил, который час. В этот момент Сима заметила в руках у второго пистолет, направленный на мужа. Грянул выстрел, Арлозоров упал, а двое растворились во тьме.

На второй день весть об убийстве видного лидера сионистов-социалистов разнеслась по Эрец-Исраэль, а затем докатилась до евреев диаспоры. Первая версия: «убийцы – арабы» – была отброшена, сразу заговорили о политическом убийстве. Бен-Гурион, глава рабочей партии, находившийся в этот момент в связи с избирательной кампанией в Восточной Европе, узнав об убийстве, потерял сознание. «Арлозоров был одарён всеми талантами и свойствами, какие необходимы политическому деятелю вообще, и еврейскому политическому деятелю в частности», – скажет о нём Бен-Гурион, придя в себя. Он поддержал версию политического убийства: его совершили якобы их политические противники, классовые враги, сионисты-ревизионисты, возглавляемые Жаботинским. На этом стояли все левые силы, в том числе члены *Гистадрута* и партии *Манай*.

Уже через несколько дней после убийства были арестованы доктор А.Ахимеир, издатель газеты ревизионистов, и два члена партии – бейтаровец Ц. Розенблат и А. Ставский. Ещё до суда сотни газетчиков публиковали «доказательства» их «вины». Лидеры ревизионистов не без оснований называли развязанную против них кампанию «кровавым наветом». Суд признал вину Ставского, приговорив его к повешению, двоих сразу же освободили. В дни судебного разбирательства было немало случаев насилия, вплоть до кровопролития. Страсти бушевали, население было на грани гражданской войны. Верховный суд почти год рассматривал дело Ставского и оправдал его за недостаточностью улик.

Передо мной книга, изданная в Иерусалиме в июле 1934 г. на английском языке «Судебное дело об убийстве Арлозорова. Речи и судебные документы». Большую часть в ней занимает речь английского адвоката Ставского, нанятого Жаботинским, Хораса Самюэля, который и добился оправдания

подзащитного. Там же в приложении есть протоколы допросов задержанного палестинской полицией семнадцатилетнего механика из Яффо Абд-эль-Маджида, который вначале признался в убийстве, но позднее отрёкся от своих показаний.

«Дело Ставского» стало кошмаром для евреев всего мира. Пока длился процесс, Жаботинский написал 30 статей и заметок, протестуя, прежде всего, против стремления своих противников, поймав одного «подозреваемого», возложить вину на всех, и против их «доказательств» о существовании в среде ревизионистов фашистских тенденций. В защиту Ставского выступили известные личности: представитель религиозного сионизма раввин Кук, журналист и издатель Бен-Цион Кац (публикатор «Сказания о погроме» Х.-Н. Бялика), И. Равницкий, основатель и бессменный руководитель на протяжении 20 лет одесского издательства «Мория», писатель и публицист Моше Смилянский, литератор А. Друянов и другие.

Процесс над Ставским оставил у многих тяжёлый осадок. Несомненно, он повлиял на ход выборов, обеспечив победу Бен-Гуриона. Убийство Арлозорова ещё больше раздуло огонь ненависти между Рабочей партией и ревизионистами. На 18-м Сионистском конгрессе (Вена, 1933 г.) большинство сионистов-социалистов отказались от сотрудничества с сионистами-ревизионистами. Евреи дрались между собой в то время, когда реальный их враг – германский нацизм – уже во всю играл мускулами. Жаботинский интуитивно чуял запах, если не газа, то крови.

Не только жизнь, но и смерть Хаима Арлозорова оставили глубокий след в истории сионистского движения. Его убийцы так и не были пойманы. В 80-е гг. возникли предположения о причастности к убийству члена коммунистической партии Палестины. Но никому не пришло в голову искать убийц в ином месте. Лишь в XXI веке заговорили о «руке Берлина», исходя из связи Арлозорова с «первой дамой рейха», о чём раньше в еврейских кругах предпочитали молчать. Между тем, Магда Геббельс, чтобы доказать свою преданность партии и лично фюреру, решила, искупая грех молодости, принести в жертву своего возлюбленного. До этого она без колебаний «сдала» отчима-еврея, искавшего по наивности её затупничества и погибшего в концлагере. Магда вызвала «студента Ганса» на свидание. Оказавшись на «явочной квартире», Арлозоров понял, что попал в засаду, но сумел скрыться и покинуть Германию. Агенты гестапо получили задание: устранить еврея – любовника образцовой немецкой жены и матери, которой покровительствовал сам фюрер. Конец Арлозорова был, видимо, и впрямь неотвратим.

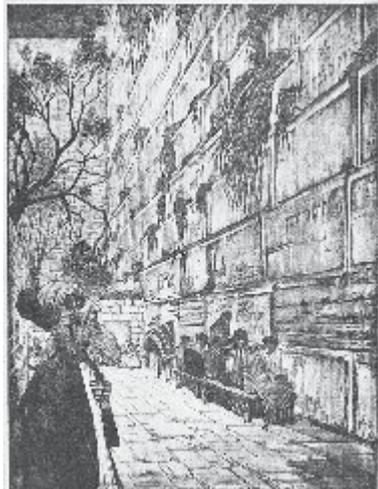
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

ЭФРАИМ МОЗЕС ЛИЛИЕН

Заметки о художнике



Е. М. ЛИЛИЕН.



Более полувек прошло с тех пор, когда я впервые увидел работы этого художника. Однажды в букинистическом магазине, мой взгляд привлекла книга с необычным для того времени названием «JUDA», изданная в неизвестном мне городе Госларе в 1900 г. На титульном листе значилась фамилия иллюстратора – Лилиен. Время не смогло удалить из памяти это имя. Но, увы, ни в одном из словарей или справочнике, доступных мне, это имя не значилось. Уже живя в Берлине, мне удалось многое узнать о художнике. Репродукции его работ, статьи о его жизни и творчестве редко, но встречались. При подготовке книги, которая лежит перед вами, уважаемые читатели, мы решили, предложить их вашему вниманию.

Итак... Лилиен был ярким представителем стиля в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве в начале XX века, означенного несколько позднее, как «Югендстиль» искусствоведами в Германии, во Франции – «Арт нуво».

В этих кратких заметках не стоит углубляться в причины возникновения этого стиля, в его принципы и задачи. Однако, необходимо заметить, что этот стиль был откровенным преемником затухающего в Европе модерна, апологетом которого был гениальный юноша – Обри Бердслей (Aubrey Beardsley).

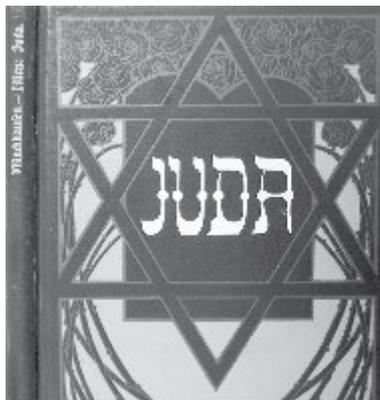
Новый стиль несколько модифицирован: обобщены приёмы и находки модерна, введены в графику цвет (иллюминированы

композиции, в основном, акварелью), усложнены декоративные элементы, часто в рамки собраны сюжеты.

Первыми в Германии приняли модерн, а позднее и новый стиль, художники, входившие в группу «Ворпсведе». Многие из них мало известны нашим современникам. В памяти остался лишь Генрих Фогелер. Он оставил заметный след почти во всех жанрах изобразительного искусства. Именно он был ближе и интереснее для Лилиена, ибо Фогелер первым обратился к шрифтовому набору и орнаментальным рамкам при подготовке книг для печати. Об этом говорит чистота лилиеновских линейных украшений, а также то, что белый фон в графических иллюстрациях превращается во второй цвет чёрно-белого изображения. Шрифт становится не просто текстом, рассказывающим сюжет произведения, а важным композиционным компонентом во всём книжном блоке. Главная заслуга художника состоит не только в этом. Его своевременный приход в искусство *совпал с необычайным подъёмом еврейского национального самосознания в странах Европы.*

Крупнейший религиозный философ, теоретик сионизма, близкий приятель и соратник Лилиена. Мартин Бубер, назовёт этот период *Еврейским Возрождением*, совпавшим с расцветом сионистской культуры.

Книга «Juda» – сборник еврейских баллад. Несмотря на то, что её составитель Бёррис фон Мюнхгаузен, был, по своим взглядам, полной противоположностью художнику (позднее он примкнул к национал-социализму, но вскоре покончил с собой), эта книга была попыткой





интегрировать библейский материал в поэтический и культурологический пласт, понятный даже неподготовленному читателю. Первостепенную роль в этом сыграли иллюстрации Лилиена. Это же подтверждается и изданной в 1902 г. книгой «Lieder des Ghetto» («Песни гетто») с большой подборкой лилиеновских иллюстраций. В ней окончательно утвердилось становление стиля художника – он индивидуален, легко узнаваем.

Эфраим Мозес Лилиен родился 23 мая 1874 г. в Галиции, в городе Дрогобыче. Половину его населения составляли евреи. К тому времени там действовали две сионистские организации: «Кадима» и «Агават-Сион», которые явно повлияли на формирование взглядов художника, в том числе на историю и культуру еврейского народа в странах рассеяния.

Эфраим был старшим сыном резчика по дереву. Детство его прошло в среднем достатке. Однако, рано проявившиеся способности к рисованию и очевидная одарённость помогли ему с помощью местных меценатов поступить в академию искусств в Кракове. Здесь он учился в классе знаменитого польского живописца Яна Матейко.

Через два года из-за материальных затруднений он возвращается в Дрогобыч, но всё-таки в 1892 г. награждён поощрительной поездкой в Вену, где в то время получила всемирное признание группа художников «Сецессион», связанная с модерном. Мастера группы: Густав Климт, Эгон Шилле, Оскар Кокошка, Герберт Брокль, Арнольд Клеменциц и другие. Вскоре они займут одно из ведущих мест в мировом искусстве XX века. Их

находки оказались ошутимы и в творчестве Лилиена. С 1894 по 1899 г. он жил и работал в Мюнхене. Здесь, постоянно сотрудничая с издательством «Вперёд», закрепились его связи с сионистской организацией, для которой он выполнял листовки и плакаты агитационного характера для распространения их среди еврейского населения. Переехав в Берлин в 1900 г., он остался членом сионистской организации, всячески оказывая ей посильную художественную помощь. Дружил с Теодором Герцлем, Максом Нордау, Мартином Бубером и другими. Однако, Лилиен был далёк от ортодоксального, еврейского, жизненного уклада.

Мир берлинской богемы был для него особо привлекательным. Он регулярно посещал литературное общество «Die Kommenden» («Грядущее»), которое собиралось по четвергам в кафе на Ноллендорфплац. Возглавлял его поэт и теоретик Людвиг Якововски, позднее поэт Петер Гилле и антропософ Рудольф Штейнер. В числе посетителей кафе были Эльза Ласкер-Шулер, Эрих Мюзам, братья Цвейги, Кэте Кольвиц и многие другие. Вскоре они получают мировое признание. Со Стефаном Цвейгом Лилиена связывала личная дружба, а частые беседы о литературе и искусстве, взаимно обогащали их творчество. Влияние художника нашло отражение в поэзии Ласкер-Шулер, посвятившей ему несколько стихотворений. В этот период Лилиен проиллюстрировал книгу эротических стихов забытой теперь поэтессы Деларозы. В них он проявил себя талантливым и оригинальным мастером интерпретации обнажённой натуры, лёгкими и почти





воздушными штрихами, тонко вникая в мир поэзии поэтессы.

С 1902 г. он сотрудничает с журналом «Die Welt» («Мир»), для которого нарисовал множество композиций к публикуемому литературному материалу. Тогда же им выполнены обложки к регулярно выходящему журналу «Ost und West» («Восток и Запад»), к книгам «Occultismus und Liebe» («Оккультизм и любовь»), «Sechs Sonette aus Animal Triste» («Шесть сонетов о чувствах животных») и много других издательских работ.

Вместе с Бубером он был в руководстве первой выставки еврейских художников, приуроченной к конгрессу сионистов в Базеле. Эта выставка представила имена и работы мастеров, вскоре занявших достойное место в ряду крупнейших еврейских художников в странах рассеяния и, позднее, в музеях государства Израиль. Это Иегуда Эпштейн, Иосиф Израэль, Лессер Ури, Изидор Кауфманн, Самуил Ниршенберг и другие. Лиlien вместе с художником Борисом Шацем организовал в Иерусалиме школу искусств «Бецалель» (ныне Академия искусств), предприняв несколько поездок в Святую Землю. Из них он привозил выполненную им там живопись, фотоматериалы для будущих работ. Вместе с Бубером и Бертом Файвелем организовал в Берлине еврейское издательство, выпускал «Jüdischer Almanach» («Еврейский Альманах»), который был несомненной сенсацией в жизни Германии и «русского» Берлина. В нём утверждалось, что еврейский народ существует не только как нация, но и как народ древнейшей, самобытной культуры. В берлинской газете «Welt am Montag»

(«Мир по понедельникам») об Альманахе писали:

«Мы узнали не из теоретических работ, а из конкретных произведений литераторов и художников, что еврейский народ жив и находится в постоянном поиске самоутверждения. Он стремится интегрировать близкие ему по духу элементы, рассеянные в других культурах».

Позднее в письме к своей жене, Елене Магнус, Лилиен писал: «Я слежу за судьбой нашего народа. Его беда – это моя беда, независимо от того, консервативен он или современен».

С 1905 г. и до конца жизни художник нарисовал пером около ста эскизов, считая их неотъемлемым атрибутом книги и её владельца, а также важнейшим видом графики.

В них он использовал мотивы и орнаменты из национального достояния еврейского народа, увязывая его с собранием книг владельцев. В 1912 – 1915 гг. он проиллюстрировал Библию. Вечная Книга, словно бы заново прочитанная художником, одета им в новый, современный наряд, и украшена большим количеством полосных иллюстраций, заставок, концовок и прочей атрибутикой.

В 1923 – 1924 гг. прошли две большие выставки Лилиена, которые, к сожалению, можно определить, как итоговые.

17 июля 1925 г., в возрасте пятидесяти лет он скончался от сердечной недостаточности.

Значение его творчества велико не только для еврейского, но и для мирового искусства.



*W. Kibitzel Horn
Max Zolleru.
1 Oktober 1907*



СЕРГЕЙ ПЫШНЫЙ

ЗАБЫЛИ...

Прошлым летом я был на отдыхе у дальних родственников в Белоруссии, в небольшом старинном городке Кобрин, что недалеко от границы с Польшей. Городок мне очень понравился: озеро, две реки, прекрасно отремонтированные дома и храмы. Как грибы в лесу, повсюду вырастают новые и новые виллы. Народ приятный, люди спокойные, доброжелательные, бесхитростные, трудолюбивые. Национализма никакого. Белорусы о себе с гордостью говорят: «Мы не националисты, как на Украине». И это, похоже, так и есть. Круг общения моих родственников: врачи, чиновники, мелкие предприниматели. Давно вошло в традицию отмечать вместе дни рождения, праздники или просто встречаться в банях, попариться и поболтать, причём, на этих встречах столы ломились от напитков и разных закусок. Правда, темы разговоров не совсем входили в круг моих интересов. То обсуждали проблему выращивания томатов, то речь шла об огурцах, как их лучше закатывать, и так далее. Запомнился и иной разговор. Мы были в гостях у нашей подруги, хозяйки обувного магазина, и она рассказала, что в соседнем городе есть батюшка с удивительной духовной силой, с помощью которой он излечивает любую болезнь. Говорили о чудотворных иконах, рассказывали друг другу о болезнях, давая советы, как от них избавиться. Всё это не совсем меня интересовало, но приходилось приспосабливаться, если хотел кого-то вызвать на откровенный разговор.

Люди в Кобрине придерживаются местных обычаев и отторгают всё необычное. Я приехал в соломенной шляпе, но мой родственник порвал её, сказав, что тут так не ходят. Потом я видел, как зрители во время концерта на открытом воздухе в городском парке укрывали головы от солнца туалетной бумагой. Это считается нормальным, а вот соломенной шляпой защищаться от солнца неприлично! Пойди пойми, почему? Пришлось и постричься коротко, как все. Но право носить маленький рюкзачок я отстоял, хоть я такой был один на весь город. Всё это меня не сердило. Если, думал я, все одинаковые, то и понимать им друг друга легче. И хоть все жалуются, что денег мало, жизнь расцветает: собственных домов всё больше, церкви в отличном состоянии, и строятся новые. Есть католический собор, несколько домов баптистов и даже дом свидетелей Иеговы. Все они мирно сосуществуют. Имеется превосходный дом культуры. В городе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию: устроен музей Отечественной войны и музей Суворова, где можно познакомиться с историей города того времени. Летом я застал в городе два праздника: «День независимости» и

«День города». Прекрасно были организованы церемонии возложения цветов к обелиску воинам-освободителям. Казалось, нет конца национальным нарядам. Всё красочно и торжественно. А вечером – гулянье в городском парке, где участники самодеятельности в национальных нарядах исполняли народные песни и танцы.

Но однажды произошло нечто, чего я никак не ожидал в этой идиллии. Как-то мы ехали из очередных гостей домой мимо большого собора. «Вот католический собор», – объяснили мне. Проехав ещё немного, я вдруг увидел огромное полуразвалившееся сооружение и удивлённо спросил: «Что это такое?». «Синагога», – спокойно ответили родственники. Я был потрясён. В городе, где все здания в идеальном состоянии, такое огромное строение брошено на произвол судьбы и разваливается. На следующий день я пришёл к синагоге и осмотрел её. Никто в этот двор давно не заходил, разве что по нужде. Окна забиты фанерой и на одном кто-то нарисовал семисвечник. Я подумал: «Раз такая большая синагога, то раньше здесь, очевидно, было много евреев». Обошёл ближайшие дома, но ни на одном из них еврейских символов не увидел. «Странно», – подумал я, и решил узнать что-нибудь о евреях, которые когда-то здесь жили. Вернувшись домой, залез в интернет и узнал, что в начале 20-го века в этом городе евреи составляли 66 процентов населения, имелось несколько синагог, и та, развалины которой я видел, была второй по величине в Белоруссии. Я представил себе, как отличалась тогдашняя жизнь от сегодняшней. По улицам ходили люди в чёрных костюмах и шляпах, говорили между собой на идише. Везде было полно еврейских магазинчиков, лавочек, мастерских и контор. Мне захотелось, повернув время назад, попасть в этот город. Уверен, что нашёл бы среди этих людей много приятелей. Мне было бы интересно зайти в их лавки и магазинчики, чтобы пообщаться. Их предки жили в Польше, в Германии и в других странах, и это не могло не отразиться на их кругозоре и мышлении. Но, увы, теперь трудно представить, что тут вообще жили евреи. От всех синагог осталась только одна развалина. Не сохранилось даже еврейское кладбище. Там теперь разбиты огороды. Надгробные камни исчезли. Я спросил своих знакомых, что они об этом думают. Почему бы не восстановить синагогу и сделать там хотя бы музей когда-то жившего тут еврейства? Ведь это тоже история города. Но все, как один, отвечали: «Да кому это интересно?».

И тут я по-другому посмотрел на этот город. Я вспомнил музей Суворова, Военный музей, торжественное возложение венков к мемориалам, встречи в бане, обильные застолья и прочее. Мне весь этот уклад жизни вдруг показался театром абсурда, будто довольные и весёлые люди пляшут на трупах. По возвращении в Берлин я рассказал одной приятельнице об этих тягостных впечатлениях и о том, что мне хотелось бы попасть в тот город, которого

больше нет. Но она ответила, что те евреи не стали бы со мной общаться. Я возразил, что ни разу в жизни не замечал, чтобы евреи не хотели со мной общаться из-за того, что я не еврей. Но приятельница на это сказала: «Ты привык общаться с советскими евреями, а тогда в этом городе все евреи были верующими и чтили Талмуд, по которому ты – гой, и с тобой нежелательно общаться». Мне стало грустно, но неожиданно я почувствовал в душе уверенность, что, окажись я в том городе, то нашёл бы всё же себе много отличных приятелей и мне не было бы одиноко и скучно там жить.

Вспомнилось моё многонедельное путешествие по Израилю, где я познакомился и общался с очень многими людьми, верующими и неверующими, и ничего плохого сказать не могу: отношение ко мне везде было доброжелательное. Я вспомнил также, что у меня в Ленинграде, ещё при советской власти и до моей эмиграции, был хороший товарищ – старый слепой еврей Яков Исаевич, глубоко верующий иудей.

Я уж не говорю о многих других друзьях, с кем пережил немало и в чьей верной дружбе много раз убеждался. Тогда в Ленинграде, случалось, приглашали меня и на Шабат. Горели свечи, люди были спокойные, любезные, хотя не все очень-то верующие. У них это был больше протест против системы, отрицающей еврейство. И я подумал: «А окажись я в субботу в Кобрине в начале 20 века – вот был бы настоящий Шаббат! Это был бы Шаббат, наполненный религиозной, философской тишиной, доброжелательностью, покоем, отрешённостью от всякой суеты. Уверен, что в тогдашнем Кобрине, где больше половины населения любили рассуждать и философствовать, я был бы своим человеком. Жаль, что того города сегодня нет!»

НАУМ ФАЙДЕЛЬ

ГЕТТО

С благодарностью произношу имя деда, – ведь семья обязана ему тем, что не погибла голодной смертью в гетто. Дед участвовал в первой мировой войне, был в немецком плену, вспоминал о немцах. Их образ жизни, порядок, чистота и, главное, мастерство сапожников, остались в его памяти навсегда. Он не хотел верить тому, что они могут обижать евреев. Бедняга – дед Шопс. Каково было его удивление, когда весенним утром проснулись мы под немецкой властью, и на стенах домов и столбах висели объявления коменданта о запрете жидам выходить за пределы гетто. За нарушение – расстрел. Даже за сбор более трёх человек или плохую уборку улиц – тоже расстрел. Жидам (нас иначе и не называли!) – строгое подчинение новому порядку. В Бершади не было тотального уничтожения всех евреев, как в соседних районах. Регулярно проводились облавы на улицах и рынке. Мужчин помоложе уводили. С тех пор в гетто их никогда не видели. Румынские власти решали еврейский вопрос по-своему. Они не хотели тратить на них патроны или строить газовые камеры. Достаточно было собрать десять тысяч человек в небольшое местечко, окружить их колючей проволокой и под страхом смерти запретить им выход из гетто. И скоро там начнётся голод, и люди сами начнут умирать на улицах, тем более, что наступала зима с морозами до 25 градусов. Без топлива, холод станет эффективным орудием, не менее, чем массовые расстрелы. Мне не надо напрягать свою память, стоит лишь закрыть глаза, и я снова вижу горы человеческих тел лилового цвета. Мы подолгу укрывались поверх ватных одеял ещё и всяким тряпьем, но всё равно сильно замерзали. По утрам выносили множество покойников. Погребальная команда не успевала увозить их, скрюченных морозом, и сваливала прямо на землю под наши окна. Мне тогда было десять лет. Я всякий раз замечал, что горы трупов увеличиваются. Представлял себе, как тот или иной из нынешних покойников, если бы остался живым, там, у себя на родине, например, в Черновцах, учился бы в университете...

Увы, я заметил, что мои внуки неохотно слушают воспоминания о жизни в гетто, хотя более поздний период им интересен. Связываю это с тем, что им как-то неуютно вникать в моё прошлое, в ту трагедию, в которой жили их предки. Их пугают или вызывают отторжение эти знания, которые нарушают нынешний уклад их жизни...

Как сейчас, помню себя, десятилетнего, стоящего вблизи грузовика, на кузове которого собирались казнить юношу. На площади Ленина, где должно было происходить это злодеяние, не было ни души, мне останавливаться там

было опасно.

Пробегая к себе мимо дедушки Шопсы, я остановился, и стал смотреть, как солдаты делают свою работу: закидывают конец верёвки за верхнюю крестовину телеграфного столба, и затем, по команде, тянут за длинный конец каната, пока бедняга не повис в воздухе, и сильный мартовский ветер не распахнул на нём телогрейку, и стал швырять его из стороны в сторону, как будто ждал момента, чтобы начать свою страшную забаву. Я кинулся домой, стараясь вспомнить, где я видел курносое лицо повешенного...

Дядя Яня, Ян Вольвовский, стал членом нашей семьи во времена гетто.

До войны он работал директором заготконторы, был знаменитым специалистом своего дела и его уважал весь Голованевск. От призыва в армию его, как специалиста, освободили. После прихода немцев, он с матерью и сестрой оказался в толпе евреев, которых полицаи гнали к пустырю, где была заранее вырыта яма. Местные жители, неевреи, стояли у обочины и с ужасом наблюдали за происходящим, а некоторые подгоняли евреев весёлыми выкриками. Особенно много их услышал Вольвовский. В группе людей, обречённых на расстрел, он стоял с матерью и сестрой. Мать прошептала: «Падай, сынок, в яму, может, Бог даст, выживешь». Сын выполнил просьбу матери. Бог, действительно, помог, но только ему одному. Остальные не выжили. Когда стало смеркаться, Вольвовский вылез из-под мертвецов, простился с погибшими родными и стал пробираться наверх. Его дорога длилась несколько недель, ведь шёл он только ночами. Оказавшись в Бершади, он резко отличался от местных жителей своей внешностью – заросший и весь в грязи, ватные штаны и телогрейка изорваны. Прохожие шарахались от него. Чужая беда в то время никого не трогала. Голодное время, когда за пару картофелин отдавали дорогое кольцо, поэтому об угощении незнакомого человека не могло быть и речи. Вольвовского и в этот раз спас счастливый случай. Проходя мимо дома по Комсомольской улице, где мы жили, он постучался и вошёл. На пороге оказался дед Шопс. «Кто вы?» – спросил он.

Рассказ Яна был долгим, обстоятельным. Из него мы узнали подробности гибели Голованевских евреев и о его случайном спасении.

Ян Вольвовский прижился в доме деда Шопсы. Он быстро освоил основы сапожного ремесла, стал подручным деда. Всё было бы хорошо, если бы не одна странность, которую мы сразу не поняли. По вечерам он зажигал огарок свечи и уходил с ним к себе. В конце коридора в полу находилась потайная дверь. Каждый вечер он спускался по лестнице в подвал и укладывался там спать. Все три с половиной года, что он прожил с нами в гетто, он ни разу не спал наверху. Тётя Переле, которой он приглянулся, уговаривала его не спать в подвале, ибо он может заболеть, но он отказывался. Слишком глубоко сидел в нём страх расстрела. Никому он не позволял спускаться в его лежбище.

Но однажды мы всё-таки там побывали, когда узнали, что в Бершадь скоро придёт зондеркоманда. Мы решили спастись в подвале. Я чётко за-помнил этот день. Подвал был забит до отказа. От недостатка кислорода керосиновая лампа погасла, и мы остались в полной темноте. Неизвестно, сколько времени мы там провели. Самые смелые помогли нам выйти наружу. Мы наслаждались воздухом и солнечным светом, несмотря на висевшую опасность попасть в лапы зондеркоманды...

Ян Вольвовский, человек небольшого роста, неопределённого возраста, обстоятельный, с лицом типичного еврея: орлиный нос, выпуклые глаза. Сразу же после войны, тётя Переле всё-таки сумела убедить его жениться на ней. От их брака родились три дочери, но, увы, желанного сына так они и не дождались. После войны Ян прожил недолго, скоротечная чахотка догнала его. Ушёл человек редкой судьбы и житейской мудрости.

Куда более трагичной оказалась судьба молодых ребят, которые к моменту освобождения достигли 18-летнего возраста. Их, плохо обученных, отправили на фронт насильно, в укреплённый город Яссы, где они и сложили свои головы.

В Бершади сейчас безвозвратно оборвана еврейская жизнь, которая некогда была описана классиками еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфоримом и Шолом-Алейхемом. Теперь там проживают пятнадцать стариков. Из многих стран приезжают люди, чтобы поклониться могилам своих предков.

Однажды, приехав в Бершадь с той же миссией, автор этих строк решил побродить по кривым и ухабистым улочкам своего детства. Он остановился возле синагоги. Запустение встретило его прямо у входа. Несколько стариков на скамье у амвона читали молитву. Самозванный раввин, бывший подполковник, собирался навсегда уехать к дочери. Тогда синагогу запрет на замок. Этим будет поставлена последняя точка в истории некогда многочисленного еврейского населения Бершади.



ПЕРЕВОДЫ

РЕГИНА КОН**МАРИАННА РАЙН**

(1911 – 1942)

ШАББАТ

Фантомной пеленой седого пепла
Забот недельных бремя опадает.
Едва лишь различимое сиянье
Из скрытых искр, блистая, вырастает.

Всё, что тебя шесть дней к земле сгибало,
Клеймом раба жестоко оскверняя,
Развеет день седьмой, вздохни свободно,
Твоей Субботой в храм святой вступаю.

Круговорот недельный завершился.
Сегодня – царь ты! И свечей сиянье
Трепещет нежно, углубляя тени.
Избавься ж от сердечного страданья!

МАША КАЛЕКО

(1907 – 1975)

КАДИШ*(Йом-Китур, 1942 г.)*

Взывает алый мак в полях зелёных, польских,
Смерть в сумрачных лесах, таясь, разверзла склеп.
Снопы гниют, желтея,
Мёртв тот, кто их посеял,
И матери бледнеют,
И дети плачут: «хлеб»!

Птенцы без гнёзд ни звука не роняют,
Деревья грустно ветви воздевают,
И если к Висле ствол, шепча, склоняют,
Подобные молящимся евреям,

Земля дрожит, от крови солоня,
И камни все рыдают.

Кто протрубит в шофар заветный свой
Читающим молитву под травой?
Тем тысячам, кто без надгробья лёг,
И знает имена их только Бог.

За что Создатель был к ним столь жесток,
И вычеркнуть из книги жизни смог?
Всевышний, пусть дойдут мольбы дерев!
Свеча последняя.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

(1923 – 2012)

С польского

ЕЩЁ НЕ ПОРА

В вагонах, на которых пломбы,
где рельсами изрезана страна,
всё едут, едут имена,
бедой измучены, бездомны.

Имя Натан кулаком в стену вагона бьёт,
имя Ицхак в помешательстве песню поёт,
имя Сара воды дать скорей умоляет
имени Арон – от жажды оно умирает.

Давида имя, нет, не прыгай на ходу,
ты там обречено на горе, на беду.
Для тех, кто хочет жить в стране свободно,
такое имя больше непригодно.

Для сына бы лучше славянское имя иметь,
где по виду волос осуждён может быть человек,
где отделяют добро ото зла, жизнь и смерть
по именам и по разрезу век.

Не прыгай на ходу. А сын пусть будет Лехом.
Не прыгай на ходу. Ещё не пора, остынь-ка.
Не прыгай. Ночь отзывается эхом, как смехом,
она передразнивает стук колёс на стыках.

Туча людская большая прошла над страной,
но маленький дождь от неё – одна лишь слеза,
маленький дождь, одна слеза, сухие глаза.
Рельсы ведут в чёрный лес. Встал он стеной.

Так-то, так, колёса стучат на рельсовых стыках.
Так-то, так. Лес без полян. Транспорты криков.
Так-то, так. Ночью разбужена и не усну,
так-то, так, стучит тишина об тишину.

АНТОНИЙ СЛОНИМСКИЙ

(1895 – 1976)

**ЭЛЕГИЯ
МЕСТЕЧЕК ЕВРЕЙСКИХ**

Нет уже, нет больше в Польше еврейских местечек.
В Хрубещёве, Карчёве, Бродах, Фаленицах
Тщетно ищешь ты в окнах зажжённые свечи,
Не услышишь напевов у дощатой божницы.

А пожитки евреев на помойках спалили,
Кровь с песком, все следы были убраны сразу,
И извёсткой с подсинькой чисто стены белили,
Как на праздник большой или после заразы.

За местечком былым, тёмной ночью белея,
Одинока луна над дорогой, нагая.
Мне по крови родня – поэтичны евреи,
Но им здесь не найти двух золотых лун Шагала.

Луны те над другой обитают планетой –
Улетели в испуге пред молчаньем понурым.
Нет уже тех местечек, где портной был поэтом,
Часовщик был – философ, брадобрей – трубадуром.

Нет местечек, где звуки святых песнопений
С польской песней сливались так неразделимо,
Где евреи седые под садовою сенью
Горевали по стенам Иерусалима.

Нет уже тех местечек, промелькнули, как тени.

МАРИНА ОВЧАРОВА

ЭТГАР КЕРЕТ

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ БЫЛИ ПРАЗДНИКАМИ*Перевод с иврита*

Я был странным праздником.

Моим любимым праздником всегда был Йом Киппур. Ещё в детском саду, когда остальные дети любили Пурим за костюмы, Хануку за латкесы и Песах за длинные каникулы, я любил Йом-Киппур.

«Если бы праздники были детьми, – подумал я однажды, когда был еще маленьким мальчиком, – то, наверное, Пурим и Ханука были бы обыкновенными мальчиками, Рош-ха-Шана была бы самой красивой девочкой в классе, а Йом-Киппур был бы странным ребенком. Он был бы затворником, молчуном, но при этом самым интересным из всех».

Немного странный, замкнутый, но самый интересный из всех, – именно так я думал о себе в детстве. Поэтому я любил Йом-Киппур больше остальных праздников, ведь Йом-Киппур так похож на меня!

Даже сегодня, не такой уж странный, не одинокий и достаточно зрелый, чтобы понимать, что я не самый интересный, я всё ещё люблю этот праздник.

Возможно, потому что Йом-Киппур – единственный праздник, который выражает человеческую слабость. В Йом-Киппур мы не просто народ, а скорее группа людей, которые смотрят в зеркало, стыдясь того, что должно быть стыдно, и извиняясь за то, за что нужно извиниться. Это именно то, что привлекает меня в Йом-Киппуре. Это именно то, что касается всех еврейских праздников, которые мы отмечаем в Израиле.

Йом-Киппур – это очень личный праздник, праздник, когда мы оказываемся наедине со своими поступками и результатами этих поступков. Это праздник, в котором мы встречаемся с истинной реальностью вне телевизионных бессмысленных новостей, рекламы очередного шампуня или предложений сомнительного комфорта.

Йом-Киппур всегда был и остается для меня главным праздником.

Как часто я забываю пожелать друзьям счастливого нового года в Рош-ха-шана, ленюсь нарядиться на Пурим, но я всегда прошу прощения у людей, которые знают и чувствуют, что мне больно. Это происходит нечасто, но когда я звоню кому-нибудь, чтобы попросить прощения, и пока я неловко жду ответа на другом конце провода и в то же время молюсь, чтобы никто не ответил в надежде, что я смогу просто оставить сообщение на автоответчике, я задаюсь вопросом: «Неужели легче любить праздник, когда тебя пригла-

шают на пончики с джемом, чем праздник, требующий неудобства, делающий человека уязвимым?»

Но сумев смириться с этой странной неловкостью и преодолеть её, можно с радостным облегчением почувствовать избавление от того, что беспокоило так долго.

История моего самого глубокого прощения на Йом-Киппур началась в четырёхлетнем возрасте.

В новом детском саду я влюбился в красивую милую девочку по имени Ноа. Она была тихой и улыбчивой. У неё были густые, светлые волосы как будто из ваты. Я хотел поиграть с ней, но не знал, как это сделать. Не прошло и полгода, когда я решился, наконец, что-то предпринять, и вот однажды утром, когда она пробежала мимо, подставил ей подножку.

Ноа упала, сильно ударилась и заплакала. Она указала на меня подошедшей воспитательнице и сказала: «Вот, что он сделал». Воспитательница, очень любившая меня, спросила, правда ли это. Я, не задумываясь, ответил, что нет.

Воспитательница повернулась к Ноа и отругала её: «Этгар – хороший мальчик, который никогда не врёт, зачем ты наговариваешь на него?»

Ноа заплакала с новой силой, а воспитательница погладила меня по голове и ушла, бросив сердитый взгляд на Ноа.

О, как же мне хотелось в этот момент попросить у Ноа прощения и рассказать воспитательнице о своей лжи, но у меня не хватило смелости. Тем временем другая девочка помогла Ноа подойти к крану и промыть царапины на коленке, а я всё продолжал тупо стоять посреди двора.

С тех пор я не видел Ноа в детском саду. То ли семья её переехала, то ли ещё что, но больше она в садик не приходила.

И вот однажды в старших классах, когда мне было 17 лет, на перемене кто-то из учеников упомянул об одной знакомой девочке из соседнего класса, которая изучает биологию. Он назвал её имя – Ноа.

Это был первый месяц учёбы, Рош-ха-Шана был позади и приближался Йом-Киппур.

Еле дождавшись конца занятий, я ждал Ноа возле её класса. Как же долго тянулось время!

Она вышла почти последней в оранжевых наушниках и с «Уолкман Сони» в руках. Я сразу узнал её, хотя она выглядела совсем не так, какой я помнил её с четырёхлетнего возраста, не улыбалась и с угрями на лице, но её волосы оставались густыми и светлыми и всё ещё были похожи на вату.

Я подошел к ней, преодолевая лёгкую дрожь. Просить прощения всегда трудно, а уж тем более через тринадцать лет.

Я хотел сказать Ноа, что с того дня во дворе детского сада я старался не

лгать, и каждый раз, когда я хотел солгать, я вспоминал её, Ноа, обиженную, беззащитную и плачущую, и немедленно останавливался и говорил правду. Я так много хотел сказать ей – что скоро я стану мужчиной и пойду в армию и всё такое. Я отчётливо вспомнил тот день в детском саду и как я поступил с ней, и мне стало так стыдно и захотелось сделать ей что-нибудь хорошее, например, дать ей мой велосипед, или ещё что-то.

Но вместо этого у меня вырвалось на неестественно высокой ноте: «Ноа!»

Ноа остановилась, сняла наушники и пристально посмотрела на меня. «Я – Этгар Керет, – выпалил я, – мы ходили в один детский сад».

Она улыбнулась и сказала, что помнит садик, но не помнит меня. Я рассказал ей, как подставил ей подножку и как солгал, и как она упала и заплакала от обиды и боли. Но она ничего не помнила.

«Это было так давно», – сказала она равнодушно.

«Но я помню, – настаивал я, – скоро Йом Киппур, и я хочу попросить у тебя прощения. Прости меня за глупость».

Она снова улыбнулась той приятной улыбкой, которую я помнил с детства. «Скажи, ты был таким странным уже тогда в детском саду?», – спросила она и засмеялась.

Но я не засмеялся, а лишь попытался улыбнуться, потому что я действительно был очень странным уже тогда в детском саду.

«Я прощаю тебя», – сказала она после паузы и надела оранжевые наушники.

ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

(1875 – 1926)

С немецкого

ДАВИД ПОЁТ ПЕРЕД САУЛОМ

I

Царь, ты слышишь: звуки арфы
даль уносит прочь от нас;
путает нас звезд атлас,
падаем, как дождь мы, враз,
и цветы вокруг, как залпы.
Девственниц наивных, помнишь –
женщины они теперь,
нас соблазном манят в дверь;
дышат юноши неровно,
разум бесится как зверь.
Я пытаюсь быть певцом,
Но мой голос пьян, как брага:
Твои ночи, царь, венцом –
всем, кто был на нас, ловцом
чар прекраснейшего мага.
Я хотел бы твою память,
на пути назад, не ранить,
но сложна преданий сага;

II

Царь, который всем владел,
В жизни, сладостной, как песня –
постарел и поглупел:
так сойди же с трона честно,
моя арфа – не у дел.

Постаревшую, как древо,
на котором раньше зрели
сладких фруктов акварели,
повело, как стару деву.

Запрети мне с арфой спать;
посмотри на эту руку:
может ли октавой стать
тело преданого друга?

III

Царь, ты прячешься во мраке,
но я властен над тобой.
Песнь моя ещё на флаге,
мир становится другой.
Здесь твоё и моё сердце
в гневе облака, Твоём,
злобно заперты за дверцей
как заросший водоём.
Так давай преобразимся!
Тяжесть пусть, парит как дух,
если мы соединимся,
юный царь и старый гримза, –
полетим, как звёздный пух.

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

С немецкого

ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШЮЛЕР

(1869 – 1945)

Из цикла «Еврейские баллады»

РУТ

Ты меня сторожишь у забора, в саду.
Я по звуку шагов тебя быстро найду.
Мои чёрные капли-глаза оживают.

Расцветает твой взгляд. Он из недр души.
Он волнует меня. Погоди – не спеши.
Перед сном моё сердце, как льдинка, растает.

Стрелки жизни часов на ночь переведу,
и появится Ангел у дома, в саду.
Тишину принесёт. Все мгновенно замрут.
он любовную песню споёт тебе, Рут!

ЕВА

Ты предо мной свою склонила голову,
и волосы упали на чело.
А губы мягче, розовее более
того, что в Райских кущах расцвело.

Ты вся дрожишь в загадочном желании,
любовь лишь зарождается в душе.
Взволнованней становится дыхание,
твои мечты накалены уже.

Я сохранюсь в тебе воспоминанием, –
особой первозданной теплотой.
Во мне ты – юности благоуханием
и с головой, склонённой предо мной.

КАИН И АВЕЛЬ

Богу не нравится Каина взгляд.
Улыбка Авеля – в золоте сад,
глаза его – соловья радушье.

Авеля песни тем хороши,
что он их пел на струнах души.
Каина тело – смрадная лужа.

Ты брата убил, преступник Каин,
в вечности ты не прощён, не покаян.

И сквозь века к тебе месть стремится,
ты загубил прекрасную птицу
в лице единокровного брата, –
в тебе клеймом потомков расплата.

САВАОФ

О, Бог, я влюблена сильнее,
когда ты в облачении роз
в саду идёшь.
Ты юн, Саваоф,
твоим ароматом полна я,
великий Поэт!

Кровь моя грустит по тебе,
приди же скорее,
мой сладостный Бог,
прекраснейший Бог!
Врата твои золотые
от моих желаний немеют.

САУЛ

Мелех хранит Иудеи покой.
Верблюды тащат крышу над головой,
и кошки пугливо жмутся к колоннам.

Вот ночь оступилась в могильный мрак.
В глазах Саула сомнения страх.
В небо взлетают рабыни со стоном.

Стоят хананнеи у самых ворот,
и смерть не желает двигать в обход,
солдат с булавами с полмиллиона.

ЭСТЕР

Эстер стройна, как пальма молодая,
её губами пахнет праздник урожая, –
полны пшеницей стебли в Иудее.

И за псалмом всем сердцем отдыхая,
слышна химерам музыка евреев.

И лики Бога и Эстер повсюду, –
улыбки дарит царь простому люду.

А юные еврейские поэты
слагают песни для сестёр при этом.

АГАРЬ И ИСМАИЛ

Забава детей Авраама – ракушки,
из них им челны мастерят, как игрушки.
Тревогу увидел Исак Исмаила.

Два лебедя чёрных запели тоскливо
о мире тревожном и торопливом.
У стражи украла Агарь сына милого.

От слёз их могли б даже льдины растаять,
сильней, чем источник, шумели сердца их
и бились быстрее, чем страусы крыльями.

А жгучее солнце залило пустыню, –
светило оно для Агари и сына,
вгрызаясь в песок, поощряло насилие.

С иврита

ХАИМ-НАХМАН БЯЛИК

(1873 – 1934)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вот старик – худой и кроткий
водит пальцем по страницам,
он у жизни посередке
кое-как привык ютиться.

Вот старуха – одряхлая,
варит, штопает и вяжет, –
занята привычным делом,
слова лишнего не скажет.

Вместе прожили полвека,
тот же быт и то же счастье,
те же прелести ночлега
в неудобствах разной масти.

Список их болячек длинный:
стены сплошь покрыты цвилью*,
окна в сетках паутины –
разрушения засилье.

За окном легко и просто:
хохот, шутки, щебет птичий...
Я б хотел умерить поступь
здесь, средь этого величья.

*цвилль (укр.) – плесень

ВЕСНА

Свежий ветер подул. Обнажился простор.
небо ярче и цвет облаков серебристей, –
это значит, весна устремляется с гор,

на деревьях вот-вот закудрявятся листья.
А вокруг тишина. И победа весны
отмечается песней, пока ещё робкой,
но дыхание природы плывёт с вышины –
это юность весны устремилась по тропкам.

Свежий ветер подул, нарушая покой,
направляя мой взгляд на улыбку природы,
просыпается зелень кустов под росой,
и деревья дают свои первые всходы.

Скоро брызнет в глаза разноцветие роз,
перестанут терзать беспокойные мысли,
возвратится из юности трепетность грёз,
и печаль поползёт по дороге тернистой.

ЗАДЫХАЕТСЯ ЛЕТО...

Задыхается лето.
Осень всю золотым
и рубиновым цветом
украшает природу
по законам своим.
Задыхается лето.

Парк спокойно заснул,
и влюблённых не видно,
только клин журавлиный
провожаю я взглядом
в путь извилистый, длинный,
хоть за лето обидно.

Вот нагрянет зима
с беззастенчивой вьюгой,
прорываясь к окошку.
Сироте починю
прохудившийся угол,
заготовлю картошку.

САМУИЛ ГАЛКИН

(1897 – 1969)

Я ВОЗВРАЩУСЬ ДОМОЙ...

Я возвращусь домой – мной песня не допета.
Там небо и земля ведут свой вечный спор.
Там мягкая зима, там деликатно лето,
хрустальные ручьи, шутя, сбегают с гор.

Я убеждён, меня ещё там не забыли.
Там каждая судьба несёт свой личный звук.
Я возвращусь домой, свои расправив крылья,
размах у них широк, простором в сотни рук.

В моём пути преград достаточно случится,
неважно, – я хочу увидеть дом мечты,
с любовью встречу в нём свои родные лица,
и радость голосов, и милые черты.

ДАВИД ГОФШТЕЙН

(1888 – 1952)

НАЧАЛО

Нить моей жизни начало берёт,
тянется стеблем зелёным,
там, где склонился к земле небосвод,
мыслями замороженный.

Эта зелёная тонкая нить
стала меня во вселенной кружить.

Годы проходят своей чередой,
мчат за минутой минуту,
нить моей жизни качает волной
в двадцать четыре фута.

Я верю, что это ещё не финал,
и цепко впиваюсь в жизни штурвал.

Всё же я счастлив, сумев сохранить
под беспокойным кровом,
свою вдохновенную тонкую нить –
жизни моей основу.

К ВДОХНОВЕНИЮ

Никогда наудачу
я стремглав не летел за тобой,
ты всегда однозначно
предназначено было судьбой.
Ты врывалось, как утром
в горло свежего ветра глоток.
Ты звенело, как лютия:
«Оглянись и запомни, дружок,
как тяжёл, но прекрасен,
вдохновенен и радостен труд,
и грядущего массы
за него нам хвалу воздадут.
Им сердца разогреет
То, что мы созидаем сейчас,
где восходом алеет
каждый миг, каждый вздох, каждый час.
Время не за горами, –
песнь поэта всюду зазвучит.
Сам увидишь, с годами
станет твёрже она, чем гранит».

ПЕРЕЦ МАРКИШ

(1895 – 1952)

МОЯ ТОСКА

В наш дом ужом вползает ночь,
и вместе с ней тоска.
Её бы я прогнать не прочь

с дверного косяка.
На улице уже темно,
в квартире тишина.
Как призрак, серое пятно
бликует из окна.

Снимаю обувь у двери,
чтоб скрип от каблука
до самой утренней зари
не слышала тоска.
Я в голове слова вяжу:
«Тоска, уж не взыщи,
я не поддамся шантажу,
меня здесь не ищи».

Я в одеяло завернусь,
вдавлю себя в кровать.
Теперь меня разыщет пусть,
я постараюсь спать.
Но как настойчива тоска, –
ну, что же за напасть.
Коснулась моего виска
и в душу забралась.

Она к артериям ползёт
и жадно кровь мою сосёт, –
о, как она крепка.
«Мне скуку на душу не лей,
я требую, окаменей,
уймись, моя тоска!»

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Слышу, ветер трепещет листком по стеклу, –
о защите он просит меня, и ночлеге.
Захотелось ему прикоснуться к теплу,
к передышке, в своём заколдованном беге.

Он с собою прохладу ночную принёс,
и мольбу растворил в своём жалобном стоне.
– Ты встречал голубка? – мой раздался вопрос,
прежде, чем я согрел его лаской ладони.

– Хочешь, ветер, свободно мы ночью и днём
будем вместе носиться, простором влекомы,
голубок, нам вдогонку, помашет крылом,
и вселенная станет отеческим домом.

МНЕ СНИЛАСЬ МАМА

Качается состав. Рассвет уже забрезжил,
скорей увидеть бы желанный свой перрон.
Всю ночь меня вагон, стуча, баюкал, нежил,
и встречу с мамою принёс глубокий сон.

Вот, за окном плывёт гусей спокойных стая,
их гогот вдруг прервал счастливый этот сон.
Вдруг замерли они, вагоны пропуская,
в ушах остался лишь колёсный перезвон.

Прошёл я много вёрст. Менялась панорама
в судьбе моих дорог, – победы и излом.
Мне снилось, – я в Москве. Идёт из кухни мама.
в её руке поднос, и кихалах на нём...

Она в глаза мои внимательно взглянула,
заметив перемен неукротимый шквал...
Сон улетучился. И с нарастающим гулом
рвануло весь состав. А за окном вокзал.

ИЦИК ФЕФЕР

(1900 – 1952)

ТЕНИ ВАРШАВСКОГО ГЕТТО*(фрагмент из поэмы)*

Отнюдь, не как нищие мечутся тени,
руками простёртыми ловят мгновенья.
Молитвенным шёпотом плавают строки
о том, что ещё не погибли пророки.
Себя выставляют, как гордое племя,
навстречу судьбе, невзирая на время.
И втайне мечтают о встрече с грозюю,
чтоб также забыть о минутах покоя.
Вперёд устремляться сквозь зной,
и сквозь стужу,
и верой себя защитить, как оружием.

ИЦИК МАНГЕР

(1901 – 1969)

ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ О НЕЖНОСТИ

Мне б хотелось для тебя купить луну
из бумаги с серебристо-чистым звоном.
Я в луну своё дыхание б вдохнул,
чтоб на дверь твою повесить восхищённо.

Я б поставил перед дверью трёх солдат
в голубых мундирах, чтобы для дозора,
и полковника, чтоб полон был наряд, –
из японского тончайшего фарфора.

Чтоб свой пост не оставляли допоздна,
чтобы каждый был внимателен и весел.
За здоровье моей маленькой принцессы,
стопку выпили б искристого вина.

«Мы серьёзны, – мне полковник говорит,
обнажая свою сабельку кривую, –
напускаем строгость, нас Господь простит,
но солдаты из фарфора не воюют».

Я с солдатами стою в одном строю
перед дверью моей маленькой принцессы.
Прямо с неба, чтоб на дверь её повесить, –
для неё я золотую снял звезду...

А когда с чужбины навсегда вернусь,
я на грудь принцессы сразу перевешу
ту звезду с двери, – она сверкает пусть, –
и напомнит ей мою к ней нежность.

КИНЕРЕТ

Много дней и ночей я прожил на чужбине, –
наконец, я вернулся в родные края.
У меня есть рубашка и пара ботинок, –
это скарб мой, – и большего нет у меня.

Я – поэт. Пыль родную глотал я с пелёнок,
сам я – Родины пыль, сам я – Родины плоть.
Я вернулся домой, и судьба благосклонно
приняла меня. Так повелел ей Господь.

Перед гладью Кинерета стану я гордо,
обниму жадным взглядом озёрный простор.
Чтоб молитву пропеть, напрягая аорту,
частотою дыханья усилив задор.

Красотою Кинерета я очарован,
с ним свиданье добавит мне в творчество сил,
для сюжетов поэзии, звонких и новых, –
я уверен, – Господь этим руководил.

С украинского

ВЛАДИМИР СОСЮРА

(1898 – 1965)

БАБИЙ ЯР

(фрагменты неоконченной поэмы, 1943 г.)

Сюда согнали всех, и выстроили в ряд,
и вражеская рявкнула команда.
Стреляли в них в угоду «фатерланду».
В Яр рядом падали: жена, сестра и брат,
друг детства с всей семьёй, младенец и старик.
Застыла обречённость в каждом взгляде,
свист смерти выл в стремительном снаряде,
звук шёпота смешал, и задохнулся крик.
Их тысячи легло в холодный, мокрый Яр,
тела их трамбовали сапогами,
рыдали тучи сизыми дождями,
цветы закрылись, чтоб не видеть тот кошмар.
И страшным горем переполнилась земля, –
смешалась кровь с кровавыми слезами,
казалось, жизни звук навеки замер,
склонились ниц кусты, трава и тополя.
Они ушли в бессмертье, в вечность, тьму могил.
а ведь, они любили землю, небо,
Украину, но враг ничем не погасил
жар их души, но безысходен жребий.
(...)
Случилось, братья, так. Мечты разбились в прах.
Наш Киев, орошу тебя слезами.
Наш златоверхий рай! Ты вечно с нами.
Растает холод троп, где проходил наш враг.
Мы отомстим за вас – за братьев, за сестёр.
врагам ответим смертью мы за смерти,
не сомневайтесь, отомстим, поверьте.
Свободным станет мир от вражьих орд.
(...)
Найдём мы всех, кто кровь младенцев выпускал,
кто Яр набил безвинными телами,

с тех пор ветров рыдание над вами –
все знают: этот плач звучать не прекращал...
Их смерть – зверью, врагам, кровавое застолье.
Яр в скорби молчалив, все горести собрав,
их пепел сердце жмёт, неизлечимой болью...
Всё можно пережить, лишь смертью смерть поправ.

(Первый перевод на русский язык)

С польского

ВЛАДИСЛАВ ШЛЕНГЕЛЬ

(1914 – 1943)

Поэт исключительный, с необычайной смелостью выразивший самые противоположные чувства: волнение, негодование и лирическую грусть. У стихов военного времени – собственная поэтика – напряжение между жизнью и смертью было велико.

Родился в Варшаве. Во второй половине тридцатых годов писал тексты популярных песен, фельетоны и стихи, выступал в кабаре. Предвидел наступление страшных времён, придерживался левых взглядов, симпатизировал социалистам, которые видели, какую угрозу человечеству таят в себе обе модели тоталитаризма – гитлеровская и сталинская. В 1939 г., уже после начала войны, основал Театр миниатюр в Белостоке, работал в нём зав. литературной частью и конференсье. В 1940 г. вернулся в Варшаву, попал в гетто. Погиб в 1943 г. в последние дни восстания в Варшавском гетто.

Стихи уцелели. Стихи-свидетельства одиночества, гордости и презрения к преступным законам истории. Стихи, которыми он предостерегал будущие поколения.

КОЛ НИДРЕЙ

Содержания этой молитвы
я не знал, но мелодий мольба
в душу крепко сознанием вбита
и осталась во мне, как судьба.

Зажжены жёлто-серые свечи,
дрожь в спине и в качанье бород,

всхлипы-жалобы в пасмурный вечер,
понижение звуков и взлёт,

в грудь битьё, руки вскинута к небу,
мудрость многожды читанных книг.
На пошаду нацелен молебен –
в нём библейский размеренный стих...

В эту ночь, что задёрнута тайной,
покаяньем «Кол-Нидрей» звучит.
Горьким пафосом здесь не случайно
просьба снятия прежних обид...

В мыслях я возвращаюсь к той ночи,
слышу, детство мне ранивший, стон.
Это сердце моё кровотоцит
и я этим опять потрясён.

Вот евреев испуганных лица, –
униженья, разграбленный ларь,
мордобой, и готова вонзиться
в горло им мародёрская тварь.

Растворились мы в круговороте
прочих наций, их помыслов, слов,
спрятав головы в плечи, и вроде
сбросив вечные цепи оков.

Отреклись от молитв и шаббатов,
и шагаем в обнимку с грозой.
Но назад мы глядим виновато
сердцем, мыслью, застывшей слезой...

Возвратиться, наверно, не поздно
в мир еврейства, в молитвенный круг,
где слышны нескончаемо просьбы
материнских заломленных рук.

Шелестя пожелтевшей страницей,
закрепив от тфиллина ремень,

представляем прекрасные лица
в судный, снявший обеты, тот день.

При печальной молитве «Кол-Нидрей»
будем с Богом вести диалог,
станет ясен нам и очевиден
путь, в который напутствовал Бог.

ЕВРЕЙСКОЕ ОКНО

Наше низкое еврейское окно,
в парк Красинского проклонуто оно,
где промокли все деревья под дождём,
утром, в сумерки лиловые и днём.

Я – еврей, и в этом вся моя вина,
в парк не смею посмотреть я из окна,
если вдруг нарушу я запрет,
не видеть мне больше в жизни белый свет.

Нам внушают, что мы черви и кроты,
мир должны воспринимать из темноты,
исполнять должны мы подневольный труд,
а иначе в порошок нас всех сотрут.

Всё иное навсегда запрещено,
но особо – не выглядывать в окно!

Но, когда на день опустит шторы ночь,
страх пытаюсь на мгновенье превозмочь,
чтоб припасть к окну, увидеть силуэт –
угасающей Варшавы мрачный свет.

Там у Ратуши, знакомые дома
разглядеть не помешает даже тьма,
театральной площади квадрат,
закопчённый входа главного фасад.

Позволяет всё увидеть из окна
верный друг – всегда лукавая луна.

Остриём своим мне в сердце ночь впилась,
но свой взгляд не отведу я. Не страшась,
в городской пейзаж гляжу, – в тревожный мрак,
забывая, что хозяйничает враг.

Впечатлений много, хватит на потом,
я прощаюсь. Будто закрываю дом.
Засыпая, я безудержно шепчу:
«Отзовись, Варшава, я помочь хочу!»

Вот, по городу роялей слышен звук,
и гремят аплодисменты тысяч рук,
позабыв о страшном горе и тоске,
как довесок неожиданный в пайке,

будто хочет он унынье растолочь, –
«Полонез» Шопена разрезает ночь,
тех роялей звуки чётки и ясны,
чтоб воспрянуть от зловещей тишины.

Понимаю я, что Бог послал с небес
этот, всем необходимый, «Полонез».
Как поведал нам давно один мудрец,
даже радости всегда присущ конец.

Да, окончен этой ночи яркий всплеск,
и в рояли возвратился «Полонез».
Хоть душа моя вконец воспалена,
отхожу я от еврейского окна.

СТАНЦИЯ ТРЕБЛИНКА

По маршруту Тлуш-Варшава
от вокзала Ост,
едешь прямо и направо,
объезжаешь мост.

Шесть часов всего в дороге
тащат поезда.

Путь простой, но очень строгий –
к смерти, – вот беда.

Станция едва заметна, –
ёлочки растут.
Но название конкретно –
Треблинкой зовут.

Кассы нету, и багажных
мест в помине нет.
За миллион не купишь даже
ты назад билет.

И родные не встречают
на платформе той.
Тишина висит над краем
мрачной пустотой.

Ёлки скукою объаты,
станционный столб
молчалив. Витиевата
надпись, словно долг:

«Это станция Треблинка».
И рекламы глас
на платформе строчкой длинной:
«Выключайте газ!»

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ*С немецкого***НЕЛЛИ ЗАКС**
(1891 – 1970)**НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ**

О, дети мои,
смерть пронзила ваши сердца,
словно тот виноградник,
что изобразил Израиль
в красном цвете на стенах
целой земли.

Куда направляется Малая Святость,
что ещё находится на моём песке?
Сквозь уединение труб
слышны голоса смерти:

Кладите на поля орудия мести –
с этим покончено.
Хлеб и металл, сёстры и братья
недр земли.

Куда направляется Малая Святость,
что ещё находится на моём песке?

**ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ
ИЗРАИЛЯ**

Отдыхающими кустами
окружена страна,
погружённая в сновиденья.

Сарра печёт на кухне пироги,
их ожидают во дворе люди.
Прямо на земле.

Сарра перемешивает тесто так,
как перемешаны звёзды,
как крестьяне с любовью
нежно вспахивают свою землю.

Остры запахи пряностей
с ягодами и свёклой.
Они промыты и заполнили миску.

Яркие красные продукты.

Глаза, полные грусти,
обращены в Вечность,
в её песочные часы,
в чувственность лунного времени.

Тихо думают, глядя на
оставленные свои следы
на пути к Богу,
на его просохшие родники,
ощущая себя баркасами со снедью.

Ваши тени,
женщины и девушки Израиля, –
это полюса яркого света
от золотого топаза
и женского благословения.

ИОВ

Дикая роза мучений
бушует с давних времён,
постоянно рвётся в другую сторону.
Южный полюс твоего одиночества,
словно стоишь ты в центре своей боли.

Глаза твои глубоки, голова наклонена,
застыв среди ночи,
как у ослепшего от победы охотника.

Голос твой бессловесен,
в нём замерло много вопросов.

Он вроде взывает к червям и рыбам.

Иов, ночные твои стражи рыдают.
Одинокие сгустки твоей крови
блекнут, обращаясь к солнцу.

ИАКОВ*

О, Израиль,
с утра ты начинаешь борьбу,
в ней все рождения с кровью.
Острое лезвие петушиного крика
прокалывает сердца людей.
О, раны нашего дома.
Каждую ночь и день.

Ты борец
во плоти круговорота светил,
в скорби ночной бессонницы,
нарушенной рыдающей
песней птицы.

О, Израиль,
ты благостный напев счастья,
свежесть капель утренней росы,
Твоего Самого Главного.

Ты наше счастье,
погружённое в забвение.
Стонущее на льдине
от смерти к воскрешению
грустного Ангела,
проглядевшего глаза к Богу,
так же, как ты!

* *Иаков в Библии имеет второе имя – Израиль.*

ХАСИДСКИЕ ТАНЦЫ

Ночь в предродовых схватках
со знамёнами тризны смерти.

Чёрные шляпы.
Божьи блики на них
напоминают древнее море.

Оно словно взвешивает их
и осуждает.

Блики летят на берег,
проявляя
разрезы земли, как чёрные язвы.

Язык ощутил мир на вкус.
Он до конца пропел,
он дышит загробным миром.

На Миноре
молятся женщины – Плеяды.

Мы стали терпеливы
к будущей смерти.
Прошлые смерти нами забыты.
О, человеческий страх!
Ты непреодолим.

Привыкание к смерти уходит в мечту,
там гибнет она на подмостках ночи
среди чёрных осколков.
И костлявая луна освещает руины.

О, человеческий страх!
Ты непреодолим.
Где носилки из лозы?
Ангел покоя прикоснулся к нам
тайным источником, что от усталости
струится к смерти.

ИЗРАИЛЬ

Ты невероятен
в прошлом и настоящем.
До смертного конца
ты трудишься на Вечность.
Словно в глубоком сне,
подняв голову магической спирали,
что округлила звериной маской
небесные светила.
Закружила вокруг созвездия Рыбы,
и вихрем пролетая в Овене...

До прояснения запечатанного неба,
Ты отчаянно, до сомнамбулизма,
встречаешь Божью рану там,
где бездна струится светом.

Израиль,
ты торопишься к зениту,
накапливая всё от чуда Главного –
грозу, что разрушает в горах
твоё болезненное время.

Израиль,
ты нежнее птичьих песен
и жалоб страдающих детей.
Ты струишься по жизни
Божьего источника,
рождённого твоей кровью.

ХАСИДСКИЕ ПИСЬМА

Всё благополучно в тайне.
Слова в полёте
дышат Вселенной.

Защита, как маска,
обрамляет стороны
звёздной новорождённой ночи.

Всё благополучно в тайне.
Живёт источником
сильным, как желание.

Сквозь существование
личностей, рисующих себя,
как песок в пруду.

Всё благополучно в тайне.
И жизнь костей магического числа
с продолжением,
кровавящих свои вены.

Как солнечное затмение,
по закону переходящее в боль.

Всё благополучно в тайне
воспоминанием о жизни
и предчувствием серой смерти.

И носильщики, тянущие
страну через Иорданию,
Надвигаясь, как стихия,
как братья и сёстры...

И каменные сердца,
ощутившие летучие пески,
сохраняющиеся в полночь
и хоронившие молнии жизни.

И Израиль, дерущийся с горизонтом,
спящий под звёздными семенами
с тяжёлыми сновидениями о Боге.

ПРОЩАНИЕ

Слова кровоточат из наших ран.
Ещё вчера они на море возникали,
на пароходе, – не мешал им шторм.
Они, как обнажённый меч,

по сердцу били.
Ещё вчера, как звёздный дождь,
неслись,
пронзая нас насквозь.

А в полночь снова поцелуи в плечи, в шею
звучали соловьиной трелью нам.

Сегодня ж, – руки немощно, как плети,
повисли.
И голова несобранных волос.

Мы окровавлены, погасли, мы молчим.
Слова исчерпаны. Бессмысленно искать.
Руками держим вместе твой источник.
Мы, вроде войска,
что смирилось с пораженьем.
Прощаю я беспомощность твою.
Да, вот прощанье наше здесь, до смерти...
Кровоточат слова – живые раны.

ДЫМОХОД

В прекрасной земле
место найдётся для смерти.
Израиль! Ты приглашаешь
нас раствориться в твоём тумане,
в дыханье твоём на бегу.
Трубочист, окрашенный сажей,
рвётся стремительно к звёздам,
ведь ждёт его там солнца глоток.

О, дымоход!
Дорога открыта для тех,
кто грустен, кто наглотался пыли,
кто в состоянье настигнуть
свою звезду.
Дорога открыта бегущим,
и тем, кто жизнь прожил в дыму.

О, место для Смерти!
Она вызывает на суд
хозяина дома вместе с гостями.

О, ваш указательный палец!
Он направлен к месту
вечной мечты.

О, дымоход!
О, палец!
О, Израиль!
Ты приглашаешь
к разлукам и встречам!

КТО МНЕ ОТВЕТИТ...

Кто возникнет у вашего
смертного одра?
Кто заберёт песок Израиля
из обуви странника, –
горячий песок Синая?

Кто смешает песок
с соловьиной трелью?
Кто сможет сравнить самолёт
с порханием бабочки?
Кто смешает движение пыли
с извивом змей?
Кто может сравнить кино
с мудростью Соломона?
Кто сравнит горечь вермута
с ощущением времени?

О, ваши пальцы!
Не вы ль заберёте песок
из посмертной обуви
для пустоты?

Прямо с утра вырвется мысль
об обуви будущего.

ЗАУПОКОЙНАЯ МЕССА

Рассказ умирающего ребёнка

Меня качает мама напевая,
мне мессу упокойную по мне.
Она мою сжимает руку –
не хочет, чтобы я её покинул,
оттягивает наше расставанье,
я это ощущаю.

Она нашёптывает мне слова
заупокойной мессы –
гортанных звуков россыпь,
любимого мной голоса.
Он не смолкает
с вечерних серых сумерек
и до восхода солнца.
В моих глазах своё он
отраженье ищет.
Старается мои заполнить уши
энергией дыханья ветра,
что шёпотом звучит в моём почти
уснувшем сердце.

И кажется, она меня уводит
прочь в сторону от смерти.
О, чудо! Душа приемлет
мгновенье жизни.
Стихает месса,
послушная желанью мамы.

МАРК ШЕЙНБАУМ

С немецкого

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

(1920– 1970)

ФУГА СМЕРТИ

Чёрное молоко зари пьём мы вечером
мы пьём его в обед и утром, мы пьём его ночью, мы пьём его и пьём
мы в воздухе роем могилу – там, не так тесно лежать
Мужчина, живущий в доме, играет со змеями и пишет
он пишет, когда стемнеет в Германию о твоих золотых волосах Маргарет
он пишет и выходит из дому и звёзды светят он зовёт своих псов
он зовёт своих жидов копать могилу в замке он приказывает нам
играть к танцу

Чёрное молоко зари, мы пьём тебя ночью,
мы пьём тебя утром и в обед и вечером,
и не напьёмся им никак, мы пьём и пьём.
Мужчина, живущий в доме, который играет со змеями, пишет
он пишет, когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарет

Твои пепельные волосы Суламифь мы копаем могилу в воздухе,
где не так тесно лежать
Он зовёт: копайте поглубже, вгрызайтесь в земную твердь вы вон те и эти
пойте и играйте
он выхватывает железо из-за пояса, и размахивает им,
его глаза отдают голубизной
поглубже вонзайте лопаты вы вон те и эти играйте же дальше к танцу

Чёрное молоко восхода мы пьём тебя ночью
мы пьём тебя днём и утром и вечером мы пьём и пьём
мужчина живёт в доме золото твоих волос Маргарет
пепельные волосы твои Суламифь он играет со змеями
он призывает играйте слаще о смерти смерть это мастер из Германии
он повелевает, и смычок жалостно касается скрипки,
и тогда вы возносите дымом вверх
и вот у нас уже могила в облаках где лежать и вовсе не тесно

Чёрное молоко утра мы пьём тебя ночью
мы пьём в обед мастер из Германии
мы пьём тебя вечером и утром мы пьём и пьём
смерть это мастер из Германии с голубым взором
он попадёт в тебя свинцовой пулей, не промахнётся,
мужчина живёт в доме твои золотые волосы Маргарет
он натравливает своих кобелей и дарит нам могилу в воздухе
он играет со змеями и снится ему мастер смерти из Германии
золото твоих волос Маргарет,
пепел твоих волос Суламифь.

С польского

ЮЛИАН ТУВИМ

(1894 – 1953)

МЫ ПОЛЬСКИЕ ЕВРЕИ

Моей матери в Польше, или любимой её тени.

1.

...И сразу слышу вопрос: «Откуда это – мы?». Вопрос в значительной степени оправданный. Задают мне его евреи, которым я всегда объяснял, что я поляк; а теперь зададут мне его поляки, для огромного большинства которых я как был, так и остаюсь евреем. Вот, ответ одним и другим.

Я – поляк, потому что мне так нравится. Это моё личное дело, и я не подумаю по этому поводу ни перед кем отчитываться, объяснять, обосновывать. Я не вздумаю делить поляков на «чистокровных» и «нечистокровных», оставляя это чистокровным расистам, родимыми и не родимыми гитлеровцам. Я разделяю поляков, как и евреев, и другие народы, на умных и глупых, порядочных и жуликов, интеллигентных и занудных, унижающих и униженных, джентльменов и неджентельменов etc.

Разделяю также поляков на фашистов и антифашистов. Эти два лагеря, естественно, не являются однородными, каждый из них богат оттенками красок различной интенсивности. Однако водораздел явно существует, и скоро его удастся отчётливо обозначить. Оттенки останутся оттенками, а чёткость водораздела определится, и сам он углубится решительным образом. Я мог бы сказать, что в политическом смысле разделяю поляков на антисемитов и антифашистов. Потому что фашизм – это всегда антисемитизм. Антисемитизм – это международный язык фашистов.

Если бы, однако, пришлось обосновывать свою национальность или, вернее, национальное...

2.

Самосознание, что я поляк, исходя из очень простых, почти примитивных причин, в основном рациональных, частично всё же иррациональных, однако без мистической приправы. Быть поляком – это не почёт и не честь и ни в коем случае не привилегия.

Так же с дыханием. Я не встречал ещё человека, который гордился бы тем, что дышит.

Поляк – потому, что родился в Польше, здесь вырос, здесь меня воспитали, здесь я учился; потому что в Польше я был счастливым и несчастным; потому что из эмиграции хочу возвратиться именно в Польшу, если бы даже в других местах мне был обещан рай.

Поляк – потому, что по какому-то очень странному предрассудку, который не поддаётся ни научному, ни просто логическому объяснению, жажду, чтобы меня после смерти приняла и всосала польская земля и никакая другая...

Поляк – потому, что мне в отцовском доме по-польски об этом сказали; потому что я там польской речью с пелёнок вскормлен был; потому что мать учила меня польским стихам, и польским песенкам, потому что, когда возникло первое поэтическое потрясение, оно разразилось польскими словами, потому что в жизни стало главным – поэтическое творчество, и оно не мыслится мною на каком-либо другом языке, если бы я им даже великолепно владел.

Поляк – потому, что исповедался по-польски о тревогах первой любви и по-польски лепетал о принесённых ею радостях и бурях. Поляк ещё и потому, что берёза и верба мне ближе пальмы и кипариса, а Мицкевич и Шопен дороже Шекспира и Бетховена. Дороже по причинам, которых никакой логикой не объяснить. Поляк – потому, что перенял у поляков определённую долю их национальных недостатков. Поляк – потому, что моя ненависть к польским фашистам значительно сильнее, чем к фашистам другой национальности. Считаю, что это чрезвычайно важное доказательство того, что я поляк. Однако, прежде всего, я поляк, потому, что мне так нравится.

3.

И тут слышу голоса: «Ладно, но если поляк, то в таком случае, почему «Мы – еврей»? – спешу с ответом: «*ПО КРОВИ*» – «Значит расизм?!» – «Нет, вовсе не расизм, как раз наоборот».

Разной бывает кровь: та, что течёт в жилах, и та, что течёт из жил. Первая

– это жидкость, циркулирующая в теле, значит её изучение в компетенции физиологов. Кто этой крови приписывает какие-то другие, кроме физиологических, особые характеристики, и таинственные свойства, тот, как это мы видим, в результате, превращает города в развалины, уничтожает миллионы людей и, в конце концов, привлекает карающий меч на собственное племя.

Другая кровь – это именно та, которую главарь международного фашизма извлекает из человеческих существ, чтобы доказать преимущество своей крови над моей. Это кровь безвинно убитых миллионов людей. Это не кровь, затаённая в венах и артериях, а кровь, ставшая видимой. Такого наводнения мученической крови не знал ещё мир со дня его сотворения, а кровь евреев, именно кровь евреев, ни в коем случае не «еврейская кровь», течёт самыми широкими и глубокими потоками. Почерневшие её ручьи сливаются в бурную, пенистую реку.

И В ЭТОМ НОВОМ ИОРДАНЕ Я ПРИНИМАЮ КРЕЩЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ, ЧЕМ ВСЕ ИНЫЕ КРЕЩЕНИЯ: МУЧЕНИЧЕСКОЕ БРАТСТВО С ЕВРЕЯМИ.

Примите меня, братья, в эту почётную общность, общность безвинно пролитой крови. К этой общине, к этому алтарю жажду с сегодняшнего дня принадлежать. Этот титул «Еврея doloris causa»* пусть будет дан польскому поэту народом, который его породил, не за какие-то особые заслуги, которых у меня нет перед вами. Я буду считать это авансом и самой высокой наградой за те несколько польских стихов, которые, возможно меня переживут, и память о которых будет связана с моим именем, именем Польского народа.

4.

На повязках, которые вы носили в гетто, была изображена звезда Давида. Я верю в такую будущую Польшу, в которой эта звезда, звезда с нарукавных повязок станет одной из самых высоких наград для самых храбрых солдат и офицеров польских. Они будут её с гордостью носить на груди рядом со старинным орденом «*Virtuti Militari*». Будет ещё учреждён Крест Гетто – название глубоко символичное.

Будет учреждён также Орден Жёлтой Заплаты – более почётный, чем многие теперешние.

Будет оставлен в Варшаве, впрочем, как и в других польских городах, и навечно законсервирован в том виде, в каком мы его застанем – во всём ужасе разрушения и пожарниц, какой-то фрагмент руин. Обнесём оградой этот символ позора наших врагов и славы наших замученных героев. Соорудим эту ограду из цепей, отлитых из пленённых гитлеровских орудий. В звенья этих

цепей будем ежедневно вплетать свежие, живые цветы, чтобы напоминали они будущим поколениям об уничтоженном народе.

В ознаменование того, что жива наша боль и память о нём.

К сонму народных святынь добавится ещё одна. Будем туда водить детей и рассказывать о самом страшном в истории мученичестве людей.

В центре этого памятника, окружённого, дай-то Бог, стеклянными домами, гореть будет никогда не потухающий огонь. Прохожие будут снимать перед ним шляпы. А кто христианин – осенит себя крестным знамением.

Мы же в трауре, но и с гордостью будем носить этот почётный титул, превышающий все другие, сияющий ранг Польского Еврея – мы, чудом и по воле случая оставшиеся в живых. С гордостью или, скорее, со склонённой головой и даже со стыдом, так как не «мы, польские евреи», а мы – призраки, тени замученных и убитых братьев наших – польских евреев.

** doloris causa (латынь) – за страдания (у Тувима парафраз латинского термина «honoris causa»). Примечание переводчика.*

5.

Мы – польские евреи... Мы вечно живые – это значит те, кто погиб в гетто и лагерях, и мы, призраки, то есть те, которые из-за морей и океанов вернёмся в страну и будем пугать среди руин целостью сохранённых тел и призрачностью как будто бы сохранённых душ.

Мы – правда гробов и призрак существования, мы – миллионы трупов и несколько тысяч, может быть, десятков тысяч как будто бы не трупов, мы – братская могила, конец которой теряется где-то за горизонтом, и мы – кровавый обрубок, какого ещё не видела и не увидит история.

Мы – удушенные в газовых камерах, перетопленные на мыло, которым не смоешь следов грехов всего мира, содеянных против нас.

Мы – мозги, которые разбрызгивались по стенам наших убогих жилищ и по каменным заборам, рядом с которыми нас расстреливали только за то, что мы евреи.

Мы – Голгофа, на которой может поместиться необозримый лес крестов.

Мы – те, кто два тысячелетия тому назад дали человечеству одного, Римской Империей безвинно казнённого, Сына Человеческого, смерти которого хватило, чтобы ему стать Богом. Какая же религия должна вырасти из миллионов смертей, пыток, унижений и возведённых в последнем отчаянии рук?

Мы – Шлёмы, Срули, Моськи, пархатые, бейлисы, гудлаи, имена которых превзойдут имена Ахиллов и Ричардов с Львиными Сердцами.

Мы – вновь в катакомбах, в бункерах, под мостовыми Варшавы, топающие

в вони канализационной жижи, провожаемые удивлёнными взглядами здешних постоянных обитателей – крыс.

Мы – с карабинами на баррикадах, среди руин наших разрушаемых с воздуха нищенских жилищ, мы – солдаты чести и свободы.

«Йойне, иди на войну». Пошёл, уважаемые господа, и погиб за Польшу.

Мы – дичавшие в лесах, кормившие детей наших корешками и травой.

Мы – ползающие, скрывающиеся, настороженные, с раздобытой каким-то чудом за последние гроши или вымоленной где-то двустволкой. «А слышал, пан, анекдот о лесном еврее? Жид, видит пан, выстрелил и со страху в штаны наложил. Ха, ха!»

Мы – Иовы, мы в трауре по сотням тысяч наших Уршуль.

Мы – глубокие рвы раздробленных, перемолотых костей и мёртвых тел со следами пыток.

Мы – крик боли! Крик настолько протяжный, что он отзвётся в самых отдалённых веках, столетием столетию передаваться.

Мы – величайшая в истории куча кровавого месива, которая удобрила Польшу, чтобы тем, кто нас переживёт, лучше казался вкус свободы.

Мы – невероятная резервация, мы, последние из Могикан, недобитки резни, которых какой-нибудь новый Барнум будет возить по миру, уведомляя на пёстрых афишах:

«Неслыханное представление! The biggest sensation in the world!* Польские евреи, живые и подлинные».

Мы – театр ужасов, Schreckenkammer**, Charbe de tortures!*** Нервных персон просят покинуть зал!

Мы – над заморскими реками сидящие и плачущие, как когда-то над реками Вавилона.

По всему миру оплакивает Рахиль детей своих, но не отыскать ей их.

Над Гудзоном, над Темзой, над Евфратом, Нилом, Гангом и рекой Иордан блуждаем мы в рассеянии, взывая: «Висла, Висла – мать ты наша, серая Висла, не от зари порозовевшая, а от крови».

Мы, которые даже захоронений наших детей и матерей не отыщем; они толстыми слоями улеглись по всей отчизне, распростёрлись в одну огромную могилу.

И не будет одного единственного места, где ты бы мог цветы возложить, и придётся, как сеятель зерно, разбрасывать их широким жестом: авось случаем и упадут на родную могилу.

Мы, польские евреи... Мы – легенда, источающая кровь и слёзы. Кто знает, не придётся ли писать стихом из Библии: «Чтобы резцом железным – словом – на вечные времена на камне вырезаны были!» (Иов XIX, 24).

Мы – апокалипсис, достойный глубочайших исторических изысканий.

Мы – плач Иеремии: «Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши пали от меча. Ты убивал их в день гнева Твоего, заколол без пощады!»

«Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями».

«Воды поднялись до головы моей и я сказал: «погиб я». Я призывал имя Твоё, Господи, из ямы глубокой». «Ты видишь, Господи, обиду мою: рассуди дело моё».

«Воздай им, Господи, по делам рук их». «Пошли им помрачение сердца и проклятие Твоё на них». «Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной»

(Плач Иеремии II- 21; III- 53, 54, 55, 59, 64, 65, 6).

* * *

Над Европой высится огромный и всё растущий скелет – привидение. В его пустых глазницах горит огонь опасного гнева, а пальцы сжались в костистый кулак. Он наш вождь и диктатор, он будет нам диктовать права наши и деяния.

Нью Йорк, 1944 г.

* *Величайшая мировая сенсация / англ./*

** *Камера ужасов /нем./*

*** *Камера пыток / франц./*



СКРИПАЧ ИЗ ГЕТТО

ИЗ КНИГИ «СКРИПАЧ ИЗ ГЕТТО»

Стихи еврейских поэтов, узников концлагерей и гетто

Группой поэтов – членов Берлинского Клуба Литературы и Искусства осуществлено два издания книги «Скрипач из гетто» в 2002 и в 2005 гг. В предисловии ко второму изданию было сказано: «В апреле 1943 года в Варшавском гетто, в котором проживало 500 тысяч евреев, вспыхнуло организованное восстание. Оно продолжалось несколько месяцев, и было жестоко подавлено нацистами. Уцелевшие – отправлены в концлагеря и уничтожены. Поэты Варшавского гетто были полноправными участниками движения сопротивления, их стихи становились песнями, распевались узниками, с ними на устах многие шли на смерть.

Переводчики стихов, вошедших в книги, долго вынашивали идею их издания, но лишь собрав достаточный материал, смогли воплотить идею в жизнь. В первом издании – переводы 100 стихотворений, во втором – 151. Материалы поступали из еврейских музеев, архивов и библиотек Варшавы, Кракова, Вильнюса, Берлина и Киева, а также от частных лиц из Израиля.

Мы предлагаем вниманию читателей подборку из этих изданий.

*«Пой, вопреки всему, наперекор природе.
Ударь по струнам, пой, сердцами овладей!»
Ицхак Каценельсон*

ЗЮСМАН СЕГАЛОВИЧ

(1884 – 1954)

Поэт и беллетрист. Писал на идиш. Родился в глубоко религиозной семье в Белостоке. В 1904–1905 гг. примкнул к Бунду, став активным членом этой партии. За организацию стачек в Белостоке несколько раз сидел в тюрьме. В 1903 г. впервые опубликовал стихи в газете «Западная окраина».

В 1904 г. стихами на идиш дебютировал в газете «Фрайнд». После белостокского погрома с семьей переехал в Лодзь. Первый сборник стихов – «Штиле троймен» («Тихие мечты», Варшава, 1909 г.) В 1910–20-х гг., стал одним из видных литераторов. Зрелость его мастерства проявилась в поэме «Ин Казмерж» («В Казимеже», Варшава, 1912 г.), принесшей ему известность.

Перевел на идиш комедию Н. Гоголя «Ревизор» (Варшава, 1921 г.), которая с успехом ставилась на сценах еврейских театров Европы и Америки.

В 1933 г. Союз еврейских писателей и журналистов в Варшаве выпустил сборник, посвященный 30-летию литературной деятельности Сегаловича.

В 1939 г., когда нацисты оккупировали Польшу, Сегалович с группой писателей покинул Варшаву, жил в Вильно, в Ковно, после чего через Россию, Болгарию и другие страны прибыл в Эрец-Исраэль (1941 г.) Два года работал в газетах «Ха-бокер», «Ха-zman», где опубликовал на иврите одну из своих больших поэм времён Катастрофы «Дортн» («Там»). В 1948 г. переехал в Америку. В Нью-Йорке был связан с организацией еврейского Белостокского землячества, с организацией еврейских писателей «Клуб Гломацкая, 13». В нью-йоркской газете «Форвертс» опубликовал автобиографическое эссе «Майне зибн йор ин Тель-Авив» («Мои семь лет в Тель-Авиве»); участвовал в 1-м съезде Всемирного еврейского культур-конгресса. После провозглашения Государства Израиль намеревался переселиться в страну, но смерть помешала его планам. Некоторые книги Сегаловича были переведены на другие языки: польский, румынский, французский, иврит.

ГОРЕТЬ МЫ БУДЕМ

На жертвенном огне сгорим
И сила дымом вверх взовьётся.
Порывов наших страсть уймётся.
На жертвенном огне сгорим.

Но воля к жизни остаётся,
И искр чувства не унять.
Ничто не возвратится вспять,
Но воля к жизни остаётся.

Исчезнет в небе едкий дым,
Что плавает над мирным морем.
В душе останется он горем,
Хоть и исчезнет едкий дым.

ТАЙНА ИЕРОГЛИФОВ

В иероглифах твоих волос
на белизне моей подушки
сокрыт таинственный вопрос:
Здесь, может, айсберга верхушка?

Полузакрытые глаза,
До боли стиснутые зубы.

Кто эту тайну предсказал?
О чём умалчивали губы?

Что привело тебя сюда?
Кто вырвет из моих объятий?
Непостижимы иногда
уже привычные понятия.

Ты предо мной обнажена,
Но тайна всё-таки осталась.
Проснись, страхни остатки сна –
нам счастье нелегко досталось.

(Переводы М. Шейнбаума)

ДОВИД ЭЙНГОРН

(1886 – 1973)

Поэт, драматург, публицист. Родился в Кареличе под Новогрудком в семье военного врача. Учился в хедере, затем в иешиве. С 13 лет писал стихи на иврите.

Сблизившись с радикально настроенной молодёжью местечка, перешёл в творчестве на язык народных масс – идиш. Дебютировал стихотворениями на страницах бундовской газеты «Идишер арбетер» (Вильно, 1904 г.). Выпустил в Вильно и Варшаве несколько сборников стихов на идиш.

В 1912 г. арестован за революционную деятельность в рядах Бунда, после полугодового заключения в виленской тюрьме вынужденно покинул Россию. Жил во Франции, Швейцарии, продолжая сотрудничать в еврейской прессе. С 1917 г. – соредактор (совместно с П. Л. Гершем) женевского бундовского еженедельника «Ди фрайе штиме». В 1920 г. переехал в Берлин, став корреспондентом нью-йоркской «Форвертс», печатал стихи, статьи, главы из романа о русско-еврейской эмиграции в Европе. Работал над переводом на идиш Библии.

В 1922 г. в Берлине отдельным изданием вышла поэма Эйнгорна «Реквием», посвящённая памяти десяти миллионов жертв Первой мировой войны. Важная постоянная тема публицистики Эйнгорна – полемика с коммунистами.

В период с 1927 по 1940 годы жил в Париже, редактировал ежедневную газету Бунда «Унзер Штима» («Наш голос»).

Перед вступлением немецких войск в Париж успел бежать и в 1940 г. до-

брался до Америки.

В 1943 г. издан сборник «Ав на-рахамим» («Господь милосердный», Н.-Й., 1943; стихотворения, посвященные Катастрофе).

МОЙ НАРОД

Избавителя ждёшь ты
все двадцать веков с нетерпением,
смотрит мир на тебя с удивленьем
и не может понять, как взглянуть,
чтоб постигнуть особый твой путь,
от всего обособленный провиденьем.

Устремляясь вперёд,
остаёшься ты в прошлом. Доколе?
На свободе ты раб, но свободен в неволе,
и далее провидец блестящий,
порою, слепец в настоящем –
в сокрытой за тайной завесою доле.

Ты умеешь подняться
наверх, в бесконечные выси
и низринуться вдруг, опозорен, зависим
и в счастье своём, и в мученье.
Вперёд и назад – назначенье
дано тебе силой неведомой мысли.

Смотришь вдаль и себе
для вина виноград собираешь,
споришь с Богом, но с верой в Него умираешь.
Мир вести за собою способен,
ты, вечно к нему приспособлен,
свой блеск запылить так легко позволяешь.

Ищешь мира,
но первым готовишь себя к истязаньям,
веришь в будущее, но и ждёшь наказания,
слушать рад ты, мечтатель-народ,
про Мессии желанный приход,
надежду хранишь ты и в горьких стенаньях.

ДНИ ЖИЗНИ

*«Дни жизни уходят беззвучной волной,
как с берегом дальним, прощаясь со мной.
Дни жизни уходят, как девушки в круг, –
танцуют под звонкий сердеч своих стук.
Как дети, дни жизни бегут на порог
и сыплют, как дети, под дверь мне песок.
Уходят – украдкой слеза упадет...
Как с другом разлука их тяжкий уход».*

Вена, 1921

ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ ВДАЛЕКЕ

Вы заблудились вдалеке.
Грехом такое не считайте.
Тоскуя по родному дому,
ребёнком остаётесь вы.

Издалека приходит жалость,
но в этом нет стыда нисколько.
Она мечты с собой приносит,
чтоб было с чем домой прийти.

ТЕМ, КТО ЯВЯТСЯ...

Те, кто явятся в мир после нас,
будут всё начинать сначала.
Для них моя песня в их трудный час –
она для них мною предназначалась.

Тем, кто явятся годы спустя,
духом не павшим, с праведным гневом,
песня моя, над ними взойдя,
станет звучать победным запевом.

Каждый из них – мой желанный сын –
с песней моей отыщет дорогу,
вникнет в суть до самых глубин,
явится в мир он посланцем Бога.

(Переводы Л. Бердичевского)

МИРЬЯМ УЛИНОВЕР

(1890 – 1944)

Родилась в Лодзи, Польша. Получила традиционное еврейское образование, окончила народную школу. Рано потеряла родителей. Писала на идиш. Опубликовать стихи начала с 1916 г. в еврейской прессе Лодзи.

Улиновер – одна из немногих писателей-женщин в идишистской литературе, поддержавших фольклорное начало в поэзии. С началом немецкой оккупации Польши в сентябре 1939 г. попала в Лодзинское гетто. По свидетельству очевидцев, она и там много писала. В 1944 г. была отправлена в Освенцим, где погибла в августе 1944.

Небольшая часть стихотворений из так и не вышедшего в свет её сборника «Шабес» («Суббота») была опубликована в поэтической антологии Э. Кармана «Идише дихтеринс» («Еврейские поэтессы»). Еще 16 стихотворений включены в антологию «Дос лид из геблин» («Песня осталась», Варшава, 1951), посвящённую творчеству еврейских поэтов, погибших в годы Катастрофы.

ПЕСНЯ ТРУБОЧИСТА

Из трубы приносит ветер
горестных аккордов звук.
Ууу! Мелодию наметив
для свиданий и разлук.

Не имел он тяги к пенью,
радостей почти не знал.
Запах гари, пепла, тленья
убеждал и угрожал.

И рука у трубочиста
тащит копать, как магнит.
И азарт его неистов –
он в движениях сквозит.

Верит, что его работа
ослепительно бела,
успокаивает для дремоты
и обильного стола.
А труба дрожит и стонет
от толчков истопника,

без особых церемоний,
вся во власти сквозняка.

Ветер шумный, ветер чуткий
сдобрен едкою жарой.
Он бушует не на шутку –
Ууу! Разносит звуков вой.

ПИСЬМО

Время всё разносит в щепы,
торопливо, безоглядно,
беспардонно и нелепо
всё стирает на корню.

Я прислушиваюсь чутко,
но надежда быстро тает.
В ту же самую минутку
мне несут твоё письмо.

Сообщаешь, что местечко
наше ты на днях покинешь.
Ты ведь этим бессердечно
боль мне тяжкую нанёс.

В виде моего подарка
(Только Бог меня услышит!)
Я шепчу: «Люблю я жарко,
вся иссохла по тебе».

Вот бегу я мимо сада,
мимо пашни, леса, поля,
мимо речки, мимо взглядов. –
что бросают на меня

Я хочу твоё посланье
утопить скорее в речке,
истребить воспоминанье –
вырвать из своей души.

В этом мире беспощадном
превращу его я в пепел.
Весточка твоя с досады,
как любовь моя, сгорит.

После этого с дороги
я отправлюсь восвояси.
Ветер жёсткий, ветер строгий,
за собой меня несёт.

Вот течение уносит
по волнам письмо свободно.
И пощады не попросит
белокрылое письмо.

(Переводы Л. Бердичевского)

АВРОМ ЗАК

(1891 – 1980)

Родился недалеко от Гродно. Его отец был учителем иврита. Получил религиозное и светское образование. Дебютировал в 1908 г. с идиллической элегией.

С 1909 г. в Варшаве – рассказы, песни, фельетоны. Участвовал в Великой Отечественной войне. Окончил режиссёрский факультет ВГИК (мастерская С. М. Эйзенштейна, 1944 г.) Его литературный дебют в кино – обработка сценария Е. Шварца «Первоклассница».

В 1946 г. репатриировался в Польшу.

ТЕПЕРЬ Я ЭТО ЗНАЮ

Теперь я уже без сомнения знаю,
что нет у меня ничего:
ни знака, ни следа, ни камня на камне –
всё пусто вокруг и мертво.
Убийца коричневый был беспощаден:
безжалостен, туп и жесток.
Мой дом – мой причал уничтожен врагами,
и я навсегда одинок.

Ищу и не знаю – не в общей ль могиле,
в забытом клочочке земли,
в Треблинке, быть может, на адском огне ли
на страшную смерть обрекли:
и мать, и сестру, и жену, и ребёнка,
пытаясь следы замести,
а ветер игривый их пепел развеял, –
так где их следы мне найти?

Теперь я уже без сомнения знаю,
что нет у меня никого,
и всё дорогое, о чём мне мечталось,
рассыпалось в прах и мертво.
И старый наш мир бесконечной
пустынею стал для меня.
Куда мне податься? Средь жалких развалин
не вижу я светлого дня.
(Перевод А. Ходорковского)

ИСРОЭЛЬ ШТЕРН

(1891 – 1942)

Родился в бедной семье в местечке Остроленка, Польша. Учился в хедере, иешиве. Во время Первой мировой войны оказался в Вене, куда был интернирован, как российский подданный. В 1917 г. возвратился в Варшаву. Дебютировал стихами в еженедельнике «Дос фолк» (Варшава, 1919 г.) Позже публиковал стихи в различных варшавских еврейских изданиях, а также в нью-йоркской «Цукунфт». Широкую известность Штерну принесла поэма «Фрилинг ин шпитол» («Весна в больнице», Варшава, 1924 г.) Поэма вошла в антологию еврейских поэтов, погибших в Катастрофе «Дас лид из геблибн» («Песня осталась»; Варшава, 1951).

После оккупации Польши гитлеровскими войсками Штерн оказался в Варшавском гетто, где и погиб в 1942 г. По свидетельству очевидцев, он много писал, но большинство его рукописей пропало. Лишь два обнаруженных неизвестных стихотворения Штерна были опубликованы в журнале «Голдене кейт» (1959 г.) Его творческое наследие вошло в книгу, изданную после его смерти «Лидер ун эссеен» («Стихотворения и эссе»; составитель Я. Лейвик, Нью-Йорк, 1955 г.) Еврейские критики писали: «Штерн одной книгой вошел в вечность».

НЕ ЗАВИДУЮ Я НИКОМУ...

Не завидую я никому,
разве только лишь песне косы,
что поёт на лугу в час вечерний.

Не завидую я никому,
разве только лишь песне безмолвья,
уходящей в глубины корней
устремившихся в небо деревьев.

В проникающем эхе глухом
отдалённых мычаний вола
часто слышатся стоны Земли,
порождающей нивы клочок.

Не завидую я никому,
лишь задумчивой песне косы,
что поёт на лугу в час вечерний.
(Перевод А. Ходорковского)

МЕЛЕХ РАВИЧ (1893 – 1976)

Известный эссеист, прозаик, поэт и критик. Мелех Равич – псевдоним Захария Ельханана Бергнера.

Родился в Родимно, в восточной Галиции. Получил религиозное воспитание. Закончил гимназию в Станиславове. Работал банковским служащим. До войны жил в Варшаве. Много путешествовал. Эмигрировал в Канаду – в Монреаль.

ЗРЕЛИЩЕ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ

Мой взгляд застыл, глаза окаменели – часами
всматриваюсь я в картину эту,
может быть, годами:
вот дети гетто мёртвые лежат, лампадки слабые,
угасли фитильки...
Я цепенел, и вдруг заулыбались их личики,
и в танце тела сплелись, как мотыльки.

Конечно, в танце сцеплены ручки,
ведь дети только прилегли немного,
им жарко стало. Скинув рубашонки,
лежат, и проступают рёбра
из клеточек грудных. Я начал торопливо
с самим собой без смысла говорить,
без смысла и без слов, без звука
губами беспрестанно шевелить.

Заходит солнце или, может, мир.
Ночь поглотила жуткую картину.
Я шёл по улице. Стояла тишина. Спокойно
там фонари висели длинным строем,
и мне пришло на ум, что в мире целом
светильники повесились так, словно...
Сошёл с ума? Я? А быть может, он? Кто?
Мне страшно было вымолвить то слово.

(Перевод Г. Ляховицкой)

ХАНА ХЕЙТОВ

(Даты жизни и смерти неизвестны)

Была в Гетто в родном Шауляе, затем в концлагере Штутгофер.

С 1945 по 1949 жила в Израиле.

Стихотворение «Оставленное дитя» («Дос фарванглте кинд») впервые напечатано на идиш в Лодзи, в газете «Дос нойе лебен» в 1945 году. Переведено и на немецкий язык.

ОСТАВЛЕННОЕ ДИТЯ

Деревушки бедный вид.
На отшибе дом стоит.
В нём девчонки и мальчишки,
белокурые детишки,
смотрят в небо сквозь окно.
Хоть невелико оно,
с ними рядышком – дитя:
глазки чёрные блестят,
полные очарованья,

щёчки – лишь для целованья,
темнокудрая головка...

Мама пробиралась ловко
по окраинам в ту ночь,
чтоб дитя упрятать смочь.
Крепко-крепко обнимала,
горько плача, целовала,
говорила торопливо:
«Будь послушным, терпеливым.
Здесь теперь ты будешь жить.
Идиш должен позабыть.
Всё еврейское забудь,
мальчиком литовским будь.
Стань таким, как эти дети,
и спасёшься ты от смерти».
Маму за руку держа,
Плакал мальчик, весь дрожа:
«Мамочка, не уходи!
Не могу я здесь один
быть хочу всегда с тобой.
Забери меня с собой!»
Сердце матери в тревоге,
ей давно пора в дорогу.
Что там будет, впереди?
Но, дитя прижав к груди,
убаюкала его,
малышонка своего.
Напоследок на еврейском
тихо-тихо спела песню,
может быть, в последний раз.
Слёзы оттирая с глаз,
вышла в путь, дитя оставив.
Холод с ветром бились в ставни.
Мать бредёт почти в бреду,
сердцем чувствуя беду.
Не видать вокруг ни зги.
«Боже, Боже, помоги,
охрани моё дитя!»
Ветер буйствует, свистя...

Дом чужой с людьми чужими,
бродит мальчик между ними,
он не плачет, не кричит,
как немой, молчит, молчит.
Имя Йоселе былое
заменяли на другое.
Не мила чужая жалость,
детское сердечко сжалось.
Сердце матери от сына
вдалеке, всё чуя, стынет,
хоть она не виновата...
Мальчик выбежал из хаты.
Одиноко ветер выл...
Видно, Бог их позабыл.
(Перевод с идиш Г. Ляховицкой)

КАДЬЯ МОЛОДОВСКИ

(1894 – 1974)

Одна из самых плодовитых поэтов. Родилась в городке Береза Картуска, Польша (современная Беларусь). Писала на идиш.

С 1921 по 1935 год жила в Варшаве, была учителем идиш в еврейской школе. Её первая книга вышла в Киеве в 1919 г. За ней последовали детские книги, стихи, романы в виде дневников – в Варшаве.

Позже эмигрировала в Нью-Йорк.

С 1950 по 1952 г. жила в Израиле. Затем снова вернулась в Нью-Йорк.

Её стихи отличаются простотой стиля и блестящим языком, вот почему именно с них многие еврейские дети начинают своё образование.

Она была удостоена премии Варшавской еврейской общины и идишистского ПЕН-клуба.

ПРИ СОЛНЕЧНОМ ЗАТМЕНИИ

И я пришла. Да, я пришла,
осуществив стремление,
я прибыла как раз теперь
в печальный край затмения.

Босая, торопилась я
застать хоть луч свечения,
и я пришла как раз теперь,
в печальный день затмения.

В полёте задохнувшись, пали
все птицы, крылья распахнув,
и ветви среди лета стали,
как тень изображения.
Так это есть как раз теперь,
в печальный час затмения.

Но солнце вечно всё равно.
И ранам ног даст небо исцеление.
Клянусь я, что моим глазам
явилось, как в прозрении,
то пламя здесь, как раз теперь,
при солнечном затмении.

КОГДА НИКТО НЕ ЗОВЁТ МЕНЯ

Моя мать не зовёт меня по имени –
моя мать мертва.
Мой отец не зовёт меня по имени –
мой отец далеко.
И Бог не зовёт меня по имени –
так как Бог создал Пуримшпиль
и играет в ней пса,
и воеет так громко в ночи,
что я палкой его прогоняю,
чтоб в покое оставил меня.

Успокойся, моё сердце,
успокойся немного, когда Бог исчез,
успокойся, немного, когда моё тело
распято в терпении.
Успокойся немного,
пока не позовёт колокол,
пока не позовёт горе,

что висит, как мешок, на моей спине.
Успокойся немного –
немного без Бога.

(Переводы Г. Ляховицкой)

БЕР ГОРОВИЦ

(1895 – 1943)

Известный поэт. Родился в Майдане, Галиция. Во время Первой мировой войны был солдатом. В 1918 г. опубликовал свои первые стихи. Одно время жил в Вильно, потом Станиславове. Посещал Вену, Париж, Берлин. Погиб во время фашистской оккупации.

В САДУ ЦАРЯ СОЛОМОНА

В саду царя Соломона
деревья давно уже спят.
Никто их покой не тревожит,
не слышно там птичьих рулад.

Усталость рабов усыпила,
уснули, как рыбы, в ночи,
да стражники камнем застыли,
ладонями стиснув мечи.

Стоят шестьдесят великанов
на страже при царском шатре.
Их мощные тени бросает
на стену луна в серебре.

КАК БОЛЬНАЯ ПТИЦА

Израненной птицей
из сучьев корявых
я вырвался, мама,
из мира чужого

и вновь возвратился
к родному порогу.
От радости ты
засмеялась сквозь слёзы,
а ночью вздыхала,
о мне беспокоясь.
На цыпочках утром
ко мне подошла ты,
с надеждой глядела
и гладила пряди
волос непокорных.
И ты улыбалась,
желая внушить мне,
что счастлива очень,
чтоб стал я спокоен,
чтоб стал я утешен,
чтоб стало легко мне.
(Переводы А. Ходорковского)

МОШЕ КУЛЬБАК

(1896 – 1940)

Известный поэт, прозаик, драматург. Родился недалеко от Вильно. Учился в талмудшколе. Свои первые стихи писал на иврите. С 1920 г. жил в Берлине. С 1923 г. – учитель литературы в еврейской гимназии в Вильно. С 1928г. Вильно принадлежал СССР. Там в 1937 г. по ложному доносу был репрессирован. Умер в ГУЛАГе в 1940 г. Позднее был реабилитирован.

ПЕСНЯ БЕДНЯКА

На голой земле сидит всю долгую ночь бедняк,
порой на его лице улыбка мелькнёт, как свет.
Поёт он о том, что жить он дольше не может так,
беспомощен, никому не нужен он больше, нет.

Не распрямиться ему под грузом ушедших лет,
жалобно он свою тоскливую песнь поёт.
Рогатый, колючий месяц над крышами льёт свой свет
и, как раскалённый червь, по небу сквозь ночь ползёт.

Снег лежит на полях, под луною блестя.
Горе. О горе!
С целым миром волк в ссоре.

3.

Луна, дрожа, ощупывает все поля,
сугробами покрытые равнины,
леса, где проморожена земля...

Снежные вихри ветер свивает, взметает.
Взглядом горящим снежную бурю пронзает
из прорезей глаз зелёных волк отощавший, голодный,
сбежавший из плена сетей –
последнюю кровь сосёт он
из собственных старых костей.

Каждая кость в нём ноет.
Он воет, и воет, и воет,
взывая к холодному небу.

(Переводы Г. Ляховицкой)

РАХЕЛЬ КОРН

(1898 – 1983)

Родилась в деревне Подлисзки, Галиция. Во время Первой мировой войны семья переехала в Вену, где Рахель закончила колледж и усовершенствовала свой немецкий язык. Это давало ей понимание мира за пределами штетлов. Начала писать стихи на польском языке и на идиш. После возвращения в Польшу была уже признанным писателем. Значительное влияние на неё оказал Райнер Мария Рильке. Перед войной она поехала во Львов, где приняла участие в протесте против властей. Была арестована. Удерживалась в тюрьме несколько дней. Когда началась война, и Львов уже бомбили, ей с дочерью удалось выбраться в Россию. В 1942 г. ей предложили писать для «Die Freiheit», немецкой коммунистической газеты, она отказалась. Была разочарована в Коммунизме и своё мнение сообщила коллегам в Москве. Многие её друзья – советские писатели, пали жертвами сталинских чисток.

После войны она искала способ уехать из России. В 1945 г. вернулась в Польшу. В 1946 г. стала первой из еврейских писателей членом первого PEN-клуба в Стокгольме. Жила там до 1948 г., затем переехала в Монреаль, Канада.

КАКОЕ СЛОВО

Слово какое меня к вам приблизит,
слёзы какие дорогу укажут?
Нитями лунными каждую ночью
тянет меня к обиталищу мёртвых.

Сколько рассветов прожить суждено мне,
чтобы я сам ваши муки изведаль,
чтобы я стал на последней границе,
как серый камень стоит на могиле.

У ВОРОТ ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ

Была это тел людских обнажённость,
ставшая сразу мертвенно-бледной.
То, что стыдливостью значилось прежде,
счастьем, тайной иль родинкой-меткой,
о которой лишь маме известно,
что любимым одним доверялось –
солнце светом своим беспощадным
обнажало, как крышкою гроба,
открывало насмешкам и взгляду,
что готовил людей строй за строем
на последний рубеж испытаний.
И детишки, что вмиг повзрослели,
понимали: не будет спасенья,
и они матерей умоляли
крик отчаянья спрятать глубоко,
в сердце страх схоронить, чтоб мучитель,
тот, кто жаждал увидеть их муки,
их страданиями в эти минуты
ни за что бы не смог насладиться.

(Переводы А. Ходорковского)

МАРК ЛЕЙБОВИЧ

(1894 – 1943)

Биография неизвестна

В ГЕТТО

Колонны серых безмолвных жертв
текут в угрюмую ночь.
Мороз, жестокий, как изувер,
и ветер, острый, как нож.
Звёзды погасли, и стынет кровь,
и вечеру не возразить.
Вороны, чуя большой улов,
не прекращают кружить.
Ночь зацепилась надолго здесь –
чёрным висит потолком.
Глаза охранников, словно жечь,
и подавился гром...

Дорога ваша в один конец –
назад вам отрезан путь.
И в хрупких мыслях дерзкий беглец
свободу не сможет вернуть.
За вами и мы отправимся вслед,
в тяжёлый последний кросс.
Больше ни Бога, ни друга нет,
ни мыслей, ни даже слёз.
Поторопись, бессонная ночь,
позволь уснуть навсегда.
Надежда давно укатила прочь
туда, где почилa беда.

(Перевод Л. Бердичевского)

ХОЛОДНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Нет хуже судьбы и глубже печали –
лишиться близких – сестёр и братьев.
На смерть палачи нас, как стадо, согнали,
в ответ мы шлём им только проклятья.

Страшней и во сне не увидишь картины:
вот мать избивают, ломают руки,
за то, что она на пороге кончины
ребёнка желает спасти от муки.

Нет в мире, наверно, страшнее драмы,
чем это безбожное злодеянье:
насильно отнять ребёнка у мамы.
Убили б их вместе – было б гуманней.

Отправимся вскоре в холодную вечность.
она стережёт нас за каждым порогом...
Даже муки не могут быть бесконечны,
смерть только может быть их итогом.

(Перевод М.Шейнбаума)

КАЛМАН ЛИС

(1903 – 1942)

Известный поэт. Родился в Ковеле, Польша. Закончил гимназию и институт в Вильно. Жил в Варшаве. Член революционного объединения писателей в довоенный период в Отвоке (Отвоск). Руководил воспитательным Центром для больных детей, который пострадал во время немецкой бомбёжки. Несмотря на тяжёлые ранения, работал и писал дальше. Вместе с детьми из его Центра был убит немецкой жандармерией.

РУЧОНКИ

Давно я не жду от жизни добра,
приемлю судьбы решение любое.
Тянутся детские ручки с утра
в напрасной надежде на что-то съестное.

Ладошки нежные холодом скрючены,
ноют распухшие синие пальцы.
Глазки печальны, лица измучены,
мало в них детского, в этих страдальцах.

Пищу найти бы для деток люблю:
всем по кусочкам, по маленьким крохам.
Задачу поэта вижу земную –
бороться за них до последнего вздоха.

Давно я не жду от жизни добра,
приемлю судьбы решение любое.
Тянутся детские ручки с утра
в напрасной надежде на что-то съестное.
(Перевод М. Шейнбаума)

ИОСИФ БАУ (1895 – 1987)

Известный поэт и художник. Учился графике в академии изящных искусств Яна Матейко в Кракове, Польша. Его образование было прервано Второй мировой войной, В конце 1941 г. он попал в концентрационный лагерь Пласцов. Имея талант в написании готического шрифта, использовался в лагере для составления карт. В это же время он создал миниатюру (размер его руки), которая иллюстрировала книгу с его собственной поэзией. Он делал также поддельные документы, удостоверяющие личность, для людей, которым удалось сбежать из лагеря. Во время его заключения влюбился в узницу Ребекку Тенненбом. Они тайно поженились, несмотря на запрет немцев. Позже Бау был передан в другой лагерь, затем в лагерь Шиндлера, где оставался до конца войны. После освобождения закончил Университет в Кракове. В 1950 эмигрировал в Израиль. Он работал графиком в Институте в Хайфе, также для правитель-ства Израиля. В 1956 г. открыл собственную студию в Тель-Авиве, которая является теперь музеем. Издал много еврейских книг, продолжая писать стихи. История его любви была описана в завоевавшем «Оскар» фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Сам Бау появляется в эпилоге фильма, устанавливающим камень на могилу Шиндлера в Иерусалиме.

ГОЛОД

Одежда на мне, как мешок, повисла –
по ней угадать никак невозможно
прежние формы моей фигуры,
что нынче, как корки чёрствого хлеба
в троянском коне моей утробы,

в иссохших моих потрохах.
Марш напевая голосом хриплым,
голод шатается пьяным бродягой.

Я смог бы сожрать всю пищу на свете,
амбары своим языком очистить.
В весёлое пиршество я сковал бы
завтрак, обед и ужин, как цепью одной.
Пальцами рук своих, словно вилами,
всю пищу легко, как пух, подцепил бы я:
мясо, запечённое с печеньем,
консервы с сыром и фруктами,
рыбу в желе, и снова печенье.
Ха! Ха!...
Вот здорово! Великолепно! –
первое блюдо, второе и третье,
и вновь бы смешал продукты я эти.
От похоти шея и руки трясутся,
и подбородок от смальца лоснится,
но я не стану его утирать.

В окрестностях звук раздаётся от стоны
моего плотоядного чавканья
(не помню я правил хорошего тона).
И нет у меня нужды в пожелании
приятного аппетита! И вот я повторно
рот набиваю пищей проворно,
и рьяно жую, и жую в упоении...
Утешьтесь, прошу вас!
Я скоро окончу эти движения.

Вновь окунаюсь в воспоминания
о лакомствах, мною давно уничтоженных.
К небу тяну свои тощие руки,
и языком, только нищим присущим,
по-итальянски прошу и по-польски: –
«Дайте дневную мне порцию хлеба!
Пусть даже в кредит, но только немедленно!»

Ты голодал ли когда-нибудь, Господи?..

*Концлагерь «Пласцов»
(Перевод Л. Бердичевского)*

ШЕВА ГЛАС-РОЗЕНБЛЮМ

(даты жизни и биография неизвестны)

**Я НЕ ВИНОВЕН
В ТРАУРНЫХ МОТИВАХ**

Я не виновен в траурных мотивах.
Я никогда бы не коснулся их.
Но в голове моей, в её архивах,
сидит бесчисленных страданий стих.

Их сами по себе уста бормочут,
переворачивают мне нутро.
Они, как братья мне по вечной ночи,
и горе водит здесь моё перо.

Боль – тема не моя. Мне не присуща,
она войной в сознание вплетена.
Она увязла в сердца топкой гуще,
и ею стонет лагерей стена.

Огромным силуэтом вечной ночи
вполз в душу и расплылся серый страх.
Сжимает горло и дыханье точит,
выплескиваясь в траурных стихах.

(Перевод Л. Бердичевского)

МОШЕ ШИМЕЛЬ

(1904 – 1943)

Известный поэт. Родился во Львове. Писал стихи на польском языке и идиш. С 1930 г. жил в Варшаве. В 1939 г. бежал во Львов.

Во время войны был интернирован в фашистский рабочий лагерь и убит там в 1943 г.

ОБРАЩЕНИЕ К МАЛЬЧИКУ ИЗ ЕВРЕЙСКОГО МЕСТЕЧКА

Мальчик, не плачь. Вытри слёзы.
Всё хорошо будет вновь.
Раны залечим. Забудем угрозы,
с тела мы смоем кровь.
Солнце заходит. Сплошная тщета
На всём свете белом.
Чёрные сутки, боль, нищета
вконец одолела.
Зубы стиснем и подождём. –
поможет терпенье.
Вскоре явится солнечным днём
к нам освобожденье.
Долго ли будут мучить и бить
нас эти шакалы?
Больше не станем мы слёзы лить,
жить будем сначала...
Раз, два, три, четыре, пять,
дальше – до лучшего раза.
Надо нам терпеливо ждать, –
Свобода – не сразу.

Мальчик, не плачь. Не надо.
Только б ты страх поборол.
Дом приведём в порядок,
починим стулья и стол.
Если сожгут наш дом,
новый мы выстроим, непременно.
Будут на солнце сверкать
его белые стены...
Мальчик не плачь.
Пусть слеза не туманит
юный твой взгляд.
Наших врагов вскоре не станет –
их истребят.
Их, как тараканов, раздавят –
дождёмся мы их конца,
И отомстят за погибших –
за маму твою и отца.

(Перевод Л. Бердичевского)

ЭЛЬХАНАН ВОГЛЕР

(1907 – 1969)

Воглер (литературный псевдоним Эльханана Романски) родился в Вильно в семье адвоката. Рано потеряв родителей, попал в сиротский дом. Учился живописи. Под влиянием Кульбаха начал рано писать стихи. Был одним из создателей поэтическо-художественной группы поэтов и художников «Молодой Вильно».

В июне 1941 г. бежал в Казахстан, позднее уехал в Москву. В 1947 г. вернулся в Польшу, в Лодзь. Затем жил в Париже.

НА ЧУЖБИНЕ

Милы их танцы и улыбки,
но прелесть женщин угасает.
Я доверяюсь только скрипке,
её смычок меня спасает.

Терзают муки и заботы,
чужих дорог и пни, и кочки.
Согреют дом и печь кого-то,
я – под дождями дни и ночи.

Кого-то ждут жена и дети,
а я один брожу в пустыне –
нет близких у меня на свете,
скитаюсь вечно на чужбине.

Луна распухла, словно жёрнов,
с утра жжёт солнце до заката.
Я от своих корней оторван,
от древа, что цвело когда-то.

Я твой, Литва, твоё творенье,
росой на белых хризантемах.
И птицы в светлых сновиденьях
поют мне над тобою, Неман.

(Перевод А. Ходорковского)

ДОВИД СФАРД

(1907 – 1981)

Родился в Мельнице (Вольбиниен). Сын раввина. В 1932 г. дебютировал как литератор, поэт, эссеист. Изучал во Франции философию. Защитил диссертацию по диалектике Гегеля. Коммунистический функционер, член нелегального революционного объединения писателей. Жил в Варшаве. Во время войны – в СССР. После войны – редактор ежемесячного журнала «Еврейские записки» и издательства «Еврейская книга» в Варшаве. Переселился в Израиль, где жил до конца жизни.

ЕСЛИ Я ЗЕМЛЮ ОСТАВЛЮ

Если я землю оставлю, так кто же
ненависть нашу к убийцам проявит?
Кто о тернистых путях и страданиях
вам по-еврейски без страха расскажет?

Кто вам измерит всю цепь унижений,
горе отца, материнские муки?
Кто вам, скажите, минутами счастья
неизмеримость потери оплатит?

Если уйду я навеки, так кто же
вспомнит о наших безвестных героях?
Кто их могилы землёю укроет
и сохранит их в грядущие годы?

Если же с песней еврейскою кто-то
цепь золотую ковать не устанет,
чтобы она бесконечно тянулась, –
как я тогда эту землю оставлю?

СЛОВО

Я хочу породниться с мечтой,
чтоб её воплотить навеки
в моих песнях звенящий строй,
лет моих убегающих вехи.

Нет богатства и денег нет,
только словом одним владею.
Я его до последних лет
на крутых дорогах лелеял.

В своё сердце его приму,
напою своей кровью слово.
И для вас, сквозь ночную тьму,
путь оно осветить готово.

(Переводы А. Ходорковского)

ХАИМ СЕМЯТИЦКИЙ

(1908 – 1942)

Родился в Тукочине возле Белостока в очень бедной религиозной семье. Посещал религиозную и высшую школу. Поэт без определённой профессии. С 1929 г. жил в Варшаве. В 1939 г. бежал в СССР. В августе 1941 г. был убит фашистами в Вильно (тогда Вильно относилось к СССР).

В КРОНАХ ДЕРЕВЬЕВ

В кронах деревьев купается день.
Солнцу в деревьях плескаться не лень.
Я – дерево тоже,
желаю того же.
В озере туча – корабль серого дня.
Чайка к волнам приглашает меня.
Я – озеро тоже,
желаю того же.
В тумане и синее небо, и поле.
Зелень в росистом блестит ореоле.
Я – зелень тоже,
желаю того же.
В сне беспокойном плачет ребёнок.
Смех его сладкий весел и звонок.
Я – маленький тоже,
желаю того же.

ВАРШАВА

Мой город! Твоё, как удавкой, затянуто горло.
И плечи из камня подёрнуты нервной дрожью.
Незримый извозчик сжал мёртвою хваткою вожжи,
но в схватке с подобным себе ты ведёшь себя гордо.

Небесная гладь ослепительно-ртутною жестью
прикована к крышам твоих населённых кварталов.
Бушует дыханье твоё откровенною мстью
за жизни людей, ведь война унесла их немало.

Дома бедняков, погружённые в горькие мысли,
где тучи-бульжники давят с могучею силой,
и звёзды, мерцаая, осколками стёкол повисли,
но жители ждут, чтоб свобода их жизнь осветила.

И тупо по улицам мелкими ходят кругами,
как сеть молоточков гигантского ткацкого стана.
Глаза их потуплены низко, ведь там, под ногами,
рыдает земля их – пока не зажившая рана.

(Переводы Л. Бердичевского)

БИНЕМ ХЕЛЛЕР

(1908 –)

Родился в Варшаве в бедной семье. Учился в еврейской школе. С четырнадцати лет – рабочий по пошиву перчаток.

Как поэт дебютировал в 1930 г. с еврейскими стихами. Был одним из руководящих членов группы пролетарских писателей Польши. Коммунист. Был вынужден бежать из Польши.

С 1937 г. жил в Бельгии и Париже. Затем вернулся в Варшаву.

С 1939 г. жил в Белостоке. В июне 1941 г. бежал в Алма Ату, затем в Москву.

После войны вернулся в Варшаву. Был редактором издательства «Еврейская книга».

В 1956 г. эмигрировал в Израиль.

ВАРШАВА, 1939

Никому не дано расстрелять небеса,
ведь бессмертна небес голубая краса.
тишина задохнулась в угарной пальбе.
Лето тихо скончалось – подчинилось судьбе.

Кто опутал наш город сетями войны?
Кто нарушил в нём тёплый уют тишины?
Город детства, твой образ мгновенно исчез.
Город юности, кто загубил твою честь?

Хрипнут двери, и падают стёкла с окон.
По подъездам разносятся кашель и стон.
Крики женщин не сможет никто заглушить,
вырывая из жизни истлевшую нить.

От испуга лицо заслоняет ладонь,
И повсюду бушует и пляшет огонь.
Словно скот, нас погонят с насиженных мест,
И растопчут надежду, и скомкают месть.

Вечер, как телеграммами, брызгами фраз
о трагедии общей напомним не раз.
И поднять друг на друга не можем мы взгляд,
Горизонт окунул нас в кровавый закат.

Вечер тянется вечность. Тяжёлая тьма
угрожает свести постоянно с ума.
Солнце словно стыдится явить нам свой лик,
иль его испугал несмолкаемый крик?

(Перевод Л. Бердичевского)

ЭЛИАХУ РАЙЗМАН

(1909 – 1975)

Родился в Ковеле, Польша. Учился в еврейско-польской школе и в гимназии, получив аттестат зрелости. В 1933 г. начал писать стихи на идиш и издаваться в Ковеле в 1941 г. Вступил в Красную Армию, затем в рабочий батальон. В 1946 г. вернулся в Польшу, в Штетин. До 1950 г. работал в области сельского хозяйства рабочим, культурным функционером. Издал много сборников стихов, театральных пьес. Ставил спектакли в театре.

МИР

Когда крик народа моего
разорвал на клочья небеса,
и когда, дыханье перекрыв,
задушил песок мою сестру,
и когда ушёл из жизни брат,
захлебнувшись в собственной крови,
ты спокойно доедал свой хлеб,
с наслажденьем пил своё вино,
не утратив радости в глазах.

А куда забросил ты, скажи,
на скрижалях заповедей свод,
видя кровь, кипящую в огне?
Сеть убийцы ты благословил,
даже руку чёрную его.
Та рука меня лишила сна,
заслонила дня весёлый свет.

А теперь велением Творца
перед сводом грешных дел твоих
заповедь предстала «Не убий!»

В ПЛЕНУ МОИХ МЫСЛЕЙ

Я в плену моих мыслей
в этой жизни-реке
ожидал с нетерпеньем
большого улова.

Только северный ветер
льдом течения сковал,
да и время удачу
подарить не готово.

Вся река омертвела,
беспощаден мороз.
Я лишь тени ловлю
на дороге ледовой.

А проснётся река
и пройдёт ледоход –
в тот же плен моих мыслей
закую себя снова.

ГОСТЬ МОЙ НЕЗВАНЫЙ

Ты вернулся в мой дом
и нашёл в нём уют.
Кто ты, друг или плут,
гость мой незванный?

На столе пустота:
ни еды, ни воды.
Ты – в тисках немоты,
гость мой незванный.

Я оглох в тишине,
ведь молчания крик –
знак страданий твоих –
тяжелее вериг,
гость мой незванный.

Ты исчез без следа,
камнем канул в реку.
Я остался один
на пустом берегу,
гость мой незванный.

(Переводы А. Ходорковского)

ХИНДЕ НЕЙМАН

(1910 – 1942)

Родилась в Варшаве. Изучала психологию и педагогику. Имела докторскую степень. В сентябре 1939 г. бежала во Львов. В июне 1941 г. вместе со своим мужем, еврейским прозаиком, была интернирована в Яновский концентрационный лагерь, где была убита.

КРЫША

Крылатая крыша
встряхнулась от сна –
это солнечный гульден
к карнизу приник.

А крыша в мечтах
куда-то летит.
Трубку она раскурила
и мыслит:
«Крыша я или птица? –
право, загадка».

Солнечный гульден
стал золотым цветком.
Он цветёт, разрастаясь
в большой букет.
Вот уж стены горят
и пылает весь дом.

А крыша, как прежде,
курит трубку
и размышляет:
«Крыша я или птица?
Охочусь ведь
за ночными звёздами.

ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА

Крошечный, белый, как снег,
вроде звёздочек ночью.

Сладок, как сахар во рту,
сахарина листочек.

Как диадема, красив,
вкусен, словно конфета,
наш порционный хлеб
выданный здесь нам,
в гетто.

Игрушки лежат под столом:
кукла из грязных тряпок,
плоский бумажный шенок,
медвежонок без лапы.

Словно звоном колоколов,
молотом на граните –
крик мамы – горестный стон:
«Снова вы есть хотите?»
(Переводы Л. Бердичевского)

МОШЕ КНАФАЙС

(1910 – 1976)

Родился в Варшаве. Рабочий. Член нелегального революционного объединения писателей. Основная форма его лирики – баллада. Главная тема – Варшава. Во время войны жил в СССР, затем короткое время – в Польше. Эмигрировал в Аргентину. Был издателем идишского литературного журнала.

РАДОСТЬ ПЕСНИ МОЕЙ

Радость песни моей, прелесть дня голубого
сам отдал я в залог за простой бутерброд.
Если песню мою, встретив где-нибудь снова,
не признаю своей – посмеётся народ.

Тот, кто чёрные тучи над нами развеет,
сможет выкупить мой необычный залог.
Я все звёзды с небес соберу и скорее
на базар отнесу драгоценный мешок.

ЗДЕСЬ ТИШИНА

В тишине этой
нет покоя –
это молот
грохочет в висках,
это ржавый венец уздою
зажимает
тебя в тисках.
Люди, люди...
В плену пропорций
только цифры и сдавленный крик,
и количество выданных порций,
исчезающих вмиг.
Взять – забыть.
Как шаги на снегу – только след...
В тишине
раздаются команды:
раз:
свободен,
два:
к стене.

(Переводы А. Ходорковского)

РЕЙЗЛ ЦИХЛИНСКИ

(1910 – 2001)

Известная поэтесса. Родилась в Габине. Посещала польскую школу, брала частные уроки. Её отец – кожевник, эмигрировал в 1924 г. без семьи в Америку, где умер в 1928 г. в Чикаго.

В 1928 г. состоялся литературный дебют Цихлински. С 1936 по 1939 гг. жила в Варшаве. Во время войны – в СССР, затем в Польше, в Лодзи.

С 1948 до 1951 жила в Париже, затем в Нью-Йорке.

И БОГ ОТВЕРНУЛ ЛИЦО

Все пути направлены к смерти.
Все пути.
Все ветры сквозят изменой.
Все ветры.

Злые псы на порогах брешут.
Псы злые.
Все воды над нами смеются.
Все воды.
От ужасов ночи жиреют.
Все ночи.
Всё небо над нами пустынно.
Всё небо.
И Бог от нас отвернул лицо.

МОИ ЕВРЕЙСКИЕ ГЛАЗА

Я открыла окно
перед солнцем весенним,
перед небом и тучами –
их отраженье
отпечатком в моих поселились глазах.

Я украсила дом свой
цветочным вазоном
и ждала, наклонившись,
над закрытым бутонем,
чтобы он, распутившись, цветок показал.

Хоронить его рано,
он только лишь сонный,
он ещё оживёт
и пахнёт благовонно.
Но могилу ему начала я копать.

А земля ещё твёрдая,
мёрзлая к ночи,
хоть и скоро весна,
да и сердце не хочет
к этой смерти цветка привыкать.

Я впитала глазами
еврейскими краски,
что в основе цветка
то сверкнут, то погаснут...
и глаза мои тоже не хотят умирать.

(Переводы Л. Бердичевского)

СКРИПКА

Ночь. По теням деревьев шагаю.
Сердце птицею бьётся шальнойю.
Ветер жёлтые лампы качает,
звёзды светятся над головою.
Из кровавого ада пожаров
до далёкой звезды желанной,
уходя от беды и кошмаров,
пароходы идут сквозь туманы.
И недолго уже до рассвета,
гаснут в небе усталые зори.
Но чем ближе к нам берег Завета,
тем сильнее волнуется море.

Бликий берег растаял неожиданно –
душу тронули боль и досада:
всё привиделось – Фата Моргана.
Сердце полнится горечью ада.
Всё исчезло: долины и горы,
только скрипка Давида осталась,
та, которая в давнюю пору
духом злого царя ублажала.
Как вода солона! В море зыбко.
Где земля, о которой мечтали?
Много лет горько плакала скрипка –
нынче меч нас манит своей сталью.

(Перевод А. Ходорковского)

ХАДАША РУБИН

(1910 – 1978)

Известный поэт. Родилась в Кременце (Волбиниен), в семье мелкого торговца. Была коммунистом. Много лет провела как политическая заключённая за решёткой, и там начала писать стихи. Её рукописи передавали из рук в руки.

Во время войны спасалась в СССР.

В 1946 г. вернулась в Польшу. В 1959 г. эмигрировала в Израиль.

МОЁ ЕВРЕЙСКОЕ ДИТЯ

Весь яркий свет
и радость всю
от ветра дуновенья
по шёлковой траве,
от солнечных лучей,
всю нежность чистую,
без пятен и греха,
тебе отдам,
моё еврейское дитя.

Ещё глаза твои подёрнуты туманом,
зажгутся вскоре искоркой задора
и радость возбудят.
Ведь материнский крик к тебе донёсся
и отозвался он в сознании твоём.

Пусты ладони
и не мил мне белый свет.
Отдай мне жалобы свои,
свои страдания, дитя моё,
еврейское дитя.

(Перевод Л. Бердичевского)

ЛЮБОВЬ

Вновь нарциссы источают свет,
будто не закончилась весна,
будто свежесорванный букет
прежние вернул мне времена.

Сохнет ветвь и падает одна,
а другая – ярче зеленеет.
Кто твердит, что будто бы она
ветви той, засохнувшей, слабее?

А цветы в морщинистой руке –
знак прошедших памятных годов –
я храню в веселье и тоске,
потому что в них – моя любовь

(Перевод А. Ходорковского)

МОШЕ ВАЛЬДМАН

(1911 – 1976)

Родился недалеко от Лодзи. Польша. Происходил из рабочей семьи.

До 1931 г. жил в Лодзи. Был рабочим по выделке кожи.

Позже жил в Варшаве, где был сотрудником еврейской рабочей партии Поале-Цион, входившей в сионистское движение.

Стихи начал писать рано. Некоторое время жил в Брюсселе и Париже. Во время войны – в СССР.

В 1946 г. вернулся в Лодзь и стал сотрудничать в еврейской прессе.

С 1949 г. снова – Париж, где работал в Союзе еврейских литераторов и руководителем еврейского книжного издательства.

ГДЕ УМЕРЕТЬ МНЕ

Святые всех времён! Скажите,
где умереть,
чтоб над останками моими
никто бы не глумился,
и надгробный камень мой
не похищал никто?

Подкарауливают всюду
меня глумленья:
секира дикаря над головой,
жар пушек,
многое другое.
О, как мне умереть?

Как умереть,
чтоб прах свободным стал
от вечных мук
и надругательств,
и был рассеян над землёй
презреннейшего мира?
Святые всех времён!
Где умереть мне?

НЕТ

Нет!
Наш крик гремит,
как взорванная бомба,
раскалывая воздух,
колеблет небеса.
И даже те, кто в склепе
покоятся глубоко,
взорвались тёмною толпой.
Вы слышите? Гремит!
И если не хватает слов,
как золота скупому богачу,
тот руки вверх возвёл
и крикнул: «Нет!» –
как взорванная бомба.
(Переводы Л. Бердичевского)

ПЕСАХ БИНЕЦКИЙ

(1912 – 1965)

Известный поэт. Родился в Белостоке, Польша, в бедной семье. С юных лет был рабочим на фабрике. Будучи коммунистом, провёл шесть лет в польских тюрьмах. Стихи начал публиковать в 1937 г. В 1941 г. с группой еврейских авторов бежал в СССР, где во время войны работал сельскохозяйственным рабочим и шахтёром. В 1946 г. вернулся в Польшу.

В 1949 г. эмигрировал в Израиль, где был сотрудником в Коммунистической партии.

ВОЗМОЖНО...

Возможно, ты зов тот услышал
и в слабые руки свои
взял нож или даже винтовку
и стал на чеку у стены.

Ты вместе с другими готов был
к последнему в жизни прыжку,
в груди, затаив сожаленье –
так рано навеки уйти.

Возможно, на том самом месте,
в последнем жестоком бою,
в лучах восходящего солнца
пришла к тебе вечная ночь.

Возможно, придёт это время –
настанет возмездия час
и красной пылающей розой
взойдёт твоя кровь у стены...

(Перевод А. Ходорковского)

ЯКОВ ЗОНШАЙН

(1914 – 1962)

Родился в Люкове, Польша. Сын бухгалтера.

До 1929 г. посещал в Варшаве еврейскую религиозную школу. Работал продавцом, чулочником, репортёром.

Его поэтический дебют состоялся в 1932 г.

Писал стихи, драмы, фельетоны. Во время войны жил в СССР.

Затем вернулся во Вроцлав и Варшаву. Сотрудник еврейских культурных организаций.

СКВОЗЬ ЖИЗНЬ

Как крестьянин, бредущий по полю,
согбенный от горя и боли
я по жизни своей бреду.

Сыт по горло весенним ветром,
со штормами сдружился летом
и другого я не найду.

Что сказать про зиму суровую?

Осень прочит дорогу новую –
мне на радость или беду.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

За твоим окном
всхлипывает ветер
и стучится в дверь,
только ты поверь,
что не тот придёт
в этот зимний вечер.
А придёт другой –
молчалив и скучен.
Мёртвые уста,
видно, неспроста,
взгляд погас, прости,
но не станет лучше.
Подними глаза,
ведь перед тобою
он не виноват –
подоспел закат.
Пусть уж он такой,
от тебя не скрою.

КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

Тысячу раз, тысячам глаз
никто никогда не отдаст
тот красный цветок,
что спрятан в моей груди.

От позора и от стыда
я сохраню навсегда
тот красный цветок,
что спрятан в моей груди.

Готовлю себя к расплате
за улыбку свою некстати.
Ах! Красный цветок!
Ты спрятан в моей груди.

Меня не опустят ниц
тысячи глаз и лиц,
пока красный цветок
дышит в моей груди.

(Переводы Л. Бердичевскрго)

АВРОМ ШУЦКЕВЕР

(1913 – 1978)

Родился в Сморгоне под Вильно, Польша.

С 1933 г. публиковал свои лирические стихи на идиш. Был одним из ведущих авторов группы «Молодой Вильно».

Во время фашистского нашествия попал в Виленское гетто. Бежал, партизанил в лесах!

Был свидетелем на Нюрнбергском процессе.

Вернулся в Польшу. Жил в Израиле.

Путешествовал по Африке, по американскому континенту, по Австралии.

Был издателем литературного ежеквартального журнала в Тель-Авиве.

НАДПИСЬ НА ВАГОННОЙ ДОСКЕ

Кто найдёт однажды жемчуг,
нанизанный на кровавокрасный
шёлковый шнурок, который
у шеи становится всё тоньше,
как жизненный путь,
незаметно исчезающий в тумане.
Кто однажды найдёт этот жемчуг,
пусть знает: жемчужины
холодно освещали сердце
нетерпеливой восемнадцатилетней
парижской танцовщицы Мари.
Теперь везут меня в незнакомую
мне Польшу, и я бросаю
мой жемчуг сквозь решётку.

Если его найдёт юноша,
пусть украсит им свою любимую.
Если его найдёт девушка,
пусть наденет на себя –
он принадлежит ей.
Если его найдёт старик,
пусть помолится обо мне.

ЭПИТАФИЯ

*человека, который дрожащей рукой
начертал эти строки.
Имя его – Ариэль Бланк, музыкант.*

«Тут закопана скрипка
в футляре –
волшебное звучание.
Моё дитя!
Люди!
Возьмите лопату,
Копайте,
найдите и выньте её
осторожно.
Потом покажите
сокровище это
новому Паганини.
Пусть ему достанется
дитя моё – скрипка.
О, волшебная скрипка!»

СКРИПАЧ ИЗ ГЕТТО

Теперь его песни уже не звучат –
те песни, что душу его согревали.
Немало познал он тяжёлых утрат,
и скрипки ему так всегда не хватало.

Со звуками скрипки душевный огонь
терял свою силу, совсем угасал он.
Не явится чудо. Не сбудется сон,
и скрипки ему так всегда не хватало.

У самых ворот, как бутылку вина,
её закопал он, угрюм и печален,
чтоб в руки врагов не попала она,
чтоб с ним его скрипку они не забрали.

Но кто он, однако, без скрипки своей?
Охапка костей без души и без страсти...
А время чредою катящихся дней
приходит – уходит, течёт безучастно.

Слеза здесь – всего только капля воды,
а слово, как пыль, уносимая ветром.
А над головой свет вечерней звезды
бледнеет пред тем, как исчезнуть из гетто.

Здесь люди, как тени. Унынья печать
стоит неизменно, как смерть в изголовье.
А кровь на камнях и на кирпичах
не знает того, что зовут её кровью.

Он вечером поздним лопату берёт
и тихо крадётся туда, где он прежде
её закопал у закрытых ворот –
к ней вновь прикоснуться жива в нём надежда.

Она для него и надежда и свет,
источник живительный неисчерпаем.
Он, кажется, видит её силуэт
и, силы собрав, он усердно копает.

Он скрипку из ямы дрожа достаёт –
теперь в его чутких руках она снова.
Потом мимо стен, торопясь, проскользнёт
в свой город еврейский, в тень гетто ночного.

А там, среди серых домов и камней,
на ней заиграл он в душевном порыве.
Он с нею – одно. И в ночной тишине
господствует песня его горделиво.

И рады, как дети, той песни слова,
и дети становятся музыкой сами.
Здесь смерть не дожждётся уже торжества –
молчащие встанут сражаться с врагами.

Все вместе выходят они из могил,
их серые лица рососою покрыты.
Увидел он тех, кого верно любил:
жену и сыночков, невинно убитых.

Здесь каждый, кого за собой он позвал,
исполнился силы, душой возродился.
И слёзы – не слёзы... Никто не видал,
как в каждой слезе целый мир отразился.

Они собрались, молчаливо глядят,
не слышно ни жалоб, ни горьких рыданий.
Их песнь оживила, построила в ряд
для радостей новых и новых страданий.

И кровь на камнях их на штурм поведёт.
А слово – как флаг среди рядов поределых.
Подвалы встают, предъявляя свой счёт.
Тут каждый стал тем, кем он был в самом деле.

(Переводы А. Ходорковского)

ОГЛАВЛЕНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ	4
AN DEN LESER	5
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА	6
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ	7
ДАВИД БРАШЛАВЕР	22
БОРИС БРОНШТЕЙН	29
МИХАИЛ ВЕРНИК	36
НОРА ГАЙДУКОВА	55
СААДИ ИСАКОВ	69
ИГОРЬ КОГАН	83
АЛЬБЕРТ ЛЕИН	84
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ	86
МАРИНА ОВЧАРОВА	103
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ	112
МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ	134
ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ	141
СТАНИСЛАВ СТЕФАНЮК	143
АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ	146
МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН	153
ПУБЛИЦИСТИКА, МЕМУАРЫ, ЭССЕ	158
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ	159
МИНА ПОЛЯНСКАЯ	167
ГРЕТА ИОНКИС	183
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ	192
СЕРГЕЙ ПЫШНЫЙ	198
НАУМ ФАЙДЕЛЬ	201
ПЕРЕВОДЫ	204
РЕГИНА КОН	205
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ	207

МАРИНА ОВЧАРОВА	209
ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ	212
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ	214
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ	231
МАРК ШЕЙНБАУМ	240

СКРИПАЧ ИЗ ГЕТТО 247

ЗЮСМАН СЕГАЛОВИЧ	248
ДОВИД ЭЙНГОРН	250
ШМУЭЛЬ ЯКОВ ИМБЕР	252
МИРЬЯМ УЛИНОВЕР	254
АВРОМ ЗАК	256
ИСРОЭЛЬ ШТЕРН	257
МЕЛЕХ РАВИЧ	258
ХАНА ХЕЙТОВ	259
КАДЬЯ МОЛОДОВСКИ	261
БЕР ГОРОВИЦ	263
МОШЕ КУЛЬБАК	264
РАХЕЛЬ КОРН	266
МАРК ЛЕЙБОВИЧ	268
КАЛМАН ЛИС	269
ИОСИФ БАУ	270
ШЕВА ГЛАС-РОЗЕНБЛЮМ	272
МОШЕ ШИМЕЛЬ	273
ЭЛЬХАНАН ВОГЛЕР	274
ДОВИД СФАРД	275
ХАИМ СЕМЯТИЦКИЙ	276
БИНЕМ ХЕЛЛЕР	277
ЭЛИАХУ РАЙЗМАН	279
ХИНДЕ НЕЙМАН	281
МОШЕ КНАФАЙС	282
РЕЙЗЛ ЦИХЛИНСКИ	283
ХАДАША РУБИН	285
МОШЕ ВАЛЬДМАН	287
ПЕСАХ БИНЕЦКИЙ	288
ЯКОВ ЗОНШАЙН	289
АВРОМ ШУЦКЕВЕР	291



Сборник издан при поддержке Союза писателей
международного состава ФРГ
Herausgegeben mit der Unterstützung der Schriftsteller-Vereinigung
Bundesrepublik Deutschland für Völkerverständigung e.V.

ISBN 978-3-947094-22-6



9 783947 094226